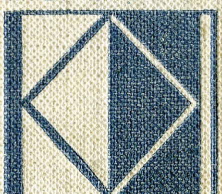
В. КАВЕРИН



ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

В. КАВЕРИН ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ



В. КАВЕРИН

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Роман в письмах

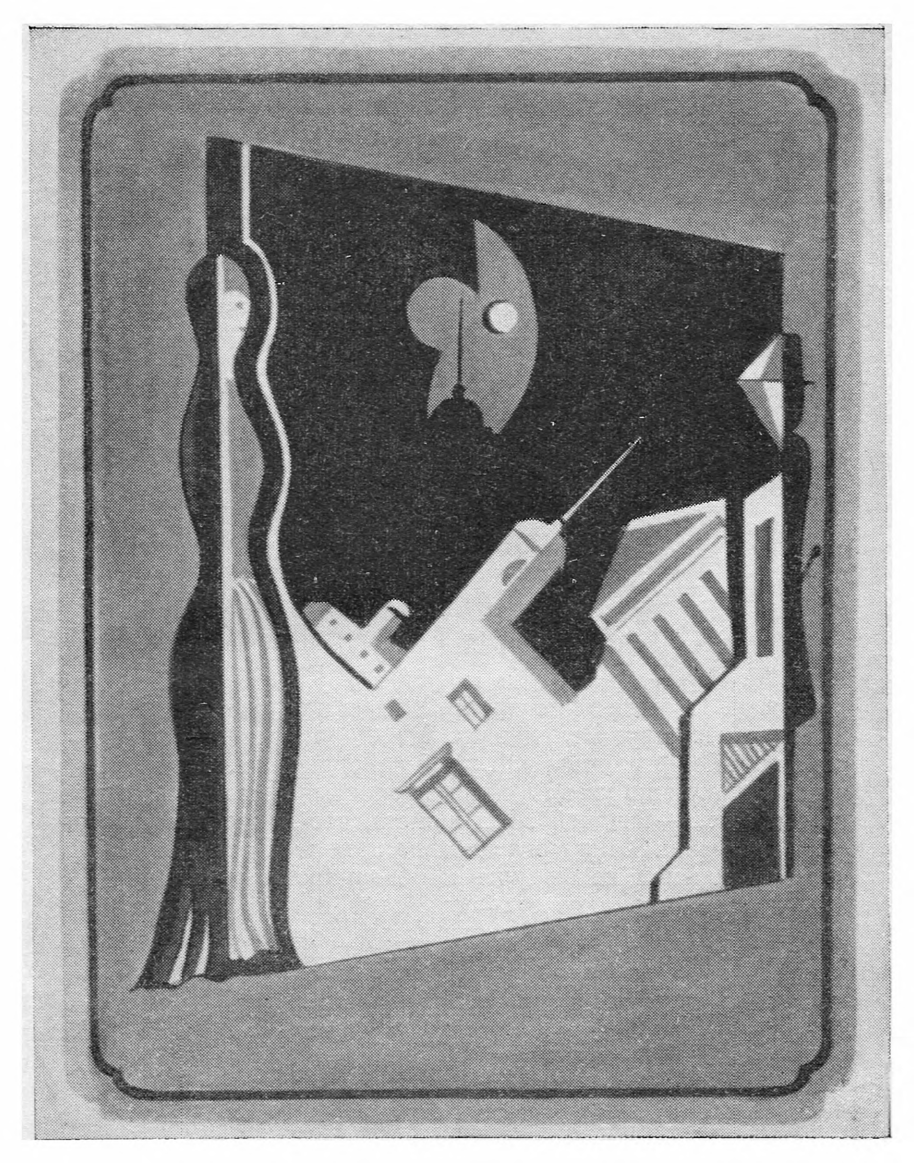
Советский писатель
Москва
1972

Р 2
К 12

Это роман в письмах, сопровождаемых краткими авторскими комментариями. Действие его завязывается в годы, предшествующие первой мировой войне. Героиня романа, гимназистка, поступает на математическое отделение Бестужевских курсов в Петербурге, но свое истинное призвание находит в искусстве. Мечтая получить художественное образование во Франции, она оказывается сначала в Константинополе, потом в Париже и пишет оттуда в Советскую Россию письма, полные тоски по родине и любви к другу юности. Начав свою работу в духе «Мира искусств», она постепенно старается найти собственный путь в живописи.

В основу рассказанной писателем истории положены подлинные женские письма, глубокая достоверность которых придает роману силу волнующего человеческого документа.

7 3-2
32—72

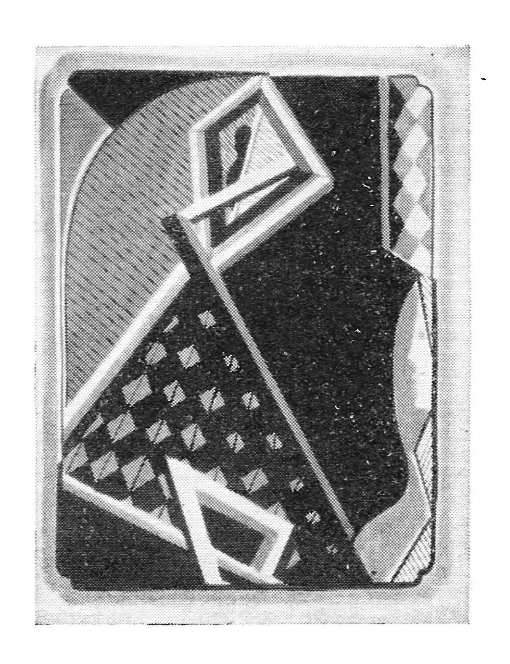


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

29. I. 10. Пермь.

Костя! Прежде всего прошу Вас не называть меня по имени и отчеству. Начальница может распечатать, и это покажется ей странным или даже неприличным. Впрочем, у нее неприлично уже то, что я переписываюсь с мальчиком (хотите — юношей). Вы пишете, что я просила Вас быть искренним? Вы меня неверно поняли, Костя. Именно этого-то мне и не хотелось. В обязанность дружбе полную искренность я не ставлю и сама всегда и во всем откровенной быть не хочу, так как у каждого есть своя «святая святых». Я и так слишком себя показываю, хотя следовало бы лишь до известной степени быть откровенной со всеми. Интересно, почему Вы считаете меня дру-



гом? Сейчас я как раз не в расположении говорить о себе, а то, пожалуй, Вы пожалели бы о своей, слишком лестной для меня, торопливости.

Теперь мне хочется сказать Вам, что я солгала, сказав, что уже была однажды на балу в мужской гимназии. До прошлого года нас туда не пускали. После бала про меня распустили сплетню, и мне пришлось выслушать от начальницы приятные комплименты. Меня это страшно возмутило, не начальница, конечно, а мальчики, с которыми я была давно знакома. Правда, потом они извинились, но хотя я и добрая, как говорят, но не прощаю людям. И вот я не простила одному гимназисту: я бросила ему в лицо

оскорбление, что он впоследствии объяснил моими взглядами, слишком, по его мнению, идеальными.

Я читаю сейчас Вербицкой «Ключи счастья» и «Путешествие на корабле «Бигль» Дарвина. Подумать только — юношей отправиться на пять лет в кругосветное путешествие. Какое счастье! Извините за почерк и ужасный слог с ошибками.

Лиза

ПЕРМЬ. 1910

Военный оркестр гремел на хорах, тоненький молодой человек из Дамского попечительства о бедных носился по залу, дирижируя танцами на плохом французском языке, мамы в креслах сидели вдоль стен, а подле них стояли, ожидая приглашения, раскрасневшиеся нарядные дочки.

Пансионерки были с классной дамой Анной Петровной, толстой, молодой и доброй, огорчавшейся, что кавалеры обходят ее девочек, и Лиза вдруг смело пошла через круг танцующих по навощенному, усеянному конфетти полу. Незнакомый гимназист в длинном парадном мундире, которые уже давно никто не носил, подлетел к ней, пригласил на па-де-катр; они сделали тур и остановились подле комнаты, где мужчины разговаривали и курили, а женщины хлопотали, устраивая лотерею. Другой знакомый гимназист попросил венгерку, но Лиза сказала, что венгерку нельзя, она обещала. Можно кадриль. Потом, танцуя с Карновским кадриль, она с ужасом вспомнила об этом. Но ужас был какой-то веселый, счастливый, кружившийся вместе с ней в разгоряченном, гремящем и тоже счастливом воздухе бала. Все было весело — танцевать, разрывая длинные разноцветные ленты сер-

пантина, поскользнуться и чуть не упасть, когда Карновский, стоя на одном колене, повел ее вокруг себя в мазурке, стоять с ним в тамбуре подъезда, где было прохладно и тихо, только доносились из зала лихие, отчаянные возгласы дирижера.

Весь вечер Карновский не отходил от нее, принес ей лимонаду и пирожные из буфета, подарил розовый, отделанный шелком ящичек для писем, который он выиграл в лотерею.

— А ведь это значит, что судьба в самом деле велит нам переписываться, Лиза.

Он предложил проводить ее, и она согласилась, хотя и знала, что в пансион надо вернуться с Анной Петровной и что, если она придет одна, ей непременно сбавят за поведение.

Снег искрился и сверкал от луны — и было так холодно, что у Лизы даже замерзли губы. Конечно, она запомнила, о чем они говорили, это был серьезный интересный разговор, но в тысячу раз серьезнее и важнее было то, что Карновский так почтительно предложил ей руку и теперь вел ее, как королеву, держась вполоборота к ней, нарочно, чтобы показать, что он только для нее существует на свете.

Через рукав она чувствовала его твердую мужскую руку...

12. VIII. 10.

Пишите мне, Костя, на конверте «Пермь», а не «здесь» или «местное», так как дома должно произойти объяснение по поводу нашей переписки, а мне хочется его отдалить. Эта переписка есть проступок перед папой, который не переносит, когда я бываю с мальчиками, потому что

не верит в их хорошие намерения, а заодно не доверяет и мне. Но из этого не следует, что она (переписка) должна прекратиться. Последнее может случиться лишь в том случае, если я не смогу отвоевать себе независимое положение. Переписываться же тайно я не желаю.

Костя, Вы не поняли меня: у нас семь классов, и последний, то есть первый, равняется седьмому классу гимназии. Я собиралась после пансиона ехать за границу, у меня есть небольшие средства, положенные на мое имя дедом. Но куда? И потом, эти деньги можно взять только после того, как мне исполнится двадцать один год. Вообще, я решила остаться в России. Ужасно хочется поскорее кончить пансион. Но знаете, что меня больше всего смущает: цель жизни. Скажите мне откровенно, с какой целью Вы учитесь и живете? Правда, ужасно трудно разрешить этот вопрос. Ну, пока до свиданья, еще бы написала, да жарко. Читали вы дневник Марии Башкирцевой? Я не могу от него оторваться. Меня поражает уже то, что она способна думать о себе с утра до ночи и даже во сне. Я попробовала — и представьте, это оказалось очень трудно. Уже через четверть часа я стала думать о своей подруге, а потом об одной классной даме, которой мы решили насолить. Башкирцева пишет, что жизнь — это Париж, а Париж — это жизнь. Может быть, поехать учиться в Париж?

15. XI. 10. Пермь.

Если Вы считаете меня другом (по письмам это видно только из обращения), то будем переписываться. Если нет — то лучше бросить. Да, мне хочется быть Вашим другом, хотя, без сомнения, я смешна в Ваших глазах, если только Вы не тот, каким я Вас себе представляю.

Я доверчива и непостоянна в своих суждениях, что, кстати, видно из предыдущих строк.

Напишите мне об университете, о Ваших впечатлениях, о трудности предмета — ведь я тоже хочу идти на математический. Обо мне говорят: лед и огонь. Но это сравнение нейдет здесь: при чем тут характер, были бы лишь способности и желание!

С Вашим письмом произошло несчастье: начальница его распечатала и запретила переписываться. По поведению мне хотели поставить одиннадцать, но поставили все же двенадцать, жалея мои успехи. Теперь Вы мне пишите на адрес подруги, и это даже лучше, потому что можно не бояться быть прочитанным: Никольская улица, дом 14, Марии Андреевне Милютиной, для меня.

Костя, неужели это правда, что какой-то корреспондент сообщил о смерти Толстого, когда он был еще жив, то есть за несколько минут до его кончины? Эта бесстыдность и публичность так поразили меня, что от возмущения я даже перестала плакать.

Если можете, пришлите карточку в форме студента, у меня глупая пансионская любовь к форме. Как я говорила, что забуду Ваше лицо, так и случилось. Только помню, что Вы в светло-синем пенсне.

Напишите, Костя, о своих товарищах, об их идеях и волнениях.

Читая мне нотацию, начальница вообще советовала не переписываться со студентами. Я лгала, смеялась и снова лгала. Вы даже не можете вообразить, как часто приходится лгать в пансионе, особенно начальству, — на каждом шагу. Иногда даже хочется сказать правду, я попробовала, но перестала, заметив, что ее-то и принимают за ложь.

17. XII. 10.

Извините, Костя, что долго не писала. У меня гостила подруга, а после ее отъезда я не могла до сих пор собраться. Мне очень хочется с Вами увидеться и поговорить, и я даже ходила по улицам и смотрела — не встречу ли господина в светло-синем пенсне, хотя прекрасно знаю, что Вы — в Казани. Наверно, не следует писать Вам об этом, но мне давно хотелось иметь друга, с которым я была бы вполне откровенна. А то я откровенна со всеми, и это мне очень вредит. Когда я поступила в пансион, я сразу полюбила одного учителя и очень любила до нынешнего года за то, что он хороший семьянин и входил в наши интересы. Но потом он, по-видимому, стал просто-напросто думать, что я бегаю за ним — ведь это принято в пансионах, — и любовь стала охлаждаться. Потом я была дружна с одной классной дамой, что причинило мне немало неприятностей, потому что она меня совсем не поняла. Наверно, Вам уже надоело читать такое неразборчивое письмо. Я очень рассеянная и не люблю перечитывать.

Напишите мне ваше отчество.

Лиза

10. I. 11. Пермь.

Костя, какие разные Ваши два письма. Первое — восторженное, а второе — такое унылое, как будто Вы что-то дорогое потеряли. По первому письму я решила, что Вы влюблены, — правда или нет, мне очень интересно. Вы знаете, а я даже никогда не увлекалась, и это почему-то считают странным. Сама же я объясняю это просто. У меня уже создался известный идеал, а его нет среди окружающей молодежи. А если я влюблюсь в человека,

не отвечающего моему идеалу, это будет индукция — и только.

На праздниках я, как и в прошлом году, была на балу в мужской гимназии. Так странно, что прошел уже год, а тот вечер вспоминается мне, будто я прочитала о нем в какой-то книге. У меня тогда были плохие отношения с регентом, который у нас имеет большую власть, и я узнала, что меня не пустят на бал за то, что ушла из певчих. Но мне все-таки разрешили, и первую половину вечера, пока шел концерт, я была не в духе, как всегда, когда задевают мое самолюбие. Вы пригласили меня, и мне все думалось: почему Вы именно меня пригласили? Когда мы танцевали венгерку, мне было страшно, что Вы потеряете свое пенсне. Кстати, я так и не знаю, какие у Вас глаза, мне кажется — серые или голубые? У меня почти все танцы были розданы мальчикам, и они обиделись, в особенности один, который думал, что я в него влюблена.

Ужасно надоело в пансионе. Скоро экзамены, хочу сдать хорошо, надо заниматься, тем более, что я думаю о курсах, к которым совершенно не подготовлена. Но времени совершенно нет! Надеялась почитать на страстной и на пасхе — каждый день служба, да еще два раза, очень утомляюсь.

Еще я должна сказать Вам, Костя, что Вы совершенно не понимаете моих писем. Вы считаете меня наивной пансионеркой, которая навязывается со своей дружбой, увидевшись с мальчиком (хотите — юношей) единственный раз. В этом я почти уверена, потому что иначе Вы не отвечали бы в такой общей форме на мои вопросы.

Е. Тураева

23. III. 11. Пермь.

Костя, что с Вами, Вы так долго не пишете! Я уже все передумала: не больны ли Вы? Может, не находите интересным со мной переписываться?

Этот год у меня удивительно гадкое настроение: ничего не читаю, не учусь. Начальница опять начала придираться, да и классная дама, которую я так любила и которая ко мне относилась очень хорошо. Лишили медали, сбавив из-за поведения. В отпуск не хожу — все наказана. Голова тоже совершенно пустая. Жду не дождусь, когда кончу.

26. VI. 11.

Благодарю Вас, Костя, за письмо. Теперь я живу на Воткинском заводе. Сюда перевели полк, в котором служит отец. Мой адрес: командиру второй роты Тураеву для Елизаветы Николаевны. Я кончила с золотой медалью, и начальница при прощании сказала, что простила меня ради моей доброй души, — не знаю уж, чем я эту доброту показала. О будущем пока ничего сказать не могу, так как папа не может меня содержать в Симбирске. Таким образом, я прежде должна найти уроки и тогда, может быть, смогу учиться в восьмом классе гимназии в Симбирске, а там уж мне легче будет ехать в Петербург. Воткинский завод — захолустье, каких мало, даже библиотеки нет, а об интеллигентных людях и говорить нечего. Я здесь очень скучаю. Мы живем довольно далеко от центра, где находится красивый пруд, и его плотина служит местом для гуляний, а по жаре, которая спадает только к десяти часам, нет никакой охоты ходить. Вы ведь тоже думаете о Петербурге. Поедете ли туда и когда? Вы еще не ответили на мои вопросы, хотя знаете,

что я буду откровенно отвечать на Ваши. Я вообще откровенна и люблю такое же отношение к себе. Предугадываю Ваши мысли: «Боже, какая наивность, сентиментальность». Верно ведь? Но только это совсем не так. Я просто руковожусь одним: «мне хочется», и почему же этому не быть, ведь я, конечно, уважаю и чужую волю!

Сейчас читаю «Цепи» Ожешко. И думаю, что замужество действительно не что иное, как цепи, особенно для женщины. Я ужасно жалею замужних женщин, конечно молодых. Вся их личная жизнь потеряна, и это — общая судьба почти, за редким исключением. Я стою против брака, интересно, как вы?

Посылаю Вам свою фотографию. Правильно ли я угадала, что у Вас глаза серые? У меня — неопределенного цвета: иногда зеленые, а иногда серые, за что в пансионе меня звали «русалкой» и «Ундиной».

Не знаю, как Вы разбираете мой отвратительный почерк. Если судить по Вашему, мы — полная противоположность.

Костя, будьте со мной откровенны, забудьте, что я — барышня. Ваша сдержанность, скрытность не позволяют и мне вполне довериться Вам.

Лиза

К этому письму была приложена фотография институтки в белом переднике, с белой пелеринкой на плечах. Черный бант поддерживал пышно уложенную груду волос. Лицо было доверчивое, с большим красивым ртом и широко открытыми улыбающимися глазами. «Косте Карновскому, — было написано на обороте фотографии, — на память о нашей оригинальной дружбе».

На почтовой бумаге были оттиснуты цветные застав-

ки: на одних письмах — Петрушка, погоняющий черта, на других — мышки, оседлавшие рыжего, зеленоглазого кота. Адрес выглядел старомодно-забавно: «Казань. Продолженье второй горы, дом Аверьянова. Его высокородию г. Карновскому». Здесь и там попадались засушенные цветы в самодельных конвертах из прозрачной бумаги.

12. IX. 11. Сарапуль.

Большое спасибо, друг, за Ваше письмо. Действительно, немало воды утекло с тех пор, как мы стали переписываться. Смешно вспоминать, как наивна я была в пансионе! Только теперь я начинаю знакомиться с жизнью, и нельзя сказать, что она встречает меня с цветами. Я хотела кончить восьмой класс в Симбирске, собралась туда, оставалось в буквальном смысле надеть пальто и шляпу, как получаю вдруг телеграмму, что нет ни одной свободной вакансии. Пришлось остаться и кончать восьмой класс в Сарапуле. А как здесь я скучаю! Все одна! Совершенно не с кем поговорить по душе! Сколько сомнений! Невозможно было больше жить надеждами, мечтой о будущем. И вот я поступила в рисовальную школу. Плата недорогая, но все же пришлось взять еще один урок. Я стараюсь скопить хоть немного денег, потому что очень мучаюсь своей зависимостью от родителей и знаю, что она будет особенно тяжела в Петербурге. Вы, Костя, жалуетесь на разобщенность студентов. А по-моему, и не может быть единения, когда нет большого общего дела. Впрочем, дело-то есть, да все понимают его по-разному. По-моему, идеальное общение может быть только в критические моменты. А в спокойное время студенты должны жить кружками, которые имеют свои цели. Ор-

ганизация этих кружков, по-моему, зависит всецело от нас самих. Вот и я, например. С каким удовольствием устроила бы здесь свой кружок! Но, к несчастью, это невозможно. Ведь я — гимназистка. А гимназия ставит узкие рамки для самостоятельной мысли. Меня ужасно тяготит гимназия. В пансионе ждала, ждала конца! А тут опять целый год мучиться.

Боже, как хочется жить широко, со смыслом, по своей воле! Читаю Ибсена, перечитываю Белинского, в восторге от того и другого. Спокойной ночи!

23.III.12. Дер. Крюки.

Как давно мы не писали друг другу, Костя! Может быть, у Вас пропало желание переписываться со мной, хотя бы и редко? У меня, как видите, оно еще сохранилось. Мне очень интересны Ваши письма, особенно — когда у Вас появился кружок и журнал. Вы как-то писали, что цель журнала — объединить молодежь. Но это лишь разожгло мое любопытство.

Знаете ли Вы, что я служу в деревне? Мне нужны средства, чтобы учиться. Хотя бы с грошами, но дала себе слово в будущем году поехать в Питер. Может быть, поступлю на Бестужевские. Мне всегда хотелось изучать искусство — у меня порядочные способности к рисованию, но это трудно для меня в материальном отношении. Попрежнему намерена поступить на математический факультет, потому что убеждена, что математика — самый короткий путь к самостоятельному мышлению. На помощь отца я не рассчитываю, мы с ним говорим на разных языках. Словом, силы и желания у меня много, а знаний никаких. И все же я не унываю, все же надеюсь, сама не знаю — на что.

О жизни в деревне я ничуть не жалею. Раньше я не имела о ней никакого понятия, а теперь приобрела опыт, хотя и небольшой. Мир моих понятий расширился в том отношении, что я поняла, до какой степени несчастен и невежествен народ! Пройдут тысячелетия, прежде чем наши усилия (интеллигенции) принесут плоды, а до той поры равенство, по меньшей мере духовное, — невозможно. Интересно, как решаются эти вопросы в Вашем кружке. У меня много знакомых из разных университетов, и живут они, по моим наблюдениям, удивительно безотчетно. Может быть, я неправа?

Где Вы проводите лето? В начале июля я собираюсь в Симбирск. Вероятно, заеду в Казань, хотелось бы повидаться. Желаю всех благ, жму руку.

Лиза

9. V. 13. Сарапуль.

Очень жаль, что Вы не получили моего письма осенью, Костя: мы могли бы тогда переписываться, а то я так скучала в деревне без писем. Теперь вернулась в Сарапуль, экзамены кончились рано, и вот уже неделя, как я брожу без дела, если не считать рисования, которым я занималась, кстати сказать, и в деревне.

Осенью еду на курсы в Питер. Пока решила поступить на Бестужевские, на математическое отделение. А потом, может быть, перейду на архитектурные, то есть на последние мне как раз и хочется. Но я боюсь потерять время попусту, так как совершенно ничего не знаю об архитектурных курсах. Многое я загадываю на будущее, суждено ли выполнить?

Цель Вашего кружка мне очень симпатична. Как бы я хотела быть его членом! Я Вам писала, что хотела основать кружок здесь, но мне не удалось. Главным препят-

ствием были домашние обстоятельства. У нас с папой совершенно различные взгляды. Да и в гимназии ко мне относились очень недоверчиво. (Здесь гимназистки в высшей степени неразвиты.) А когда я приобрела их доверие, было уже поздно. Тогда я решила посвятить этот год рисованию. Очень жаль, что приходится учиться ему урывками. Кажется, у меня есть способности и вообще любовь к искусству. Какое искусство Вы предпочитаете?

Времени, прожитого в деревне, я не жалею: я приобрела опыт и знание деревни, хотя и небольшое. Раньше я не имела о ней ни малейшего понятия.

Читала я порядочно, хотя подбор книг был скверный, вернее — его не было, так как город — далеко и книги доставались с трудом. Все же удалось добыть «Записки революционера» Кропоткина, «Портрет Дориана Грея» Уайльда и Амфитеатрова, который, по-моему, интересно разобрал положение античного раба. Читали ли Вы? Если — да, напишите мне Ваш вывод.

25. VIII. 1913. Казанская железная дорога.

Ну, Костя, должна признаться, что Вы не просто удивили, Вы поразили меня. Ведь читая Ваши редкие, сдержанные, чтобы не сказать — холодные, письма, я все думала — куда же девался тот любезный, разговорчивый студент, который весь вечер танцевал со мной и старался угадать каждое мое желание? Когда Вы показывали мне галеру, на которой Екатерина Вторая путешествовала по Волге, я подумала, что она позавидовала бы приему, который Вы устроили мне в Казани. Это шутка, Костя, но откровенно скажу, я была глубоко тронута, когда оказалось, что Вы отменили все уроки и университет и подарили мне чудесный день с самого утра до ночи.

Мне вспоминается Зилантов монастырь, когда мы карабкались по горке. Вы рассказывали, что в одной из пещер, по преданию, жил когда-то крылатый змей Зилант, и так смешно вдруг изобразили его, что я чуть не упала на землю от смеха. А этот в соборе серебряный ковш с надписью, которую Вы объявили своей жизненной программой: «Пивше возвеселимся и любовью усладимся и вовеки тоя не лишимся», — видите, я запомнила наизусть!

Ваш друг Лавров очень понравился мне, я даже представила себе, что в такого человека можно влюбиться. Неужели он действительно так строго судит о Вас? В его шутках мне показался оттенок серьезности.

Словом, спасибо, спасибо Вам, милый Костик! Сразу же по приезде в Петербург я напишу Вам о своих впечатлениях, как устроилась, что на курсах и вообще обо всем и буду с нетерпением ждать ответа. Мне и прежде была дорога Ваша дружба, а теперь стала еще дороже. Право, мне кажется, что в моей жизни не было более прекрасного дня.

Л и з а

КАЗАНЬ. 1913

День, который Лиза провела в Казани, был проникнут ощущением конца одной жизни, пансионской, гимназической, и начала другой, самостоятельной, которая вся еще была впереди.

У Лизы и прежде были свидания. Она тайком убегала из пансиона на набережную Камы, где ее по вечерам ждал один гимназист, в которого, ей казалось, она была влюблена. В Сарапуле за ней ухаживал подпоручик, привозивший ей письма и деньги от отца, служившего в пе-

хотном полку, который стоял в Воткинском заводе. Но приезд в Казань был не просто свиданием, а событием, которое она давно и с нетерпением ждала. Событием была и тайна свидания: никто из родных не знал, что по дороге в Петербург она собирается остановиться в Казани.

На пристани Лиза не сразу узнала Карновского: после бала у нее осталось другое впечатление о нем, а на фотографии, которую он прислал зимой, — еще какое-то третье. Теперь все определилось.

Он был белокурый, выше среднего роста, пожалуй что и красивый в своей новенькой тужурке и отглаженной сатиновой косоворотке. Светло-синее пенсне он носил, как подумала Лиза, потому, что носить пенсне было модно. Он изменился за два года, в Перми он был какой-то белорумяный — «точно ангел на рождественской елке», вспоминая о нем, думала Лиза. Но в развороте широких плеч, в красивых белых зубах, в твердой мужской уверенности, с которой он поклонился и заговорил улыбаясь, не было ничего ангельского, а было то, что заставляло ее постоянно думать о нем и с нетерпением ждать его писем.

Это совсем не значило (как полагала Лиза), что она была влюблена. У них была интересная серьезная переписка, они были друзьями, и чувство, что у нее есть друг, студент-математик, умный, начитанный и, по-видимому, дороживший их отношениями, поднимало ее в собственных глазах.

Она волновалась, подъезжая к Казани, придумывала, как ей держать себя, и решила, что сдержанно, в духе его коротких, сдержанных писем. Но уже в первые минуты встречи эта придуманная манера как-то забылась, может быть, потому, что Костя оказался обыкновеннее, чем она ожидала. И ей сейчас же стала нравиться эта

обыкновенность. Было решено, что Карновский проводит ее в гостиницу, а потом, после урока, вернется и покажет Казань.

— Смотреть-то в общем нечего, — сказал он. — Но у меня есть старинный путеводитель, забавный. Мы будем читать его и смотреть.

Он оставил ее в номерах Бонарцева на Черном Озере, и Лиза немного огорчилась, когда часа через два он вернулся не один: за ним лениво плелся студентик в бесформенных штанах и потертой тужурке.

— Лиза, познакомьтесь. Великий математик и мой друг Коля Лавров.

У Лаврова был остренький нос и прищуренные умные глазки. Он снял фуражку с выцветшим синим околышем и подал Лизе маленькую руку.

— Мадемуазель, я не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с вами. Дело в том, что только два человека в мире могли заставить нашего пунктуалиста не пойти на лекцию профессора Маврина и отменить уроки.

— В самом деле? Кто же это?

— Вы и лейтенант Глан.

— Кто такой лейтенант Глан?

— Стыдитесь! Вы не читали гамсуновского «Пана»? Глан — человек со звериным взглядом, который один живет в лесу и не знает, что он сделает в следующую минуту. Костя, сними пенсне.

Карновский улыбнулся и, сняв пенсне, протер его носовым платком. Глаза были серые, большие, блестящие и немного растерянные, как у всех близоруких.

— Опасный человек, — серьезно сказал Лавров. — Вы его интересуете, а человечество — нет. В пьяном виде он гладит морды извозчичьим лошадям и пристает к прохо-

жим. Засим — прощайте. Надеюсь, что столичный город Санкт-Петербург не обманет ваших ожиданий.

И он ушел.

— Умнейшая голова, надежда факультета, — сказал Карновский. — Вы понравились ему.

— Правда? Я рада.

Не было снега, поблескивающего под луной, город был другой, незнакомый. Не было морозной ночной тишины, неожиданной после бала с его надушенным жарким воздухом, с лентами серпантина, которыми швыряли в нее раздосадованные гимназисты. Не было чувства риска, веселой уверенности, что завтра ей непременно влетит.

Но все это было, было! При свете дня в осенней, шумной, оживленной Казани!

На Сенном рынке Константин Павлович купил ей вышитую бисером тюбетейку с кисточкой, она сразу же надела ее, и он притворно испугался, что сейчас она исчезнет, как пушкинская Людмила.

— Что вы стали бы делать?

— Пошел бы в ближайшую полицейскую часть и сообщил, что пропала Елизавета Тураева, абитуриентка, восемнадцати лет.

Уходя с базара, он купил ей еще и хорошенькие татарские туфли, бархатные, украшенные золотой канителью, и в Державинском саду, испугавшись, что они ей не впору, предложил примерить. Туфли оказались впору, он объявил, что в тюбетейке и туфлях Лиза похожа на царицу Сююмбеки, и тут же разыграл старого, сгорбленного визиря с трясущейся головой, который показывает Казань капризной царице.

— А вот и путеводитель времен казанского ханства.

И Карновский стал вслух читать советы «всем путешествующим от Твери до Астрахани на пароходе общества «Самолет»: «В Казани есть множество гостиниц и номеров для приезжающих, но мы не беремся хвалить первые: лучшая из них, «Одесса», все же уступает номерам купчихи Христофоровой».

Кремль был белый, раскинувшийся, но стройный. На толстых стенах были построены другие, тонкие, с бойницами, круто срезанными книзу, с башнями, точно прикрытыми громадными круглыми монашескими шапками.

Крепость стояла на горе, с которой была видна узенькая Казанка. По речке плыли грязные доски. У стен кое-где лежали ядра, и Карновский сказал, что гимназистки перед экзаменами приходят в кремль, чтобы целовать эти ядра, — хорошая примета!

— Ядра целуют? А у нас в Перми ходили за благословеньем к одной тетке, торговавшей бубликами.

Остановились у башни царицы Сююмбеки, и Лиза удивилась — башня была громадная, семиярусная, с высокой сквозной аркой, прорезавшей первый этаж. Издали она казалась стройной красной иглой. В овале арки сохранилась изящная железная инкрустация, и, когда Лиза залюбовалась ею, Карновский сказал, что и теперь под Казанью есть деревни, где выделываются металлические украшения, нисколько не уступающие этой решетке.

— Подумайте, как интересно! — И он прочитал: — «Казанские татары утверждали, что в яблоке на башенном шпиле хранятся какие-то таинственные, важные для них бумаги, но это мнение оказалось ложным. В 1830 году этот шар по приказанию министра внутренних дел был снят, осмотрен, и мечта татарская разрушилась: он оказался пустой и сделан из латуни».

Они пошли в ресторан Панаевского сада, выбрали удобный столик, Карновский протянул Лизе карточку и, когда она стала выбирать что-нибудь подешевле, заказал мазар-жульен-ромэн. Они остались голодными после этого загадочного блюда, и Карновский велел подать подовые пироги.

— Жаль, что Коля ушел. Вопреки своей тощей комплекции, он эти пироги гутирует с азартом, — сказал он смеясь, и Лиза вдруг поняла, зачем Костя привел к ней Лаврова: «Боже мой, да как же я не догадалась! Он хотел показать мне своего друга. И эту новую тужурку, которую он, наверно, носит редко, он надел для меня! И то, что он так старается быть занимательным, веселым. Да и не старается вовсе, а просто ему весело, что мы встретились, и хочется, чтобы я узнала его».

— А ведь подруги недаром прозвали вас Ундиной, — откровенно любуясь ею, сказал Карновский. — У вас действительно глаза то серые, то зеленые. Ну, рассказывайте, милая Ундина.

— О чем?

— О себе, разумеется. Ведь, несмотря на нашу переписку, я почти ничего о вас не знаю.

— Что же рассказывать? Полковая семья, и почему-то другие полки годами стоят в одном городе, а отцовский переводят и переводят, так что я жила и в Саратове, и в Перми, и в Симбирске. Поэтому меня и отдали в пансион. Мама умерла, когда я родилась, отец женился снова, и мачеха... — Она замялась. — Он — добрый, мягкий человек, все его любят, а она властная, подозрительная, ее боятся и обманывают. Я-то не боюсь, а у сестры — забитый вид, и я очень рада, что ее тоже скоро отдадут в пансион. Есть у меня еще брат, и мы с ним дружны, меня

только огорчает, что он тоже хочет стать офицером. Ну, что еще? Все. Теперь вы.

— Я? Загадочная личность. Последователь Смайльса.

— А кто такой Смайльс?

— Был такой философ, который трогательно заботился о человечестве. Книги его называются: «Бережливость», «Самостоятельность», «Характер», «Долг». В конечном счете все сводится к тому, что в каждом человеке сидит английский клерк в котелке, с зонтиком, и если вытащить его оттуда на свет божий, все пойдет как по маслу.

— Вы смеетесь?

— Не совсем.

— Надо будет прочитать. Родные всегда упрекают меня за небережливость.

— Уснете на первой же странице. Я ведь его читал, потому что стремился существовать не как-нибудь, а сознательно, согласно теории. Причем теорий было много. Одна из них, например, заключалась в том, что можно прожить, питаясь по-китайски — только рисом. Потом я прибавил к рису хлеб и все равно за год почти потерял зрение, так и остался на всю жизнь близоруким. Мне было тогда шестнадцать лет. Была и другая теория. Но рассказывать вам о ней мне не хочется. Вы еще маленькая и не поймете.

— Расскажите.

— Любовь, согласно этой теории, есть нечто прямо противоположное так называемому «семейному очагу». Я понял это, насмотревшись на семейную жизнь старшего брата.

Какой-то господин в чесучовом костюме, в канотье, поигрывая тростью, прошел мимо них, скользнув наглым

взглядом, — и Карновский сказал, что это филёр, которого недавно студенты избили в трактире.

— А кто такой филёр?

— Это сыщик, Лизочка, сыщик, — поучительно сказал Карновский.

— Я тоже против брака, — сказала Лиза. — Но я люблю детей. А детей, согласно вашей теории, должен приносить аист.

— Ого! — смеясь сказал Карновский. — Ого! Иметь детей, Лизочка, — это в наше время преступление.

— Почему?

— Потому что они еще до своего рождения обречены на ложь, произвол и бесправие.

— Вы неправы, — подумав, сказала Лиза. — То есть, может быть, и обречены, но все равно эта теория — эгоистическая, и, если бы мне пришла в голову такая теория, я бы, не теряя ни одной минуты, повесила себе камень на шею и бросилась в Волгу. Вы любите Волгу?

— Очень.

— Значит, вы все-таки способны любить?

— Не знаю. Кажется, да.

— Не помню, где я читала статью о Сапунове, знаете, был такой известный художник. Он утонул. Это была удивительная статья. Автор доказывал, что Сапунов утонул потому, что его душа была родственна стихии воды. Он упоминал еще кого-то. Кто еще утонул? Кажется, Писарев?

— Да.

— Ну вот, иногда мне кажется, что у меня тоже такая душа. Только я родственна не всякой воде, а именно Волге. Если я когда-нибудь утоплюсь, так непременно в Волге.

Наконец-то я Вам пишу, Костя. Не знаю, с чего начать, — так много впечатлений! Телеграмму Шуре (не знаю, писала ли я Вам о ней, это моя лучшая подруга) я не дала, потому что нового ее адреса не знала. Номеров свободных поблизости от вокзала не оказалось, я осталась между небом и землей, и мою участь разделила еще одна симпатичная курсистка. Через некоторое время к этой курсистке подходит, вижу, какая-то энергичная барышня и предлагает такую комбинацию: без мужчин нас нигде не пустят, поэтому она сейчас обратится к своим знакомым на вокзале, и все устроится наилучшим образом — для нас и для них. Мы ее любезно поблагодарили, но отказались. В конце концов жандармский начальник принял в нас участие, отправив в «Общество защиты женщин». Переночевали там, заплатив пять копеек. Наконец на другой день разыскала Шуру.

На курсах мои занятия начались только девятого. Я выбрала отделение физики и астрономии и, чтобы не терять времени, хожу на лекции профессоров других факультетов. Слушала Платонова — очень нравится. Знаете, Костя, что меня поражает? Мое равнодушие. Не отсутствие интереса, а странное впечатление, что все это уже было когда-то: я шла вдоль этих огромных зданий, высокие черные кареты обгоняли меня, и даже этот стук копыт о деревянную мостовую смутно помнится мне — точно я слышала его во сне или в своей предшествующей жизни. Как тут не поверить в переселение душ? Это чувство у меня с первых минут в Петербурге.

Костя, приезжайте на рождество. Я буду очень, очень рада. Конечно, Вы не вспоминаете обо мне? Это нехорошо. Шлю Вам мой искренний, сердечный привет.

2. X. 13.

Милый Костя, спасибо за дружеское письмо. Я тотчас же принялась за ответ, написала его и изорвала. Вспомнила полученный недавно от нового знакомого (очень умного человека) урок: не нужно навязываться другим со своими настроениями. Напишу Вам поэтому о своей студенческой жизни. Хожу на курсы, слушаю лекции, усердно занимаюсь тригонометрией и алгеброй; после праздников думаю сдавать. Английский подвигается туго. Встретила компанию студентов и, конечно, курсисток, но мне они не очень нравятся. Хорошие, честные и симпатичные, но очень уж узки их интересы. И в этом отношении Вы не выходите у меня из ума.

Помимо курсовых слушаю лекции на насущные темы. Например, Сперанского «Победители жизни». Говорит он красиво, но как-то пусто. Я попыталась пересказать его лекцию Шуре — а кончилось тем, что мы обе стали хохотать до упаду.

Кстати сказать, с нами случилась неприятная история: мы не могли своевременно заплатить за комнату, хозяйка отказала, и пришлось бегать по всему городу. Найти комнату в Питере — каторга. Бегали дня четыре, наконец устроились. Мой адрес: В. О., 15-линия, д. 70, кв. 19.

Для отдыха я ходила по театрам с одним сарапульским знакомым. Видела в Александринке «Доходное место» с Варламовым и Стрельской, а в Мариинке — «Евгения Онегина» со Смирновым, Касторским и Славиной, Оркестром дирижировал сам Направник! Я была в восторге — в особенности от Смирнова и оркестра.

Заинтересована и возмущена делом Бейлиса. Курсы на завтра объявили забастовку. Послали защитнику приветственную телеграмму. В университете тоже волнуются

и в других учебных заведениях, вообще все принимают горячее участие в этом деле. С нетерпением ждем решения. Поистине ужасное обвинение бросается целому народу в лицо. Отвратительный процесс, с бесстыдным цинизмом ведется дело!

Милый Костя, не забывайте меня и, очень, очень прошу, чаще пишите. Шура шлет Вам привет.

14. XI. 13.

Милый, хороший Костя, спасибо за Ваше прелестное письмо. Скорее, скорее бы святки! Как бы мне хотелось, чтобы Вы сейчас были со мною. Я не умею выразить на бумаге то, что могла бы сказать, если бы Вы были сейчас со мною.

Хожу на лекции и огорчаюсь: сколько пробелов в моем подготовительном образовании! Слушаю анализ и почти ничего не понимаю. Оказывается, я еще так мало знаю из алгебры. Теперь я вижу, что интерес к искусству помешал мне серьезно подготовиться к математическому факультету. И продолжает мешать. Вот сейчас, например, я запоем читаю «Эллинскую культуру» Баумгартена. Да и не следовало бы слушательнице математического факультета бродить часами по Эрмитажу в почти идиотическом наслаждении.

С.-Петербург.

Костя, я была в Москве. Моя тетя (сестра отца), не видевшая меня с детских лет, вдруг пожелала встретиться. Она работает в Лиге борьбы с туберкулезом, но интересуется, как и я, искусством. В годах, но еще живая, энергичная, и не я, а она затаскала меня по Москве. С нами был ее друг Иван Иванович Реутов, преподава-

тель Строгановского училища, знаток искусства. Мы были в храме Христа Спасителя, в Кремле, в церкви Василия Блаженного и в первом этаже Третьяковской галереи (второй, к сожалению, ремонтируется). Видела Верещагина, который мне не очень понравился, может быть, потому, что он больше говорит уму, чем сердцу. Зато от Левитана и Борисова-Мусатова положительно не могла оторваться. «Призраки» последнего напомнили мне мои сны — не помню, писала ли я Вам, что вижу сны так часто, что даже удивляюсь иногда, если ночь проходит без снов? Перед картиной, которая мне нравится, я как бы раздваиваюсь — знакомо ли Вам это чувство? Чтобы глубоко почувствовать настроение картины, мне надо взглянуть на нее глазами моего двойника. И когда это удается, я испытываю даже перед грустными произведениями чувство непонятного счастья. К этому чувству присоединяется удивление: почему в двух шагах от левитановского «Вечернего звона» видишь только грубые мазки, а в десяти или пятнадцати картина складывается так гармонично? Ведь мне казалось даже, что я слышу звон колоколов, доносящийся откуда-то издалека. Я не смотрела других художников, берегла впечатление, а вечером пошла на диспут о живописи, который в Политехническом институте устроила группа «Бубновый валет». Боже мой! Никогда в жизни еще не приходилось мне в один и тот же день испытывать такие противоположные впечатления. Попасть было почти невозможно, но тете удалось достать билеты с помощью Реутова, и, пробравшись через огромную толпу студентов, громко споривших с городовым, мы заняли свои места на хорах.

Вечер открылся докладом Кульбина, о котором тетя сказала, что ему, как врачу и статскому советнику, стыдно в сорок четыре года гоняться за модой. Кульбин срав-

нивал Скрябина с Пикассо (!) — и доказывал, что искусство должно развиваться «спиралеобразно». Потом художник Бурлюк — неуклюжий, в длинном пиджаке — объявил, что Рафаэль и Веласкес — мещане духа и что им удавалось притворяться художниками только потому, что в те времена еще не была изобретена фотография. В этом месте тетя от негодования потеряла пенсне, и, пока мы его искали, Бурлюк успел разделаться с Элладой IV века и эпохой Возрождения. Иронические возгласы слышались время от времени, но в общем публика не очень сердилась. Но когда Бурлюк стал показывать на экране репродукции с «левых» картин, в зале началось бог знает что — шум, свист, мяуканье, топот. Тетя тоже разве что не мяукала. И действительно, картины — если можно так назвать бесформенные груды черно-белых кубиков или лошадиные морды, едва угадывающиеся среди каких-то крыш, — производят отталкивающее впечатление. Шум еще продолжался, когда на кафедре появилась стройная женщина, лет двадцати семи, в черном, строгом платье, с гладко причесанными волосами, — и наступила тишина, потому что сразу стало видно, что она *дождется* тишины, как бы долго ни пришлось дожидаться. «Среди картин, которые показал здесь Давид Бурлюк, две принадлежат мне. Но это грубая подтасовка, против которой я, Наталия Гончарова, решительно протестую. Группа, к которой я принадлежу, называется «Ослиный хвост». — Она терпеливо переждала общий смех и повторила ясным голосом: — «Ослиный хвост». И наша группа не имеет ничего общего с «Бубновым валетом». К сожалению, тетя, которая так волновалась, что чуть не упала с хоров в амфитеатр, помешала мне внимательно выслушать Гончарову. Между тем в том, что она говорила, попадались здравые мысли: «Художник должен твердо знать, что он изобра-

жает, а уже потом искать для своего замысла определенную форму». Тут же она сравнила произведения кубистов с каменными бабами, что, по-моему, вздор, хотя бы потому, что нельзя безоговорочно сравнивать живопись и скульптуру. Но сама она мне очень понравилась. Более того, мне вдруг смертельно захотелось быть такой, как она, — серьезной, строгой и мужественно-убежденной. Я позавидовала и ее внешности, впервые в жизни рассердившись на свои длинные ноги.

(Письмо не датировано)

22. XI. 13. С.-Петербург.

Милый Костик, зачем Вы не здесь? У меня очень тяжело на душе. Зачем я живу? Из любопытства? Я слишком ясно вижу безотчетность в собственных действиях, чтобы уйти от этого вопроса. Вот почему моя мысль все чаще останавливается на Вас. Я верю, что Вы живете сознательно, осмысленно, презирая мелкие цели, не ища, как я, оправдания. Значит ли это, что Вы нашли себя? Или — и не искали? Но можно ли найти себя без поисков и, следовательно, без участия сердца? Мое письмо, должно быть, покажется Вам смешным. Я так боюсь этого, что уже готова была разорвать его, но вот видите — снова слабость. Не разорвала.

Очень внимательно слежу за делом Бейлиса. У нас на курсах — общее возмущение. У меня много знакомых среди студентов юридического факультета, и там по поводу этого процесса бесконечные противоречивые разговоры.

Если бы Вы знали, Костик, как я Вас жду.

Вокруг меня нет никого, кто помог бы мне рассеять мои сомнения. Единственный человек, перед которым, как

это ни трудно, я готова сознаться в своей несамостоятельности, — это Вы. Право, мне кажется, что я отдала бы несколько лет своей жизни, только чтобы поговорить с Вами. Год за час! Скорее бы рождество!

Только жаль, что Вы так мало пробудете в Петербурге. Зачем так много времени для Москвы? Ведь Вы там уже были. Где Вы намерены остановиться? Если в номерах, то я советую лучше снять комнату на неделю. Это дешевле.

15.XII.13. С.-Петербург.

Костя, я Вам устроила комнату в том же доме, где и я. За неделю с Вас возьмут 3 рубля (с самоварами). Я не знаю, может быть, это дорого для Вас, и тогда я буду искать другую, но мне кажется, что это недорого, и хозяйка прекрасная. Так вот, скорее отвечайте. А главное, напишите, какой суммой Вы располагаете для театров? Я думаю, что Вы ничего не будете иметь против самых дешевых мест? Репертуар я еще не знаю, но напишите, куда Вам больше хочется: в оперу, в драматические? Скорей бы рождество!

2.I.1914. С.-Петербург.

Мой дорогой, Вам это покажется странным, но я ищу в себе душевные перемены после того, что произошло между нами, — и не нахожу, не сердитесь на меня за откровенность. Я даже смотрелась на себя в зеркало, прямо в глаза долго-долго, до дурноты. Нет, такая же!

Конечно, после Вашего отъезда я то и дело перебираю в памяти наши встречи, — может быть, это одно доказывает, что во мне что-то переменилось. Но ведь я и раньше скучала без Вас, например в деревне, когда я так долго

ждала ответа на свое письмо, а гордость не позволила написать снова. Но тогда я просто скучала, а теперь еще и сержусь на себя, ругаю себя, даже плачу от злости. Конечно, Вам и в голову не придет — почему. Потому что я ничего не успела сказать Вам, а хотелось сказать так много! Мне необходимо было поделиться с Вами своими сомнениями, надеждами и желаниями, а Вам, кажется, только желаниями — или я ошибаюсь? Я знаю, что Вы живете сознательно, не мечетесь (внутренне) из стороны в сторону, как я. В каждом Вашем поступке чувствуется какой-то отсчет — недаром же Вы математик, — и, хотя я сержусь на это «тик-так», мне давно стало ясно, что Вы решились не шутить с жизнью, а победить ее, раз уж судьба Вам ее подарила. А я живу, как большинство, преследуя мелкие цели, изо дня в день, безотчетно. Ведь это, в сущности, нечестно — если не перед другими, так перед собой. «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», — говорит Бальмонт. Но красота жизни — в ее осмысленности, и не солнце у меня перед глазами, а мрак и горе.

Я не умею логично выражать свои мысли, и это письмо может показаться Вам наивным. Но ведь ближе Вас у меня теперь нет человека.

Ну, полно! Всего не выскажешь, да, может быть, и не надо.

Посылаю Вам свою физиономию. Должно быть, на ней отразились мои роковые вопросы, иначе почему бы у меня был такой страдающий вид? Пишите мне, дорогой. Скорее и больше, больше!

Шура торопилась, ехала курьерским и все-таки не застала Вас — очень обижена, находит Вас неделикатным, но по доброте сердца все-таки шлет привет.

Как-то случилось, что я еще ничего Вам о ней не рас-

сказала. Она — крепенькая, хорошенькая и отнюдь не забывающая об этом, особенно в обществе мужчин. В ее внешности есть что-то наивно-ангельское и совершенно не соответствующее действительности, потому что она — барышня вполне земная, деятельная и, в противоположность некой Лизе Тураевой, менее всего склонная к рефлексии (в смысле самонаблюдения). Я ее люблю, во-первых, за то, что она меня любит. А во-вторых, за то, что могу, не опасаясь сплетен, рассказывать ей о Вас.

21.I.14. С.-Петербург.

Милый Костя, два дня я лежала в постели, простудилась на дежурстве за билетами в Народный дом — я снова была там на «Ромео и Джульетте». Боюсь, что мне придется уехать из Петербурга. Папа вышел в отставку по болезни, домашние дела — плохи. Я должна помогать, значит — служить. Будьте добры справиться в земской управе, не найдется ли свободного места для учительницы? Нет ли у Вас на примете какого-нибудь урока? Пусть это будет между нами, так как я надеюсь, что все еще устроится.

Костик, пишите мне чаще, я так жду Ваших писем. О себе, о Ваших делах, о новом кружке. Мне интересно все, что касается Вас.

1.II.14.

Дорогой мой, отгадайте, откуда я Вам пишу? Из Ялты! Удивлены? Только что приехала и сижу в прекрасной гостинице. Но не очень-то радуйтесь за меня. Я чувствую себя отвратительно, гадко.

Помните, я писала, что мне предлагают стипендию? Этот господин — его фамилия Карманов — зашел ко мне

в тот день, когда у меня был врач, который сказал, что у меня легкие нездоровы. И Карманов предложил мне не только стипендию (на учение), разумеется, заимообразно, но также и поездку на месяц в Ялту. Меня, правда, немного смутило, что ему тоже надо было зачем-то в Крым. Но человек он семейный, всегда был по отношению ко мне корректен, и, хотя я знала, что нравлюсь ему, однако не имела основания не верить в его благородство. Папа позволил мне ехать, и вообще о моей поездке многие знали. И вот в поезде этот господин вдруг сделал мне формальное глупое предложение, на которое я ответила, что, если он прикоснется ко мне (мы ехали в одном купе), я плюну ему в физиономию. Он перешел в другое купе, и больше я его не видела. О стипендии теперь нечего и говорить, хотя известная сумма уже затрачена. Я ему, конечно, выплачу, когда стану служить. Сижу сейчас без копейки, далеко от Питера, нездорова. Но уехать нельзя, потому что я не хочу, чтобы папа узнал об этой истории.

От Севастополя до Ялты ехали на автомобиле. Была хотя и скверная погода, холодно и снег, все же я любовалась природой, о прелести которой сейчас не в силах писать. Прошу Вас, сожгите это письмо. Не хочу, чтобы оно впоследствии было свидетелем моего несчастья. Я верю, что все перемелется, как-нибудь устроюсь, поищу уроки. А пока — напишите мне, дорогой, чтобы хоть немного успокоить меня.

13.II.14. Ялта.

Мой милый, мой нежный друг, спасибо за Ваше сочувствие, но Вы совершенно напрасно послали мне деньги. Они, без сомнения, Вам самому нужны, а я всегда

сумею достать и даже, кажется, уже и достала. Мои дела обстоят так. Я устроилась в комнате у одной интеллигентной старушки. Она — вдова члена ялтинской городской управы. Вместе с Чеховым принимала участие в постройке санатория «Яузлар» и в сборе средств. На столе у нее стоит известная фотография Чехова в пальто, с палкой, с собаками. Автограф — «Милейшей Ольге Александровне от А. П. Чехова». Очень умная и культурная женщина лет пятидесяти пяти, всеми уважаемая. Уже получила маленький урок — занимаюсь с гимназистом немецким языком по 1 рублю в час два раза в неделю и надеюсь получить еще несколько уроков, которые оплачиваются здесь прекрасно. Доктор нашел у меня «жесткий выдох в правом легком» и сказал, что я хорошо сделала, приехав сюда. Не знаю, что будет. Пока я чувствую себя прекрасно.

Вы представить себе не можете, как нравится мне море. Серое, хмурое, зеленоватое, всех оттенков, широкое и такое разное всегда. То оно тихо плещет на берег волну за волной, то начинает казаться, что оно сердится на людей за их мелочность и пошлость. А горы — фиолетовые, с белоснежными пятнами на вершинах. Ялту они окружают со всех сторон, оставляя свободной только сторону, обращенную к морю.

Я сижу на берегу подолгу, часами, и забываю обо всем печальном и некрасивом, и думаю, что без красоты человеку нет сил жить. Вам не кажется, Костик, что восприятие красоты — не менее сильный инстинкт, чем доброта и сочувствие к людям? Но я наскучила Вам своей болтовней, а между тем самого главного еще не рассказала. И в Петербурге я боролась с желанием писать, а в Ялте совсем свихнулась и на первые же заработанные деньги купила пастели. Я боялась дороговизны, но уда-

лось найти ящик за четыре рубля. Оттенков маловато даже для начала. Пока я только смотрю на пастели, но на душе почему-то стало полегче. Костик, может ли такое сильное желание соединиться с полным отсутствием таланта? Боюсь, что — да. Во всяком случае, я не собираюсь оставлять свою математику. Но ее я люблю, как добрую родственницу, а живопись — как Вас.

Здесь, в Крыму, можно посмотреть только Айвазовского (в Феодосии), и приходится довольствоваться воспоминаниями, которые, к моему удивлению, никуда от меня не ушли. В особенности — Борисов-Мусатов. Как странный, но интересный сон, вспоминается иногда вечер «Бубнового валета», но не картины, в которых я ничего не поняла, а Гончарова, поразившая меня своей прямотой.

Милый, пишите мне больше. Я одна и одна. Часто ли встречаетесь Вы с Лавровым? Боже мой, как я завидую Вам! Если бы у меня был такой друг! Я ревную Вас к нему, а не к таинственной незнакомке, о которой Вы написали с такой дружеской простотой.

Ялта.

Вы неосторожно попросили меня описать Ялту, Костик. Пеняйте же на себя. Письмо будет трехтомное, с прологом и эпилогом.

ПРОЛОГ

Ялта состоит из татар-проводников, набережной, кинематографов и магазинов. Начало ее истории потерялось бы во мгле веков, если бы не мемориальная доска, висящая на часовне, между Кутузовской и Бульварной. Надпись гласит: «17 сентября 1837 года Его Императорское Величество Николай I, осмотрев с этого места открывав-

шийся перед ним вид, высочайше повелеть соизволил переименовать деревню Ялту в город Ялту». Таким образом, историки навсегда потеряли возможность утверждать, что Ялта родилась, как Афродита, из пены морского прибоя.

ТОМ ПЕРВЫЙ

Татары-проводники являются прежде всего татарами, а уже потом — проводниками. Они в круглых мохнатых шапках, в бархатных курточках и в щеголеватых лакированных сапогах, причем каждая часть костюма представляет собой произведение искусства. Шапка расшита сверху золотой или серебряной звездой, а курточка во всю ширину груди, до пояса — позументом из серебряной канители. Общее впечатление — черный цвет с серебром. У каждого проводника две лошади, одна для себя, другая — «под амазонку». Держатся они развязно. Я была свидетельницей такой сцены. Проводник ведет коня. Дама в белом костюме сходит с панели и рукой в длинной перчатке гладит коня по крутой лоснящейся шее: «Ах, какой красавец!» Проводник (носатый, статный, с закрученными черными усиками): «А хазаин ешо десать раз лу́чи». Дамы, дорожащие своей репутацией, в горы с проводниками не ездят.

Знаменитая гостиница «Ореанда», принадлежащая какому-то генералу Витмеру, находится на Николаевской, и тут же, если перейти мост, начинается Набережная. Вверх налево — детский пляж доктора Лапидуса с тентами и цинковыми ванночками. Женская прислуга — в халатах. Это один из немногих пляжей в Ялте — вообще говоря, купаться с берега запрещено. Но если пройти немного подальше, за дачу бывшего царского повара

Кюба́, можно и с берега, как это делают некоторые плохо воспитанные люди, вроде меня. Это не то что неприлично, а как бы не соответствует духу благопристойности, воплощением которой является знаменитый «мостик» у Александровского сквера. Этот «мостик» выдается в море саженей на десять. На скамейках мужчины в канотье и чесучовых пиджаках читают газеты, а дамы под зонтиками (здесь прячутся от солнца) задумчиво смотрят вдаль. На берегу у «мостика» можно «подышать морем». В плетеных креслах сидят мамы и бабушки, а чистенькие дети в матросках играют в песочек. Здесь даже море (разумеется, в тихую погоду) гордится своим респектабельным видом. Напротив парадного входа в «Ореанду» находится купальня Саглык-су («Чистая вода») и ванное заведение Витмера. Я была в Саглык-су и решила больше не ходить. Удобно только, что можно купаться без костюма. В саженях десяти — пятнадцати от берега в море укреплены бочки, от которых канаты протянуты к берегу. По этим канатам, держась за них, можно доплыть до бочки. Большой брезент отгораживает женское отделение от мужского.

Кинематографы. Самый дешевый из них носит загадочное название «Электробиограф Дрона», а самый дорогой — «Одеон». В «Одеоне» я была несколько раз с моими учениками, которых без меня родители не пускают. К сожалению, они тащат меня на «Зигомара» или «Соньку — Золотую ручку», в то время как мне хочется, как Вы понимаете, посмотреть «Роковую любовь» с участием Максимова и Веры Холодной.

В «Одеоне» билет стоит рубль — существенная причина, по которой мы чаще бываем в «Иллюзионе П. К. Чепати», его мои ученики любят за то, что там в фойе стоит орган, который начинает оглушительно реветь, если бро-

сить в него монетку. Зато, если бросить вторую, — на стекле (орган под стеклом) появляется девочка в розовом платье, которая качается на качелях.

После сеанса выступает босоногая Жрица огня, в шароварах, с удавом.

Милый мой, Вам еще не надоело мое трехтомное письмо? Посылаю веточку кипариса и два подснежника. Так хочется быть счастливой.

(Письмо не датировано)

Ялта.

Ах, вот как, милостивый государь, Вы еще не устали от моей болтовни? Признаться, я остановилась перед *магазинами*, потому что редкий мужчина любит бродить по магазинам без дела. Кстати, мужчины (старше 35 лет) непременно ходят здесь с палками, а женщины (очень часто) со стэками. Итак:

ТОМ ВТОРОЙ

Магазины. Принадлежат они почему-то больше всего грекам, французам, полякам и немцам (Менье, Калфа, Петри, Металиди, Равве, Пфейфер, Висконти и т. д.), так же как аптеки — евреям.

Есть роскошные, вроде парфюмерии Остроумова в стиле «Ампир». Я покупаю там мыло, хотя мне хочется купить духи, которые, говорят, не уступают фирме Коти. Одновременно с мылом я получаю (бесплатно) портрет какой-нибудь знаменитой артистки, с печатным автографом, извещающим господ покупателей, что Надежде Комаровской нравятся духи «Японская лилия», а Алисе Коонен — туалетная вода «Вербена».

Что касается моих учеников, то они предпочитают иг-

рушечный магазин «Дело и забава», который они называют «Дева и забава», потому что за прилавком стоит немолодая тихая немка с утиным носом, в зеленом платье и с высокой прической. Мне тоже нравится эта дева, так же как смешанный запах лака, краски и столярного клея, который почему-то производит впечатление уюта. Как известно, магазины вообще различаются по запахам, это относится и к Ялте. В магазине Сарибегова, где продаются кольца и браслеты, пахнет церковной службой, может быть, потому, что кроме мишуры там продаются иконы. В ковровой лавке — пылью, а в магазине Удельного ведомства (подвалов Массандры) — красным вином.

Но довольно о магазинах. Упомяну, впрочем, еще один, да и то потому, что на его витрине выставлен «морской черт», будто бы пойманный в Черном море. Морда у него с бакенбардами, чем-то напоминающая Ибсена, ручки — коротенькие, и рыбий хвост. Длина — аршин. Создан природой в лице владельца магазина. В магазине продаются коробочки из ракушек и пепельницы из рапана.

Кондитерские. Вы равнодушны к сладкому, Костик, а то я описала бы Вам ялтинские кондитерские, поглощающие добрую половину моих скромных доходов. У входа в Александровский сквер кондитер печет вафли прямо на глазах почтеннейшей публики, и нет никакого сомнения в том, что больше нигде в мире нет таких вкусных ванильных трубочек с кремом! Что же сказать о знаменитой кондитерской Флорена? Напротив нее, вдаваясь в море, стоит на сваях поплавок, тоже Флорена, тот самый, который (по слухам) описал Чехов в «Даме с собачкой». Впрочем, Чехов его как-то переименовал, не помню.

За этим поплавком начинается уже другая Ялта: каботажная пристань. Весь берег занят рыбацкими лодками

и сетями. Рыбачат, главным образом, греки. Все свое свободное время я провожу на этой пристани с альбомом, пишу все, что попадается на глаза, и никого это не удивляет.

Большие двухмачтовые парусники стоят у причала, раскачиваясь, и почему-то страшно скрипят, а между ними — маленькие турецкие фелюги. Турки — в чалмах или красных фесках. Подумать только — на своих крошечных суденышках, загруженных по самый борт, они пересекают Черное море! Везут ранние помидоры, лимоны. Приезжают они и на заработки, перекапывают виноградники, бьют камень, мостят дороги. Платят им только золотом, бумажных денег они не берут.

ТОМ ТРЕТИЙ

Порт. Он состоит из а) мола, б) грузчиков, которые называются здесь хамалы, и в) Российского Общества Пароходства и Торговли.

Портовый шум сильно отличается от уличных криков, вроде «Чибурик гарачий — и-здэээсь!» (2 копейки штука) или: «Сладкий виноград шашла малага — и-здэээсь!» Тут кричат: «Майна! Вира! Стоп!», носильщики бегут по трапам, комиссионеры, хватая приезжих за рукава, оглушительно выкрикивают названия своих гостиниц, шипит пар, громыхают вагонетки, которые грузчики катят по рельсам, в пакгаузы, пароходы, отшвартовываясь от мола, издают невероятный, зверски-угрожающий рев.

Хамалы очень живописны. Среди них почему-то много персов или азербайджанцев. На спинах у них подушки, обшитые кожей, как у волжских грузчиков, на которых они удивительно непохожи. Те ходят вразвалочку, эти — бегают. Те разговаривают неторопливо. Эти — взрывают-

ся, вращают глазами, и все время кажется, что они так и рвутся зарезать друг друга.

В этом шуме, беготне, суматохе почти невозможно представить себе, что в двух шагах отсюда идет ленивая, респектабельная курортная жизнь.

Не хватит ли? Я ничего не рассказала Вам о прелестном маленьком театре Новикова, в котором я видела братьев Адельгейм («Кин» и «Трильби»), о курзале с хорошей библиотекой, о каштанах, которые пекут возле сквера на набережной в круглых печах, и, наконец, о брандмейстере бароне Меллере, который разъезжает по городу на собственном красном автомобиле.

Жизнь здесь дорогая, особенно во время сезона. Сейчас сезон не начался еще. Я плачу за комнату, обед и ужин 35 рублей, и это еще очень и очень дешево считается. Если не достану еще уроков, придется удирать, потому что потом будет все дороже и дороже.

При всем том я вижу, что так и не рассказала Вам о Ялте, о нежно-цветущей глицинии, гроздьями которой увиты многие балконы и веранды, о красновато-сиреневых иудиных деревьях в цвету, о густых фиолетовых тенях от кипарисов, о стенах из тесаного дикого камня, об изящных железных калитках и оградах, за которыми стоят дачи с затейливыми окнами и резными верандами. А воздух, который полон запахом кипарисов и моря!

(Письмо не датировано)

20.IV.1914. Ялта.

Милый друг, я не требую «всесжигающей страсти». Очень вероятно, что я преувеличиваю — нет, не роль, которую Вы играете в моей жизни, а Вас, или, вернее ска-

зать, те черты, которыми Вы отличаетесь от всех моих друзей и знакомых. Это грустно, но я действительно не в силах ни противодействовать своему чувству, ни довольствоваться тем, которое Вы питаете ко мне. Но оставим этот разговор до встречи.

А еще сообщаю Вам, сударь, что Ваша мечта увидеть Крым вполне осуществима. Я говорила с одним местным архитектором о Вас. У него только двое детей — гимназисты четвертого и пятого класса. Если Вы не знаете языка, возьмете латынь и математику. У них дача на самом берегу моря, своя купальня и пляж. Как бы мне хотелось, чтобы Вы приехали! Если, конечно, у Вас нет других, более интересных видов на лето.

Ялта.

На днях еду в Питер и хочу в последний раз написать Вам из Ялты. Такая красота вокруг, а на душе тяжело. Море, поглотив «Титаник» с тремя тысячами жизней, попрежнему красиво. Что можем мы противопоставить жестокости шопенгауэровской «мировой воли», убивающей людей с помощью голода и болезней? Что такое жизнь, и неужели прав Ницше, утверждающий, что «бытие можно оправдать лишь как эстетический феномен»? Думаю, что нет, потому что искусство — это социальное добро, а зло и страдание по самой своей природе не свойственны человеку.

Друг мой, как хочется мне, чтобы Вы приехали в Крым и провели хоть несколько дней со мной! Я знаю, это невозможно: летом Ваша семья не может обойтись без Вашей помощи. Правда? Как это печально.

Может быть, возвращаясь из Питера, я заеду в Ка-

зань между пятым и десятым мая. У меня есть дела в Казани. Будет ли у Вас время повидаться со мной?

(Письмо не датировано)

11.V.1914. Петербург.

Сегодня выезжаю Рыбинск. Пароход «Богатырь» будет Казани шестнадцатого. Стосковалась смертельно.

КАЗАНЬ. 1914

По Воскресенской они прошли до университета и клиник, а потом поехали обедать на пароход, который привез Лизу в Казань.

Трамвайные рельсы были проложены по дамбе, соединявшей Волгу и город, пассажиры, входя в вагон, с грохотом откидывали тяжелые спинки кресел — трамвай на конечной станции не делал круг, как в Петербурге, а ходил только по прямой, туда и назад.

Лавров и Карновский спорили, Лиза прислушалась, и ей вдруг захотелось плакать, хотя ее только что интересовал этот спор.

— Разница между нами заключается в том, что ты не можешь прийти в себя от счастья, что дважды два — четыре, — говорил Карновский, — а я намерен воспользоваться этим знанием, причем сознательно, а не так, как это делали пещерные люди.

Лиза не слышала, что ответил Лавров.

— Позволь, — возразил Карновский, — но тогда получается, что счастье вообще не зависит от знания?

— Нет, зависит, хотя об этом стоило бы, может быть,

пожалеть. Мир представляет собой хаос, — сказал Лавров. — И мы счастливы, когда удается найти в нем эстетическую закономерность.

Трамвай шел теперь по широкой грязной дороге вдоль Волги. Справа, вдоль бесконечных лабазов и складов, тащились, поднимая пыль, тяжело нагруженные телеги. Слева были магазины, пивные, номера с крылечками, с лестницами, украшенные резьбой, над фасадами здесь и там, как крылья маленьких мельниц, были завязаны точеные деревянные банты. «Булыгин и сын», — машинально читала Лиза, — «Номера Восточная Бавария». И без запятой, аршинными буквами: «Пивная лавка распивочно и на вынос».

На пристани была толкотня, из открытых дверей трактира доносилась дребезжащая музыка, грузчики катили по мосткам громадные бочки с селедкой, и студенты заняли столик на другой стороне парохода, где тоже было шумно, потому что поблизости перегружали хлеб с одной баржи на другую. Но все же потише — «и поближе к Волге», — удобно устраиваясь в плетеном кресле, сказал Карновский.

— Пару чайников и пару полотенец, — приказал он официанту. — Будем пить чай по-купечески, до седьмого пота.

— Постой, мы же приехали обедать?

— А потом будем обедать... Вот взгляни, например, на эту беспорядочную массу воды, называемую Волгой. Подул ветер, поднялись волны. Ты был бы счастлив, если бы тебе удалось найти закономерность, которая скрыта в этих движениях?

— Да я и не стал бы ее искать!

— Почему?

— Потому что ими управляет случай.

— Ах, случай! Вот ты и попался, милый друг! От случая — один шаг до Творца, а если существует Творец, стоит ли нам хлопотать о знании? Добрых пятьсот лет человечество стремится освободиться от власти случая, а ведь случай и Творец — две стороны одного явления. Цель культуры — ограничение случая, потому что случай слеп, а у нас есть глаза, которыми мы научились видеть.

«Лавров занят, он не хотел ехать с нами, зачем же Костя уговорил его? — думала Лиза. — Этот обед он устроил, чтобы мы не оставались одни. Ему скучно со мной».

Официант, принесший им чай, сказал, что ветерок к непогоде, и показал на разорванные облака-барашки.

— Задумываться над тем, зачем ты живешь, может только человек, у которого есть для этого время, — говорил Карновский.

— Звериная идея, — возразил Лавров. — Или арцыбашевская, что одно и то же! А по мне, если не размышлять, зачем нам дана жизнь, не стоит и жить.

«У него холодные глаза. Как я раньше этого не замечала? И зубы слишком белые. Он не любит меня».

Лавров волновался, а Карновский говорил уверенно, спокойно, сразу схватывая и обрушиваясь на главный довод, так что все второстепенные, как бы они ни были убедительны, оставались в стороне. Но Лизе нравилось то, что говорил маленький Лавров, с его птичьей грудью, в потрепанной тужурке, которая была наброшена на узкие, как у мальчика, плечи. Определенность Карновского сегодня раздражала ее, хотя прежде она писала ему, что это — как раз то, чего ей самой не хватает.

И она со страхом подумала, что стоит ему сказать два слова, и она вернет билет и останется в Казани.

— Антропоморфизм, Коля, — услышала она его го-

лос. — И наивный антропоморфизм. Ты одной мерой судишь о том, что сделано человеком, и о том, что существует помимо его воли. Часы созданы для того, чтобы не опоздать на лекцию или на свиданье, а ты, глядя на них, думаешь о том, что такое время.

— Освободиться от власти случая? — не слушая его, говорил Лавров. — Но ведь для этого надо прежде всего понять, что такое случай?

— Вот именно. Этим я и собираюсь заняться.

Карновский встал, прошелся, продолжая спорить, и стало видно, какие у него крепкие, немного кривые ноги. И Лиза подумала, что никакой случай, о котором они продолжали спорить, не собьет его с ног.

«Но ведь он — добрый, благородный человек. У него на руках мать, две сестры, брат, а я еще упрекала его за то, что он не манкирует уроками, когда я приезжаю в Казань. Почему же мне чудится в нем какая-то двойственность, точно он что-то скрывает от меня за своей логикой, за холодным задором?»

Логика была даже в густом белокуром ежике, подстриженном волосок к волоску.

— Уйти от власти непреложности, рока? — строго спросил Лавров, и его узкое темное лицо стало грустно-серьезным. — Напрасная надежда. Рок не дремлет, рок только прикрыл глаза. Завтра он их откроет, и мы все окажемся в дураках — и те, кто задумывается над смыслом жизни, и те, кто убежден в том, что самый этот вопрос заложен в человеческой природе.

— А ты думаешь, что стал бы счастливее, если бы тебе удалось заглянуть в будущее? — ответил Карновский. — Не думаю. Что касается меня, если бы дьявол или бог предложил мне этот дар, я бы от него отказался.

«Он нарочно держится так небрежно, спокойно. Ему хочется задеть, унизить меня».

Пообедав, они вернулись в город, поехали в Русскую Швейцарию и долго бродили по большой, пересеченной оврагами роще. Карновский вдруг облапил маленького Лаврова и, хохоча, посадил его на сухой торчавший сук старой березы. Лавров отбивался, тоже хохотал и, наконец, надулся. Его темное лицо потемнело еще больше, длинная прядка волос грустно свалилась на лоб. Ругаясь, он слез с дерева ловко, как кошка, и ушел бы, если бы Карновский не вымолил у него прощения.

«Ему весело. Ему все равно, что мы не виделись полгода. Боже мой, я совсем не знаю его».

Ялта.

Все эти дни я сердилась на Вас и поэтому долго не отвечала на Ваше письмо, а ведь как хотелось! Вот и это письмо я начала давным-давно, но все не посылала.

Дело вот в чем: кто же я в Ваших глазах? Трудно заставить себя не ответить на этот вопрос вместо Вас. Я понимаю, что мой приезд был некстати, но Вы так и должны были сказать со всей прямотой, которую, надеюсь, я заслужила. Как посмели Вы спросить после нашей встречи: «Ну что, теперь прошло Ваше дурное настроение?» Сначала я решила, что это — случайность, или что я неверно истолковала Ваши слова. Но чем больше я думаю, тем меньше сомневаюсь. Точно я невольно коснулась какой-то скрытой стороны Вашей жизни, или Вы намеренно дали мне понять, что я для Вас — такая же, как другие? Но, Костик, не рассчитывайте, что Вам удастся присоединить меня к Вашему «множеству», до кото-

рого мне нет никакого дела. Одно я знаю: *так* мы больше встречаться не будем.

P. S. Мне тоже очень нравится врубелевский «Пан». Значит, Вы думаете, что в нем соединились чувственность и рациональность? Еще бы! В любимом художнике каждый видит себя.

(Письмо не датировано)

Ялта.

Вот сижу я сейчас в своей комнате, стараясь отбросить тяжелые мысли и проникнуться общим впечатлением той красоты, которая окружает меня. И это удается? — спросите Вы. Да, к моему удивлению. Большое окно моей комнаты густо заросло диким виноградом, в комнате — зеленый полумрак, и только по утрам зайчики пробиваются сквозь эту живую гардину. У меня всегда цветы, и сейчас в одной вазе — красные, а в другой — палевые розы.

Писала ли я Вам о даче, где я даю уроки? Это такая прелесть. Она полукруглая, и когда сидишь в гостиной — полная иллюзия, что едешь на большом пароходе: кругом только море, и в окна врывается его беспокойный шум. Из других комнат видна почти вся Ялта, весь амфитеатр города — фиолетовые горы, а у их подножия, вдоль склона — белые, утопающие в зелени дачи.

Да, смертельно хочется писать. Мой двойник, который стоит рядом со мной, когда я смотрю на картины, теперь почти никогда не покидает меня, и я вижу всю эту прелесть его глазами. Впрочем, море я не стала бы писать — и не только потому, что оно слишком красиво. Оно ежеминутно меняется, и останавливать его на холсте — это значит, мне кажется, подменять одно время другим. Ведь у художника свое, особенное время, отличающее его от

фотографа, который может сделать моментальный снимок. Нет, при виде моря мне хочется не писать, а летать. И я даже чувствую — Вы, конечно, иронически улыбаетесь — за плечами большие, легкие крылья. Вы должны увидеть море — рано или поздно!

Вот я пишу Вам сейчас и вновь сомневаюсь: правда ли, что Вы любите мои письма? Может быть, это тоже Ваша «деликатность»? Я боюсь, что Ваша деликатность держит в плену Вашу искренность. В ответ на мои излияния я получаю два-три сухих слова, и это отбивает охоту писать Вам (о чем, кажется, нельзя судить по этому длинному письму). Может быть, мои претензии нетактичны, но понятны. Пишите же!

(Письмо не датировано)

30.VI.14. Ялта.

Так Вы желаете мне «почувствовать жажду жизни»? А почему Вы решили, что у меня ее нет? Из-за моих «настроений»? Да я просто не знаю, как мне и сладить с этой жаждой, которой проникнуто все мое существо! Об этом нетрудно судить — если Вам кажутся неубедительными другие примеры — хотя бы по моей любви к природе. Обыкновенное, ежедневно повторяющееся купанье в море я всякий раз встречаю, как праздник.

Невольно улыбаясь, щурясь и морщась, как старушка, осторожно спускаешься по горячей гальке, от которой больно босым ногам, — и с головой в волны, укачивающие мягко, но сильно! А как хорошо потом раскинуться под солнцем, закрыв голову войлочной шляпой! Жажда жизни! Да у меня ее хоть отбавляй! Плохо только, что я не могу передать ее на холсте, хотя должна признаться, что не удержалась и стала писать — как попало и на чем

попало. Нет времени, я ухожу из дому в восемь утра, возвращаюсь вечером и работаю только час-другой, еще до уроков. Боже мой, как хочется учиться! Ведь мне уже минуло двадцать лет, это много, это убийственно много! Если когда-нибудь появится хоть маленькая возможность — брошу все! Это решено. Я давно поступила бы так, но курсы живописи — частные и дорогие. Между тем у меня совершенно нет средств, и я даже не уверена в том, что мне удастся устроиться в Питере самостоятельно.

Друг мой, Вам не скучны мои длинные письма? Попробуйте вылезти из своего футляра деликатности и написать мне об этом откровенно. Мы непременно, непременно увидимся осенью. Неужели это правда, что Вы скучаете обо мне? Неужели еще помните, как Вы меня называли?

ГЛАВА ВТОРАЯ

21.VIII.14. Ялта.

Вы спрашиваете, как я живу? Как все — от одного выпуска телеграмм до другого! Среди приезжей публики — паника: все бегут по домам. Севастополь — на военном положении. Из-за мобилизации почти нет проезда. Я лишилась половины своих уроков, а скоро, без сомнения, растеряю и все остальные. Для меня эта война как снег на голову, хотя я давно слышала о ее неизбежности. Я ведь плохой политик, проще сказать, ничего не понимаю в политике, особенно внешней. А надо бы!

Милый мой, Вам не грозит участь пойти на войну? Я сегодня видела Вас во сне, грустным, бледным, — и весь

день вспоминаю Вас с чувством тревоги. Напишите мне Ваши взгляды на эту войну. Немецкую буржуазию я никогда не любила, а если говорить о симпатиях беспристрастно — не хотела бы видеть немцев союзниками России. Но неужели нельзя как-нибудь искоренить в человеке инстинкт физического насилия?

Ну, пока всего хорошего, Костик. Целую Вас горячо. Пишите, прошу Вас. Мне так тяжело сейчас и так хочется маленькой радости Ваших писем. Дайте телеграмму, если призовут.

26.VIII.14. Ялта.

Дорогой мой, Вы так долго не писали, что меня, особенно по ночам, стали мучить дурные и печальные сны. Все они исчезли при одном взгляде на адрес, написанный Вашей рукой.

Неужели случится такое несчастье и Вас возьмут на войну? Что же будет с Вашими сестрами и братом? Ведь, кажется, есть закон, по которому нельзя призывать единственного кормильца?

Отец уже на сборном пункте, и хотя он — офицер, мне все-таки кажется нелепым и необъяснимым, что этот добрый, робкий, всю жизнь страдавший от застенчивости человек будет изо всех сил стараться убивать других людей и что для всех нас это стало теперь самым важным делом на свете. Брат собирается идти добровольцем, а тетя, которая еще в русско-японскую войну была сестрой милосердия, на днях уезжает на фронт.

Когда же, наконец, кончится это безумие? Я почему-то уверена, что это — последняя война в Европе. Но как внушить человечеству сознание всей бессмысленности этой зверской расправы? Впрочем, что говорить, если у

нас, при тысячелетней-то культуре, все еще существует смертная казнь!

...Только что прочла в газете, что занятия в Питере начнутся вовремя, студенты освобождены от воинской повинности. Это мало утешает меня. Все зависит от хода войны — и я смертельно боюсь, что Вас возьмут рано или поздно.

Хочу на днях уехать из Ялты. Вся эта блестящая южная феерия меня сейчас раздражает. Да и уроки мои почти все пропали, а содержание здесь дорогое.

Целую Вас горячо, моя радость, мое счастье.

Ваша Лиза

15.IX.14. Ялта.

Еще несколько медлительных дней, и я — в Казани. А неутомимая мечта уже там! Меня и радует и пугает наша встреча. Нет, радует. Я знаю, Вы любите, когда я весела.

26.IX.14. Вагон 357. М.-К. ж. д.

Кто ты? — Кормщик корабля.
Где корабль твой? — Вся земля.
Верный руль твой? — В сердце здесь.
Сине море? — Разум весь.
Пристань? — Сон. Маяк? — Мечта.
Достиженье? — Полнота.
Сладость — сон, а наяву?
— В безоглядности живу!

(Бальмонт)

В эти стихи, которые я, бог знает почему, ежеминутно бормочу, расставшись с Вами на вокзале, неожиданно ворвался следующий диалог между соседкой и мною:

— Ты што, из Мурома будешь?
— Нет.
— Ткели?
— С Волги.
— Врешь, я тя в Муроме видела.
— Пра, нет.
— Ай, врешь! Что, из горнишных будешь?
— Рази видно?
— Да, уж повадка такая.

И т. д.

Пока всего хорошего, моя бесконечная радость.

16.X.14. С.-Петербург.

Костик, почему не пишете? Я жду Ваших писем с нетерпением каждый день, каждый час. Занимаюсь усиленно. Устроилась в старой квартире: Геслеровский, 19, кв. 24. Живу одна, так как Шура, не предполагая, что я приеду, поселилась с другой курсисткой. Уроков нет, не везет. Но я не унываю. Недаром же меня еще в пансионе называли «Лизхен-Неунывай»! Если раздумаете приехать сюда на рождество, не смейте писать мне об этом.

22.X.14. С.-Петербург.

Вы правы, война запутала, связала все и вся и действительно положила на наш век свою тяжелую, позорную печать. Если я считаю эту войну «освободительной», так не для себя. Для меня она отвратительна и безнадежна.

Ваше письмо пришло одновременно с известием о призыве студентов. Я знаю, на Вас не распространяется это предписание. А все-таки сердце падает, когда я развер-

тываю газету с этими страшными, бесконечными списками погибших: «Вечная память, вечная слава».

Без сомнения, Вы уже прочитали в газетах о студенческих манифестациях? Я узнала подробности — и возмущена. Хотя пересаливала лишь небольшая группа, а именно — белоподкладочники, но ведь тень-то упала на все студенчество!

Милый, не беспокойтесь обо мне. Этот месяц я продержусь, а там, может быть, устроюсь. Деньги пока есть. Занимаюсь. Записалась на курсы сестер милосердия, но занятия, вероятно, начнутся не скоро.

Вы спрашиваете, как Шура? Она шлет Вам привет. У нее есть Кузя.

10.XI.14 С.-Петербург.

Время бешено мчится вперед, одни события в беспорядочном вихре сменяют другие. И что за странная вещь человеческая натура! Раньше дух захватывало от этой быстроты, а теперь как будто начинаешь привыкать, и все реже приходит недоумение, охватывает ужас. Жизнь, эта «ставка ва-банк», как сказал футурист Маринетти, идет своим чередом, и разные Игори Северянины пишут в ее оправдание нелепые, но искренние стихи.

За этот приезд я ни разу не была ни в музеях, ни в театрах, но вот не выдержала, отправилась дежурить в Народный дом и несколько дней хожу на удивительно удачные спектакли. Позавчера была на «Богеме» с участием Липковской. Опера мне совершенно не понравилась, ни даже обстановка, несмотря на то, что она была целиком с декорациями взята из «Музыкальной драмы». Зато Липковская одна возместила потерянное время! Но вот вчера я пошла туда же на патриотический концерт

«Искусство — воинам». Был весь питерский свет, все иностранные посланники. Прежде исполняли русский гимн с хором и оркестром, потом Бакланов спел французский гимн — и все это на фоне живых картин. Потом читали лучшие силы драмы, кричали: «Ура бойцам!» — и т. д. Посланники отвечали короткими речами. Публика неистовствовала, особенно галерка, где было до тысячи учащейся молодежи. Но с ума свел меня балет. Танцевали две такие звезды, как Карсавина и Кшесинская, — они бесподобны, и я отказываюсь даже их хвалить, потому что слов не хватит, чтобы передать это великолепие. В Питере публика настроена патриотично, ежедневные сборы, и жертвуют, не скупясь. Вообще, единодушие во всем, и этот водоворот сегодняшних событий захватывает с головой.

В такое время и читать-то ничего не хочется, кроме газет. Но, соскучившись о поэзии, я все-таки прочитала Рабиндраната Тагора «Садовник», «Песнь о Гайавате» в прекрасном переводе Бунина, Анну Ахматову, которая в особенности поразила меня своей свежестью, простотой и глубиной.

На днях, ища уроки, нарвалась на два гнусных предложения, от которых почувствовала тошноту и слабость. Но я знаю, Вы не любите, когда я жалуюсь. Поэтому впредь буду сетовать только на бесконечность нашей разлуки.

За окном идет снег, и, если долго смотреть на эти падающие без конца мягкие снежинки, голова начинает кружиться. А она, бедная, и без того кружится, когда я вспоминаю о Вас. Дело в том, что я совершенно не могу жить без Вас. Не худо бы Вам когда-нибудь об этом догадаться.

20.XI.14.

Ура! Нашла урок — следовательно, остаюсь в Питере и могу продолжать занятия. Двадцать пять целковых, завтрак и обед. Совсем рядом. Мальчик девяти лет, кажется, туповатый. Вчера весь день чувствовала себя счастливой.

Вы спрашиваете о настроении публики в связи с последними политическими событиями? Да, были волнения и однодневные забастовки, но только среди учащейся молодежи, а насчет рабочих я не слышала. Теперь, пожалуй, дело ведется подпольными путями. Может быть, общими усилиями социалисты что-либо и сделают. Но ведь дело-то невероятно серьезное и требует самого обдуманного способа действий. Впрочем, каждая страна мечтает об этом. Разрешить проблемы, породившие эту войну, да и родившиеся с нею, — титанический труд. Вот почему ограничиться во внутренней политике одними проектами было бы непростительным преступлением...

Продолжаю вчерашнее письмо. Невероятно трудно живется! Стыдно за свое бездействие. Вы знаете, о чем я говорю, но ведь нет ни одной свободной минуты! Вот мой день — все, как один: утром — до двух — на курсах, с двух до девяти — на уроке (не я в это время «воспитываю» мальчика, а он меня — такой сорванец!). Вечером прихожу усталая и для отдыха занимаюсь часов до одиннадцати языками. А потом до двух — математика. До политических ли тут интересов?

30.XI.14. Петроград.

Мой дорогой, ради бога сообщите мне немедленно — приедете Вы на рождество или нет? И пожалейте, не напоминайте, что я просила Вас об этом.

3.II.1915. Петроград.

Не серди-и-и-тесь, милый. Клянусь, я не хотела Вас обидеть. У меня были деньги, я решила вернуть старый долг и послала его Вам, не придавая этому никакого значения.

Напишите мне снова. Как вы себя чувствуете, что делаете? Что думаете?

Шура все прикидывала, как бы ей исполнить Ваше поручение, — и в конце концов шепнула мне Ваш привет, когда я спала. Но я очень чутко сплю, и ей пришлось показать мне те строки, в которых Вы пишете обо мне. Спасибо, спасибо! Мы с ней живем в одной квартире, но в разных комнатах. Это — мой самый близкий друг. И представить себе не могу, как жилось бы мне без нее в такое тяжелое время!

14.III.15. Петербург.

Когда не пишется, следует принимать «письмин» — новое средство, которое, говорят, действует в подобных случаях превосходно. Кажется, я впервые отношу это замечание к себе — и мне не помогает «письмин»! Уж не заразилась ли я Вашей дурной привычкой?

Видела Вас сегодня во сне больным и сердящимся на меня — и вот кинулась к перу и бумаге. Серьезно, как Ваше здоровье? Не переутомились ли Вы? О душевном состоянии нетрудно судить. Да чье сердце нынче не болит? Вокруг — неразбериха, и напрасны все усилия выйти из заколдованного круга. Передать всю бессмыслицу происходящего невозможно, да и не охватить ее своим жалким умишком. Жить, конечно, не стоило бы — если бы не искусство!

Еще в феврале я стала посещать воскресные классы

Общества поощрения художников. Занимаюсь я в натурном классе. Техника, конечно, отчаянно хромает, но все же, кажется, делаю успехи. Не смею надеяться (и все же надеюсь), что эти занятия — начало того, о чем я всегда мечтала. Прибавьте к этому кружок, который затеяли товарищи по школе — мы приглашаем на паях натурщика и рисуем два раза в неделю, — и оцените наслаждение, которое доставляют мне эти занятия.

На днях слушала Качалова, который читал «Кошмар» Ивана из «Братьев Карамазовых». Вот когда поняла я всю безвыходность, всю безнадежность России! Я думала, что после этого вечера, когда слились в одно целое два громадных таланта, в зале едва ли осталась хоть единая душа, не затронутая «богом», который мучил Ивана.

Что нового в Казани? У нас еще зима. Много снега, морозы. Старожилы говорят, что не помнят такой поздней зимы в Питере. Шура шлет Вам привет. Кузя у нас бывает очень часто. Кажется, я уже писала Вам, что он — такой же дельный, хозяйственный и розовощекий, как Шура. Глядя на них, так и хочется процитировать Пушкина:

Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

Эта скорлупа, которой я, к сожалению, полностью лишена, надежно защищает их от всех больших и маленьких огорчений. А когда приходится все-таки обороняться, орешек превращается в ежа и выставляет иглы. Свадьба у них весной.

Я знаю, что раньше, чем Вы закончите экзамены, нам

нельзя увидеться, но неужели... Ладно! Увидимся, когда Вы захотите.

Вероятно, я скоро уеду домой, в Пермь, — Питер опротивел мне со своей суматохой, шумом, пестротой, электричеством, рычаньем и рефлекторами моторов, со своей спешкой, остротами и сменой беглых впечатлений. Близится пора белых ночей. Я устала от них, не могу собраться с мыслями, пока светло, и жду, когда можно зажечь лампу, чтобы заниматься. Весенняя опасная пустота! Больше всего самоубийств — в белые ночи. Хочется забраться куда-нибудь в глушь, в медвежий угол, не слышать ничего, не видеть, и хоть выспаться хорошенько. Устала я не от труда, а от борьбы с собственной душой. Не умею я применяться к жизни, все хочется приложить к ней свое, а это «свое», воспитанное в мечтах, слишком хрупко и разлетается на куски при первом же столкновении.

Где Вы будете призываться? Поступите ли в училище или вольноопределяющимся? Если первое — то куда?

Миленький, миленький, пишите скорее, я так скучаю без Вас.

20.V.1915. Петербург.

Я хотела заехать к Вам после Ваших экзаменов, но получила письмо от тети, которая едет из действующей армии в отпуск. Я должна ее увидеть, потому что не хочу обижать моих домашних, которых не видела уже два года. Поживу недолго в Москве, а потом поеду в Симбирск — к Шуре на свадьбу. Хотите ли Вы, чтобы из Симбирска я приехала к Вам? Вы знаете, что значит для меня это свидание, и поэтому прошу, более того, требую прямого, пусть даже и беспощадного, ответа. Милый мой, не

надо играть со мной в кошки-мышки, хотя бы невольно. Я знаю, Вы всегда «прямосердечны». Но Вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое Ваше неясное слово! Я искала эти неясности, неопределенности, и они одни были для меня утешением. Нет — так нет, но тогда уж навсегда и сразу! До Вашего ответа я не стану покупать билет, а это надо делать заблаговременно. Жду.

1.VI.1915. Москва.

Буду в Казани 5-го, в 11.20 утра. Хочу остановиться в номерах, где-нибудь далеко от Вас. Знакомым пока не стоит говорить о моем приезде. Если не можете встретить, оставьте для меня на вокзале письмо до востребования.

6.VI.1915. Утро. Казань.

Как люблю? Ведь об этом я вчера обещала Вам рассказать? Нет, не могу. Когда я поняла, что Вы не приедете на святки, мне показалось, что я не переживу эту одинокую, снежную, морозную зиму. Потом пришла весна, и вот уже июнь, лето, но до самой нашей вчерашней встречи я все еще чувствовала себя погребенной под грудой снега, усталости и желания не думать о Вас, забыть Вас. Вчера все это кончилось, растаяло. Или нет, не растаяло, а отдалилось, притаилось. Я ведь с неестественной отчетливостью помню все, что происходило и происходит теперь между нами, — все *наше*, и мне иногда кажется странным, что это немногое *наше* я должна защищать — от кого же? От Вас. Милый мой, не сердитесь, но почему Вы оледенели — не подберу другого слова, — когда я стала расспрашивать о Вашей маме и сестрах? Вы ре-

шили, что мне захотелось познакомиться с ними? Предположим, что это — так, что же в этом плохого? Мне дорого, меня интересует все, что касается Вас. Кстати, я заговорила об этом потому, что Вы пожаловались на младшего брата, из-за которого Вам пришлось отказаться от одного урока, потому что иначе он не перейдет в пятый класс.

Я знаю, что Вам тяжело, что Вы тянете не только брата, но всю семью, я всегда помню об этом. Но почему Вы так старательно прячете от меня все, что касается Вашего семейства? Ведь я-то рассказываю Вам все о себе и о своих, всякую мелочь. Я не настаиваю ни на чем, упаси боже, но не могу скрыть, что это неравенство огорчает и даже обижает меня.

Мне трудно было заговорить с Вами об этом — поэтому и написала. И еще потому, что обещала рассказать Вам о том, как я люблю. Вот именно так — ничего не скрывая.

23.VII.1915. Пермь.

Сегодня с утра — грозы, одна за другой, молнии широкие и продолжительные, а капли дождя — крупные, как будто кто-то пригоршнями бросает с неба алмазы. Я в детстве верила, что во время грозы, когда небо открывается, можно увидеть бога, и смотрела, смотрела во все глаза. Не увидела. Должно быть, и не увижу.

Сейчас вечер, я зажгла свечу и вот пишу Вам. На душе — светло, а почему — не знаю. Ехала я хорошо. Публики было мало. Познакомилась за сутки до Перми с высоким, тонким застенчивым студентом духовной академии: только что кончил, и его призывают на позиции. Глаза у него светлые, с длинными темными ресницами —

глаза, по которым видно, что он не вернется. Всю ночь мы с ним сидели на палубе, встречая восход, говорили о Чайковском, о поэзии, о себе — очень откровенно, как разговаривают люди, которые уверены, что больше никогда не встретятся. Такой нежной души я и у женщин не встречала.

Математикой я занимаюсь по утрам, с ясной головой и с еще более ясным желанием поскорее отделаться от нее и вернуться к своим холстам. Я начала здесь с портрета брата, но бросила, потому что он и минуты не мог посидеть спокойно. Взялась за натюрморт — горящая свеча в медном подсвечнике возле раскрытой книги. Мне хотелось передать тишину одинокого чтения: красно-желтый язычок пламени на темно-голубом, сумеречном фоне. Ничего не вышло! Надо учиться, а мне хочется в одно прекрасное утро проснуться художницей. Я нетерпелива, беспечна, доверчива, ничего не понимаю в искусстве и, вообще непоправимо, безнадежно тупа...

Была несколько раз в библиотеке и убедилась в том, что хотя Пермь и «медвежий угол», но культурных людей немало. Иногда бегаю к пансионской подруге, которую нашла здесь замужней. Все-таки снова и снова пробую писать, а для развлечения «упражняю» свои силы с братом. После этих упражнений моя сила показывается на свет божий в виде огромных синяков. Как вы живете? Когда думаете отдыхать? Я, может быть, поеду через Казань. Что Вы думаете об этом «может быть»?

15.VIII.1915. Пермь.

Еду на «Князе Игоре». Из Перми он выйдет 17—18-го, каюта 11. Когда будет в Казани — не знаю. Справьтесь по телефону. Оторвитесь хоть на минуту от Вашей мате-

матики и приезжайте на пристань. Пароход будет стоять не меньше часа. Вы ленитесь писать, а мне надо увидеться и поговорить с Вами лично.

23.VIII.1915.

Все к лучшему, не правда ли? Пароход опоздал на шесть часов и только утром ушел из Казани. Вы встречали меня? Я не рискнула искать Вас ночью, в городе, далеко от пристани. Оставалось только сидеть на палубе и стараться не думать — о Вас и о нас. Это было трудно, хотя применялись сильные средства. Я вспоминала, например, только что пройденный курс химии. Увы! Вместо какого-нибудь «ангидрида» мне представлялась наша несостоявшаяся встреча, и я производила над ней качественный и количественный анализы.

Познакомилась на пароходе с товарищем Вашего брата — прапорщиком Медянцевым. Славный мальчик, розовый, с детскими щечками. Везет ратников в Хабаровск — передала с ним привет отцу.

7.IX.15. Петербург.

Карновский противный не пишет! И не надо — у меня и так на душе малиновый звон. (Не думайте, что речь идет о садовой малине. Я предпочитаю лесную.) Если Вы хотите знать, какова она на вкус, — вспомните «Campanella» Листа. Я только что слушала ее в исполнении одного молодого шведа, студента консерватории, который нравится мне тем, что он немного похож на Вас, а я — ему, потому что похожа на его стокгольмскую невесту.

Вы, должно быть, смотрите на эту открытку и думаете: «Хороша Венеция!» Где уж Вам догадаться, что это

не Венеция, а самый настоящий Казанский собор и Мойка рядом, а на Мойке — наши русские Ван Гоги. А немцев мы не боимся, хотя чай пьем «вприглядку». Да-с. Дела-то хороши, да плохи барыши. Ну, полно! Вооружитесь лупой и терпеньем. Писать допускается. Не Ваша.

28.IX.15.

Милый мой, Вы думаете, что над Питером летают цеппелины? Нет. Ни цеппелинов, ни немцев мы пока не боимся. Мы боимся холода и голода. Пути заграждены, навигацию прозевали, запасов в городе нет или почти нет.

Жизнь в Питере стала каторгой, так все дорого. Всякие акулы положительно готовы проглотить даже самого обывателя, а не только содержимое его кармана. Жизнь мчится с головокружительной быстротой — не успеваешь оглянуться, не только остановиться. В этом году я совсем не могу заниматься живописью. По утрам хожу на лекции, оттуда на уроки и только к вечеру возвращаюсь домой. На воскресных классах не бываю, чтобы не мучить себя. Кружок, который мы затеяли весной, распался, потому что на натуру не собрали денег. Если бы Вы знали, Костя! Эх, да что говорить! Невозможность работать мучит меня, становится навязчивым бредом. В своих снах я теперь неизменно пишу — блаженное состояние! Раскрашиваю географические карты — когда-то я славилась этим в пансионе, — и они оживают: высокая стена бирюзового цвета встает передо мной, пронизанная жилками, которые серебрятся на солнце. Это море. Тени, спрятавшиеся в глубоких медно-рыжих складках, медленно ползут наверх. Это горы.

Но и наяву я нередко вспоминаю то радостное чувст-

во, которое испытываешь, работая или даже еще не работая, а выдавливая краски на палитру. Мне всегда казалось, что краски — это особенные, наделенные чудесными свойствами существа, с которыми можно даже и разговаривать, если они этого пожелают. В их названиях мне всегда чудился таинственный смысл: «кость жженая», «мертвая голова». Так вот: я не работаю. Я пишу во сне, в уме, на лекциях, в трамваях. Мгновенье, когда кисть прикасается к холсту, вспоминается мне как блаженство, которого я лишена незаслуженно, несправедливо. Даже моя летняя мазня в Перми, когда я писала бог знает что с темной головой, кажется мне чем-то недооцененным до слез. О слезах я упомянула не случайно. Я теперь часто плачу. Эх, Костик! Если бы Вы знали! Без живописи я не слышу музыки, не понимаю книг. Она нужна мне, как Синяя птица в пьесе Метерлинка нужна внучке, умирающей от желания счастья. Иногда мне кажется, я не могу жить, потому что мне слишком хочется жить.

Как Ваши дела в гимназии? Как Лавров? Завидую, что у Вас есть такой близкий друг. Что своего или нового внесли Вы в преподавание? Я давно собираюсь поговорить с Вами об этом. Сегодня снова не удалось.

19.X.1915.

Мне хочется поделиться с Вами впечатлениями о лекции Бальмонта. Она называлась: «Океания». Я изумилась, когда он вышел на сцену, — он представлялся мне совершенно другим. Маленький, похожий на испанца, рыжий, с длинными усами и остроконечной бородкой. Читает, закинув голову и опустив глаза. В антракте не было других разговоров, кроме как о его манерности, отчужденности, высокомерии. Зато во втором отделении

все было забыто. Не знаю, как это случилось, но мы покорно отправились вслед за ним «из молчаливой России, мимо туманной Англии и улыбающейся Франции», на Самоа, где быстрые летучие сны возникают «Как станы стрекоз, как лепеты скрипки, как трепеты грез» и где смуглые красавицы приветствуют вас: «Талёфа» (это приветствие переводится как «любовь тебе»). Посылаю Вам свой набросок Бальмонта, кажется, верно схвачен. Рисовала в профиль, потому что мест не было, и я сидела на сцене.

Милый мой, жду тебя на рождество. Талёфа! Прощай!

24.IX.15. Петроград.

Заговор

Полюбив меня, помни меня.
Встанет ли солнце, помни меня!
Ляжет ли солнце, помни меня!
Как ты помнишь отца или мать,
Как ты помнишь родимый свой дом.
Днем ли, ночью ли, помни меня.
Если гром загремел — вспомяни,
Если ветер свистит — вспомяни,
Если звонко петух пропоет,
Если слышишь, как время идет,
Если час убегает за час,
И бежит, и ведет свой рассказ,
Если солнце идет за луной,
Всей своей памятью будь со мной!

К этому заговору был приложен рисунок, выполненный графитным карандашом на плотной желтоватой бумаге. Два автопортрета отвернулись друг от друга с разными выражениями: левый — с полуулыбкой, правый —

нахмурившись, но тоже с дрожавшим в губах, затаенным смехом.

Лиза была уже совсем не похожа на институтку в белом переднике, с пелеринкой на плечах. Ее лицо с чуть намеченным провалом щек было полно раскрывшейся женской прелести. Оно прислушивалось. Оно куда-то рвалось. «От Ван Гога, как видите, я отличаюсь тем, что еще не отрезала себе ухо», — небрежно, наискосок, было написано под рисунком.

15.X.15. Петроград.

Знаете, чем я увлекаюсь? Немецким языком, как и Вы. И мне, так же как Вам, хочется вставлять в речь немецкие слова и стихи. Я перевожу сейчас «Вертера» Гёте, потом перейду к Гейне, а потом к Шопенгауэру. Занимаюсь с одним студентом консерватории — Бергом, о котором я Вам писала. Он — швед, впрочем обрусевший. Родители его живут в Симбирске. Он учился в Берлине четыре года и, конечно, прекрасно знает язык. Наши высмеивают меня без конца, доказывая, что все это похоже на «Страдания молодого Бергера», но мы держимся стойко, хотя занимается он со мной от нечего делать.

Миленький мой, все, что происходит со мной, принадлежит Вам. Естественно, что мне хотелось бы узнать о Вас хоть немного больше того, что Вы рассказываете в своих коротких неласковых письмах. Вот если бы усовершенствовали граммофон и сделали дешевле и доступнее передачу голоса на пластинку! Какая чудесная получилась бы почта! Я слушала бы Ваш голос без конца, а ведь как много значит человеческий голос! Без конца заставляла бы я Вас повторять то заветное слово, которое — увы — слышу так редко! Я даже развеселилась,

подумав о том, что вы произносили бы его невольно, не по своему, а по моему желанию.

Между тем веселого мало. От своих я получаю горькие письма. Брат, ушедший добровольцем, пишет: «Неужели зря пошел я голову класть?»

И представить себе не могу, что Вы не приедете на праздники.

24.X.1915. Петроград.

Зверь, изверг, кровопийца, мучитель, палач и т. п. Слов не нахожу! Я умираю от тоски, а он и ухом не ведет! Одно письмо через 32 дня аккуратно. Первое — 11 сентября, второе — 12 октября, а третье — 13 ноября.

Теперь пропустим через цензуру Ваши «если». «Уроки» — можно передать Вашему другу Лаврову. «Утверждение диплома» — Ваше присутствие не обязательно. «Отношение профессора к Вашей работе» — тут я не компетентна. Все «если», связанные с Петроградом (комната и пр.), я беру на себя.

Я получила Ваше письмо с первым снегом, и мне сразу же захотелось смеяться и шалить. Мы с Бергом (он же Ансельм из сказок Гофмана) бродили по улицам, я пела и смеялась, а он удивлялся — чему я так радуюсь. Он не знал, что я получила маленькую надежду на будущее — Ваше письмо.

Да, я понимаю, как интересно заниматься с детьми. Один из моих уроков сейчас — воспитание взрослой девицы (16 лет), еще ничего не пережившей, но зато много и беспорядочно прочитавшей, чуткой и умной. Я очень увлечена этим уроком, отдаю ему много времени и, мне кажется, сама многому научилась, по меньшей мере в психологическом отношении.

Часто бываю у Кауфманов. Помните, я рассказывала Вам об этом семействе. Я люблю его за душевную красоту и внимание друг к другу. У отца — жестяная мастерская, четверо сыновей разделились: двое учатся в университете, на физико-математическом, а двое — наборщики, работают в типографии. Отец и сыновья — громадные, а Розалия Львовна — маленькая. Когда она начинает очень сердиться, кто-нибудь из мужчин осторожно сажает ее на шкаф. Они постоянно всех устраивают — то надо собрать теплые вещи для ссыльных, то помочь больному студенту. Все это делается горячо, с восторгом, с отчаяньем, с возмущением. Она увлекается литературой, в последнее время — Брюсовым, которого декламирует кстати и некстати. Мне тоже нравится Брюсов. Я ценю отточенность его стиля, но часто его стихи кажутся мне надуманными, холодными. Об этой холодности говорит, кстати, и циническая откровенность, чуждая поэзии по самой своей природе. Поэтому «Город женщин» особенно не понравился мне.

Видела сон — Вы в кругу семьи. Старшая сестра усердно чистит самовар и поет: «Ах, тебе досадно! — Нет, мне не досадно!» А младшая держит дверь, чтобы я не вошла. И я улетаю. За плечами у меня крылья, я — над морем, и кто-то приказывает мне опуститься на самую большую волну. Я открыла глаза с чувством счастья — так это был сон?

Впрочем, «я с детства была крылатой». Но прежде это были сны, полные свободы и силы, а теперь мучительные. То я боюсь, что крылья у меня привязанные, чужие. То мне надо непременно увидеть их, а этого нельзя, потому что стоит только оглянуться, и всему конец — захлестнет, утону.

Пишите, миленький. Ваша и Ваша.

Прочла, как Вы пугаете меня экзаменами, и вспомнила остроту из «Сатирикона».

— Сережа вернулся с экзаменов?

— Да.

— Где же он?

— Там, в детской висит.

19. XI. 15. Петроград.

Костя, почему ни слова? Я не знаю даже, получили ли Вы мою фотографию, которую послала Вам в последнем письме? Вы как-то спрашивали меня насчет «страданий молодого Бергера». В ответ расскажу такую историю. Существует на свете некто Саблин, который любит повторять слова Наполеона: «Мир делится на дураков и подлецов». Так вот мой Берг принадлежит к первой категории, а Саблин — ко второй. Они — товарищи. У Берга — сестра, курсистка семнадцати лет. У Саблина — жена и ребенок. Живут они в общей квартире, коммуной. Но эту коммуну надо понимать так: у Берга есть деньги, а у Саблина их нет. Заведует всеми делами, покупками и т. д. Саблин, а платит Берг, которого Саблин за глаза называет «ничтожеством и тряпкой», а в минуты пьяной откровенности еще и «дойной коровой». Более того, пользуясь некоторым чувством Берга к его жене, он готов пустить в ход и это верное средство. И вот чете Саблиных приходит в голову прекрасная мысль: купить на деньги Берга кинематограф. Берг отправляется за деньгами (пять тысяч) в Симбирск, — и тут мы — Шура, Кузя, я и еще человек пять, всё студенты — решаем предотвратить эту новую подлость. Я телеграфировала ему с просьбой не высылать деньги до получения нашего письма. Он немедленно вернулся, пришел ко мне вместе с сестрой, ум-

ной девушкой, которая давно стремится вырвать его из этого грязного дома, — тут уж вся наша компания постаралась протереть ему глаза, весьма красочно изобразив его положение. Он дал нам слово покончить с Саблиным.

Вы читаете это письмо с удивлением, милый Костик? Я знаю, не надо было принимать так близко к сердцу эту историю. Но что мне делать со своей глупой натурой! Ненавижу слабодушие, слабоволие, развинченность. Когда-нибудь нас всех погубят такие вот милые, добродушные Берги.

1. XII. 15. Петроград.

Вы, наверно, заметили, что я совсем перестала упоминать (в своих письмах) о живописи, и, может быть, даже порадовались, что я забыла об этом увлечении. Видит бог, я сделала все, что было в моих силах, чтобы справиться с ним. Я уговаривала себя так дельно, что сама дивилась своей положительности. Во-первых, это дело дорогое, не по карману, и прежде чем оно начнет приносить доход (если это когда-нибудь произойдет), за него надо платить да платить. Во-вторых, что может быть вернее, чем математика, в особенности если занятия ею увенчаются дипломом Бестужевских курсов?

Должно быть, долго еще мучилась бы я, сидя между двумя стульями, если бы не один случай, вдруг заставивший меня решиться. Подошел срок уплаты за очередной семестр, я сидела без денег и уже собралась взять в долг у Кауфманов, которым я и без того должна, когда встретила на Конногвардейском ту симпатичную курсистку, с которой приехала в Петербург и мы еще вместе переноче-

вали в «Обществе защиты женщин». С тех пор мы виделись редко, но всегда дружески, обменивались десятью словами и спешили дальше. Но на сей раз я вдруг выложила ей все свои колебания. И досаду, что прошел еще день, а я не взяла в руки кисть, и страх перед будущим, если я брошу математику, и что математикой я занимаюсь, потому что *так надо*. С чего это я нежданно-негаданно накинулась на полузнакомого человека? Не знаю. Видно, подошла такая минута. И что же? Выслушала меня моя курсистка (ее тоже зовут Лизой), выслушала внимательно, а потом как-то блеснула из-под меховой шапочки глазами: «А вы ее бросьте!» И так она просто сказала, что и мне это вдруг представилось проще простого: взять да и бросить! И потом она сказала, что, если бы у нее была какая-нибудь страсть, она была бы счастлива, будь это хотя бы ужение рыбы. «Страсть сама по себе счастье, и заглушать ее в себе, бороться с ней — что может быть глупее?»

Но дело даже не в ее рассуждениях, к которым я могла бы многое прибавить. Дело в простоте, в легкости, которой мне не хватало. В самом деле: взять да и бросить! И, кстати, за очередной семестр не придется платить. И в долг не брать. Времени будет, боже ты мой, сколько угодно. И о живописи можно будет думать свободно, без угрызений совести, без запрета. Словом, я решила заняться только живописью, как бы это ни было трудно. Решила — и Вы не можете себе представить, как легко стало у меня на душе. Я еще не оставила курсы, на днях сдала три экзамена, хожу на интересный семинар по флуоресценции. Ничто не может помешать мне вернуться. Но я не вернусь. Это значило бы отказаться от себя, похоронить самое дорогое в жизни. Я поняла, что все эти

годы была, в сущности, глубоко несчастна. Все было всегда не на месте в душе, и притворяться перед собой, что никакого выхода нет, больше мне не по силам.

И еще одно. Мой дорогой, Вы знаете, что значит для меня наша близость. Я и среди друзей чувствую себя одинокой. Конечно, живопись не заменит мне Вас, но, может быть, для нее так и нужно, чтобы я была одинока? Но хватит! Пока все это еще только слова, и от меня зависит, чтобы они стали делом. Теперь — практическая сторона. Я поступила в художественную мастерскую. Руководители — Добужинский, Яковлев, Лансере, Кустодиев, Остроумова. Все это «Мир искусства», и это очень хорошо не только потому, что Добужинский, например, очень много говорит моему сердцу, а потому, что такие люди, как он или Лансере, вдумчиво относятся к тем молодым, которые работают в совершенно другой манере. Но мне, разумеется, надо думать сейчас не о манере, не о направлении, а о том, как держать в руке карандаш.

11. XII. 1915.

Я поступила безрассудно — пишете Вы: любовь к живописи я приняла за талант? Но, Костя, как Вас убедить в том, что эта любовь совсем не абстракция, а такая же вещественность, как голод или жажда? Такая же страсть, как опиум, от которой, говорят, нельзя излечиться. Ван Гога свела с ума живопись, это нисколько не удивляет меня. И потом, Костик, почему Вы думаете, что у меня нет никакого таланта? Как раз в разгаре моих колебаний из Москвы приехал Иван Иваныч Реутов, который зашел ко мне по теткиному поручению. Я показала ему свои ри-

сунки, и он сказал, что мне непременно надо учиться живописи. И наконец — не первого же зашедшего с улицы берет в свою мастерскую Добужинский!

Что касается того, что среди женщин мало талантливых живописцев, так ведь и среди математиков мало! Я, например, знаю только одну — Софью Ковалевскую. Однако ведь и она, кажется, променяла свою математику — не на живопись, правда, а на любовь? Моя ли вина, что я не могу жить без того и другого?

Ваше письмо — увы! — напомнило мне нотации, которые я часто выслушивала от начальницы, когда училась в пансионе. Решительно на Вас дурное влияние оказывают Ваши уроки. Вы привыкли учить, учить, учить... Не сердитесь, мой милый.

10. XII. 1915. Петроград.

Ми драго, ми злато! Неужели не приедете? Ложусь и встаю с единственной мыслью — увидеть Вас на праздниках. Мы часто говорим об этом с Шурой: она оставляет комнату в Вашем распоряжении и хочет вернуться за день или два до Вашего отъезда — нарочно, чтобы познакомиться. Приезжайте, мое солнышко! Неужели наше свидание, пусть короткое, может помешать Вашей «цели»? Боже мой, какая это злая и упрямая соперница: отказывается подарить мне хоть день счастья. Вы говорили, что Вам нравятся иллюстрации Соколова к «Мертвым душам». Так вот, я припасла их для Вас. Видите, как я Вас заманиваю!

В мастерской меня заставили начать с азов, и я пришла в ужас. Вы и представить себе не можете, как я беспомощна. То и дело хочется от стыда провалиться сквозь

землю. Я не сплю ночами от усталости, клюю носом на уроках, возвращаюсь домой полуживая и все-таки счастлива. Вам это кажется странным?

20. XII. 15. Петроград.

Я знала ответ и заранее приучила себя к нему, хотя не перестаю терзать себя, думая о нравственном падении, до которого дошла, умоляя Вас о приезде. Поделитесь Вашими новостями. Они и меня немного интересуют. В Питере все по-старому: настроение равнодушно-угнетенное. Погода — восхитительная, солнце, хрустящий снег, мороз. Вы знаете, я чувствительна к этой прелести. Шура шлет привет. Она еще не потеряла надежду познакомиться с Вами.

24. XII. 1915.

Нет, не могу простить. Вы не только сделали мне больно, Вы смертельно оскорбили меня. Я поняла, что Вам ничто не страшно сделать со мной — все перенесет, все стерпит, раба. «Я недостоин Вашей любви», — пишете Вы. Да любили ли Вы? Если да — мне остается только пожалеть Вас. Сколько же было у Вас хлопот с этим не поддающимся взвешиванию и измерению чувством!

Мне нужно «найти себя» — пишете Вы. Кажется, это удалось — с Вашей помощью, за которую я глубоко благодарна. Не лучше ли было преодолеть трусость и прямо ответить мне «нет»? В самом деле, ведь тогда Вы освободились бы от последней обязанности — из вежливости отвечать на мои письма.

Е. Тураева

15. IV. 1916. Петроград.

Вы просите, Костя, забыть нашу ссору? Так это, значит, называется ссорой? Вы пишете: «Простим друг другу». Стало быть, считаете, что не только Вы, но и я виновата? Вам захотелось «вернуть нашу духовную близость», все же для Вас дорогую? Да была ли между нами духовная близость? Я стремилась к ней, это правда, но встречала в ответ только холодные поучения. И как характерно для Вас это «все же».

Так Вас еще интересуют мои дела и здоровье? Последнее — в полном порядке, а что касается «дел», Вам, должно быть, покажется странным, что у такой неделовой особы, как я, они идут превосходно. Я много работала у Добужинского по классу композиции и у Яковлева — по рисунку. Яковлев мало известен широкой публике, потому что лишь недавно вернулся из-за границы (поездку получил после Академии). Он выставлялся в прошлом году в «Мире искусства» и сразу обратил на себя внимание. Добужинский приходит не часто. Он меланхоличен, по-петербургски сдержан, накрахмален, и я его немного боюсь. Замечания его вопросительно-немногословны, но необычайно точны. Кстати, на днях он сказал мне, что я сделала за зиму большие успехи. Так что Ваши мрачные предсказания, представьте себе, не оправдались!

Живу я у своей ученицы Леночки Гориной, о которой я Вам писала. Типичная петербургская семья, по первому впечатлению — холодная, а на деле — сердечная. Алексей Павлович — профессор, читает на восточном факультете, любезный, с красивым, матово-бледным лицом, с большими глазами. Я боялась его, пока на вечеринке, которую

устроила Леночка, он не пригласил меня на мазурку. Мы прошлись под аплодисменты, и с тех пор я его не боюсь. Мать — Гаянэ Давыдовна, армянка, из известного семейства Лазаревых, в прошлом — хорошая пианистка, деятельная, постоянно занята в каких-то общественных комитетах. Сын, Дмитрий, похож на отца, рыжеват, изысканно вежлив и саркастически-равнодушен. Историк, ученик Успенского, занимается Византией, в семье считается звездой. Тоже играет — на виолончели. Вообще музыка у Гориных — в чести, это очень приятно. Леночка в этой атмосфере постоянной занятости и размеренности — воплощение беспечности, неаккуратности и лени. Она способна, умна и может полдня проваляться с книгой в руках на диване. Я приглашена, чтобы заниматься с ней всеми предметами, но занимаюсь я тем, что уговариваю ее заниматься.

Так Вы хотите возобновить нашу переписку? Ну что ж! Мой адрес: Екатерининский канал, 35, квартира 10.

Е. Т.

12. VII. 1916. Териоки.

Милый Костя, откровенно говоря, я не ждала от Вас такого ласкового, искреннего письма. Я тоже хочу Вас увидеть! Может быть, Вы приедете в августе, до начала занятий? Нынче родители моей Леночки предлагали мне поехать с нею по Волге, но я отказалась.

В Ваших дружеских чувствах я никогда не сомневалась, а уж в моих Вас уверять мне не нужно. Так вот, милый друг, что я скажу Вам... Задумалась и забыла. А будто что-то очень важное хотелось сказать... Нет, не могу вспомнить.

Сейчас тихо. Уже около одиннадцати, а я пишу без огня. Через открытое окно сильно пахнет табаком и рожью. И на душе светло и тихо. Вот что! Я должна написать Вам, где я и что со мной. Слушайте же, то есть читайте. Я переутомилась за зиму, хотя устроена была очень хорошо, пила кефир и вообще питалась великолепно. «Слишком много нервных потрясений», — сказал врач и отправил меня на абсолютный покой в Финляндию, в Териоки (но купаться строго запретил, о чем я горюю и все-таки купаюсь). Сняли мы с Леночкой комнату и живем вдвоем очень недурно. Плохо только, что все дорого — курорт. Я живу самостоятельно, веду какую-то статистику коров. Работу эту мне предложил отец Леночки. С нею я, конечно, уже не занимаюсь. Она девушка милая, остроумная, вечно меня смешит, пичкает невероятно, чтобы я потолстела, а когда я купаюсь, вытаскивает меня из воды. Хорошо плескаться, берег песчаный. Но, разумеется, хуже, чем в Ялте, и море, по сравнению с Черным, кажется большой неподвижной лужей. Не удивляйтесь моей орфографии, я так переутомлена, что забываю самые обыкновенные слова, а в музыке потеряла ритм. Это особенно неприятно. Леночкин брат, Дмитрий, о котором я вам, кажется, писала, недурно играет на виолончели, и зимой мы с ним часто устраивали музыкальные вечера. А теперь ничего не получается, потому что я слышу ритм, а следовать ему не могу. Ну вот, опять уклонилась!

Живу я тихо, ни с кем не знакомлюсь. Читаю довольно много. Радуюсь маленьким радостям. Работаю. Вот на днях, например, был счастливый вечер. Как вы думаете, отчего? Увидела на фоне сочно-зеленой поляны ковер с ярко-пестрым рисунком, повешенный на жердь, а за ним, вдалеке, сосны еще догорали в красках заката. Я поду-

мала: «Хорошо жить!» Принялась писать его и решила, что плохо.

Пишите, буду очень ждать.

1. VII. 1916.

Дорогой мой, я хочу рассказать Вам об интересном знакомстве. На этюдах я познакомилась с одним старым художником, умнейшим и интереснейшим человеком. Он высокий, костлявый, ходит быстро, так что даже я не поспеваю за ним на своих длинных ногах, резок, категоричен и одновременно добр и прост, как ребенок. Зовут его Иван Яковлевич Рейнгарт. Когда мы познакомились, он спросил: «Это имя вам ничего не говорит?» А когда я замялась, прибавил: «Не волнуйтесь, мне — тоже». Знает он все и вся и рассказывает великолепно. В живописи, как он серьезно доказывает, главное — нахальство. Уже передвижники, по его мнению, были нахалами, и только поэтому им кое-что удалось. Мирискусники, несмотря на всю их благовоспитанность, тоже нахалы и «своя своих тащи», а что касается разных там «Бубновых валетов» и «Ослиных хвостов», это уже просто громилы и все, как на подбор, огромного роста. «Так что у вас, барышня, ничего не выйдет, — сказал он задумчиво. — Вы корректны, а на арену надо вылезать в некорректном виде».

Узнав, что я занимаюсь у Яковлева, он заметил, что мне это дорого встанет, а когда я пошутила, что плачу в студию только рубль за сеанс, буркнул: «Обойдется дороже». По его мнению, мирискусники уже сыграли роль в свое время, и немалую, а теперь им ничего не остается, как доказывать, что они «не такие». Нужно же что-то отрицать! А чтобы не протянуть ноги, им надо еще и притворяться, что, отрицая, они «вбирают» в себя все новые

направления — отсюда и выставки, на которые они приглашают «левых». «Воображаю, какие чудеса самообладания показывает наш благовоспитаннейший Мстислав Валерианович, когда он имеет дело с этими нахалами», — сказал он о Добужинском. Но среди нахалов много талантливых, например Машков, — и они еще себя покажут.

Очень интересно он говорил о рисунке. «За первое десятилетие XX века художники всего мира старались разучиться рисовать. Матисс был первоклассный рисовальщик, но и он приложил все усилия, чтобы отделаться от своего искусства. С точки зрения публики, он вдруг стал рисовать, как дети. А на деле он учился тому рисунку, который был нужен для его живописных идей».

Я слушала его развесив уши. Ничего похожего никогда не говорил мне Яковлев, который, вместо того чтобы объяснить мою ошибку, поправлял ее, иногда без единого слова.

— Если хотите научиться чему-нибудь, милая барышня, — поезжайте в Париж, — сказал, прощаясь, Рейнгарт. — А здесь вы только одному научитесь — не уметь работать. И математику свою вы, с моей точки зрения, оставили совершенно напрасно. Кстати, она, может быть, пригодилась бы вам и для живописи.

Каково? Вы даже представить себе не можете, милый Костик, тот сумбур, который царит в моей бедной, запутавшейся голове.

19. VIII. 1916. Териоки.

Сегодня море ворчливое и угрюмое, это бывает редко. Утром я сидела на берегу и гадала: если волна обежит задуманный камешек — осенью мы увидимся с Вами. Море долго заставило меня ждать, я почти потеряла на-

дежду. И все же сжалилось в конце концов — лизнуло камешек и ушло. А я рада, рада! Значит, я увижу Вас осенью. Да? Пишите же скорее.

Телефонограмма. 23. VIII. 1916. Казань. Константину Павловичу Карновскому. Просит Вас увидеться необходимо Тураева была телефонограмма. Они остановились у Приклонских, дом Окачурина.

29. VIII. 16. Пароход «Владимир Мономах».

Любимый мой, я думаю только о тебе. Тебе смешно, что к чувству счастья примешивается изумление, но это правда, я не понимаю, что опять случилось со мной? Какое чудо заставило меня мгновенно забыть ту необъятную, черную зиму?

Сегодня утром в мою каюту посадили девочку-горбунью, десяти лет. Она долго молча следила за мной.

— Чему вы улыбаетесь, тетя?

— Счастью, моя душенька.

— А вы знаете много сказок?

— Не очень. Рассказать?

Целый день я рассказывала ей сказки, и все о нас, о тебе. То мы бродили где-то под снегом, то стояли у открытого окна и смотрели на гроздья глициний. Спокойной ночи, мой милый. Завтра допишу. Твоя и твоя. Я много рисовала в дороге. . .

Доброе утро! Вот мы уже подходим к Перми, я ее вижу. Пиши мне. Целую тебя.

10. IX. 16. Пермь.

Числа пятнадцатого еду Казань соскучилась целую.

19. IX. 16. Казань.

Милый мой, а ведь ты был неправ вчера, упрекая меня за Дмитрия. Во-первых, упрекать пока еще не за что, а во-вторых... О, во-вторых, в-третьих и в-четвертых, если бы мне пришло в голову упрекать *тебя*, на это ушли бы все наши божественные дни в Казани. Мне захотелось понравиться Дмитрию из озорства, а может быть, немного от скуки, и, скажу откровенно, я ничуть не жалею об этом. И то сказать — я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием! Мне нравится, что за его столичностью и европейским всезнайством чувствуется чисто русская беспечность и даже бесшабашность. Кроме того, он прекрасно играет на виолончели. На наши музыкальные вечера иногда приходит сам Алексей Павлович, который мне тоже нравится, и даже больше, чем Дмитрий. К сожалению, с ним кокетничать нельзя, потому что Гаянэ Давыдовна очень ревнива. Словом, возвращаю тебе твои неожиданные упреки, тем более что к твоей «теории свободной любви» они совсем не идут.

13. X. 1916. Петроград.

Душа моя, прости за молчание. Вот уже полторы недели, как я в Питере, — и еще не написала тебе. Мой бедненький зяблик, ты, наверно, замерз без своей куртки? Я не писала потому, что приехала в Питер совершенно больной. Простудилась, устала, а настроение прекрасное. Не гордись. Ты знаешь, что значат для меня наши встречи.

Теперь о куртке. Цены — от 14 до 25 рублей. Первые,

конечно, менее изящны. Выбор большой. Так вот, решай. Жду тебя с нетерпением в Питер. Целую твои серые невинные очи.

28. X. 16. Петроград.

Друг мой нежный! Так рада каждой твоей строчке. Вчера была с Розалией Львовной у общих знакомых. Сказала ей, что ты приезжаешь. Теперь ведь скоро, да? Жизнь в Питере течет по-старому. Война почти не чувствуется. Привычны стали плакаты, призывы к пожертвованиям и т. п. И когда в трамвае слышишь, что вот, мол, здесь такая погода, а каково-то в окопах, — делается неловко до слез. Об этом теперь нельзя говорить. Надо молчать или биться головой о стену. В особенности наскучили мне рассуждения снобов. Голос совести тонет в этом претенциозном шуме.

А в воздухе, без сомнения, назревает что-то большое. Искры срываются, и только кажется, что они гаснут в темноте. Были беспорядки на Выборгской, были столкновения солдат с полицией. На Бестужевских — забастовка в знак протеста: 50 матросов отданы под военный суд в Кронштадте за нежелание воевать.

Настроение у меня... Ну, что тебе сказать? Такого невнимания к себе я не запомню. Это осталось с нашей последней встречи. Живу, как живется, и лишь иногда прислушиваюсь к этой подозрительной легкости с тревогой.

Была на днях у врача, и он сказал, что я совсем здорова.

Шура сдает государственные. До скорого свидания. Я еще напишу. Сейчас тороплюсь на почту.

*...Город шел рядом с ней, как во сне, — дождь, мяг*кий стук копыт по деревянной мостовой, дамы под зонтиками, продававшие значки Красного Креста на Садовой, где она снова села в трамвай. Она ехала к Гориным, Леночка ждала ее, и ей захотелось плакать, когда она представила себе этот трехчасовой урок, который на две трети состоял в том, что она уговаривала Леночку заниматься. Теперь рядом был запах мокрых пальто в трамвае, фальшивый разговор о том, «каково-то сейчас нашим солдатам в окопах», — и снова Костя, обещавший ей приехать с первым снегом. Просыпаясь, Лиза прежде всего подходила к окну и смотрела на небо. Снег никогда не пойдет, рождество не наступит, он не приедет...

Она ошиблась. Леночка знала урок, они быстро покончили с математикой и принялись за французский. Пришел Дмитрий в модном, высоко застегивающемся пиджаке, стриженный бобриком, в пенсне, посидел, послушал и сказал, небрежно растягивая слова:

— Лизанька, вы говорили, что интересуетесь византийским искусством? Сегодня Успенский читает лекцию. Хотите поехать со мной?

— В котором часу?

— Половина второго.

Лиза интересовалась византийским искусством, но она условилась встретиться в мастерской с одной мужеподобной девицей, которая хотела показать ей свои рисунки.

— Может быть. Но тогда я должна сперва заехать в мастерскую. Кроме того, мы еще час должны заниматься с Леной.

У обоих были умоляющие лица — у Лены, может быть,

потому, что она торопилась на свидание. Дмитрий еще совсем недавно небрежно поиграл бы пенсне и ушел, а теперь сидел и терпеливо слушал, как сестра, путаясь, спрягает французские глаголы.

Лизе вдруг стало весело. Она еще немного помучила обоих, потом отпустила Лену, удобно уселась в кресло и сказала Дмитрию:

— Ну-с?

Он хотел поцеловать ее, она отстранилась.

— Нет.

— Почему, Лизанька? Ведь вчера...

— Вчера я была влюблена в вас. Вы отлично играли Грига. А сегодня дождь, плохая погода, я поскользнулась на Морской, ушибла колено, и вообще нельзя, потому что сегодня нельзя. Мне нужно в мастерскую, потом к Риккерту или Вольфу. Хотите поехать со мной? А оттуда на лекцию вашего Успенского. Идет?

У Риккерта не нашлось книг, о которых просил Костя, приказчик сказал, что Шевандье можно выписать из Парижа, пришлют месяца через два. Дмитрий убедил ее согласиться.

— А зачем вашему знакомому Дюваль? Он же, кажется, математик?

— Ну и что же? — Я — тоже бывший математик, а вот ведь иду же с вами на лекцию по византийскому искусству?

Они приехали за полчаса, и Лиза, любившая университет, с удовольствием прошлась по длинному коридору, неровно гудящему от разговоров, от смеха, от шагов проходящих студентов. У пятой аудитории, где должен был читать Успенский, уже толпились, ждали.

Семидесятилетний Успенский с круглым лицом и круг-

лой рыжеватой бородкой (Дмитрий сказал, что он похож на всю русскую интеллигенцию сразу) начал не с Византии, а с византологии. Кому передать ее? Найдутся ли среди нового, незнакомого поколения молодые люди, которые примут из его рук это наследие?

Слабый голос окреп, старое лицо разгорелось, и Лиза представила себе Византию — светящиеся бело-восковые овалы вокруг красных язычков свечей, стены храма в теплом блеске мозаик. Тяжелые золотые одежды покачиваются на священниках торжественно и пусто. Везде эмали — фиолетовые, оранжевые, черные, зеленые — и на этих одеждах, и в убранстве икон, с которых глаза святых смотрят пристально и неподвижно.

— Необычайно замедлен ритм истории, — говорил Успенский. — Столетиями пишется золотой фон, заменяя реальное, трехмерное пространство...

Где-то далеко и близко был Дмитрий, смотревший на нее влюбленными глазами, — и на мгновенье ей почему-то стало до слез жалко его.

Он не слушал Успенского. А она слушала — с закрытыми глазами.

— Может быть, это слишком смелое сравнение, — говорил Успенский. — Но Крумбахер писал, что византийское богослужение напоминает ему театральное действо, возносившее душу к небесам и сурово наказывавшее ее, когда она не желала возноситься.

Теперь ее Византия была не только таинственным соединением мерцающих, оплывающих пятен, которые медленно поднимались в темный, тоже мерцающий купол. Теперь ее Византия пела: желтый, как осенняя листва, пел настойчивый желтый цвет, беспокойный красный звучал, как альт, синий — низкий звук виолончели — вторил ему задумчиво и осторожно.

2. XI. 1916. Петроград.

Милый друг, доволен ли ты моей покупкой? Обежала чуть ли не все магазины в Питере — и не нашла коричневой. Есть свитера, но ты ведь хотел с застежками? Не удивляйся, что куртка пахнет керосином, это — предосторожность от моли. Поскольку я, как друг, сочувствую твоим похождениям, советую ее предварительно проморозить. Впрочем, на свете есть, может быть, женщины, которых волнует запах керосина. Я к ним не принадлежу. Книгу Шевандье я выписала для тебя из Парижа.

Ты написал, что приедешь с первым снегом, — и никогда еще так остро не ненавидела я эту затянувшуюся осеннюю слякоть! Неужели на небе царит такая же несправедливость, как на земле, и голос женщины ничто для господа бога?

P. S. Вчера не успела отправить письмо. Сегодня выпал снег. К твоему приезду его будет много.

20. XI. 16. Петроград.

Костенька, милый! Как грустно, что ты отложил свой приезд! И Шура разочарована, она на декабрь уезжает домой. Ты ведь знаешь, как мне хочется вас познакомить. Есть и другая, более важная причина. По-видимому, вскоре я брошу заниматься с Леночкой, придется вновь устраиваться, и по этому поводу мне необходимо посоветоваться с тобой. Ты знаешь, что я давно полюбила ее и всю семью Гориных, так же как они — меня. Я окружена всевозможным вниманием — и все было бы хорошо, если бы у меня появилась хоть маленькая возможность расплатиться за эти заботы. Но это невозможно. Леночка не только не хочет заниматься, но некоторым образом феномен в этом отношении. Сколько раз я отказывалась, те-

ряя терпение. Вчера вновь было объяснение с Гаянэ Давыдовной, и дело чуть не дошло до слез. Она умоляла меня подождать. Не знаю, что делать. Алексея Павловича берегут, с ним о таких вещах не говорят, а Дмитрий только пожимает плечами. Очевидно, надо переломить себя и продолжать занятия. Но... Несносное «но»! Оно касается моего внутреннего, более чем печального, состояния. Единственная путеводная звездочка — твой приезд, но и этим близким будущим я живу как-то безнадежно. Может быть, потому, что в твоих объяснениях мне все чудится какая-то посторонняя, не зависящая от тебя причина.

Энергия моя — как керосиновая лампа, которую я то слишком припускаю, пока она не начинает коптить, то прикручиваю почти до полного замирания. Ничего мне не надо. Разве немного ласки, как наркоза. Доходила — и не раз — до мысли о самоубийстве, да все оттягиваю. Надо подумать. Ну, полно! Я совсем забыла, ведь ты любишь, когда я весела. Напишу лучше о живописи, она одна поддерживает меня...

В мастерской — много интересного, особенно, когда бывает Добужинский (Яковлев вернется в декабре). В последний раз он исправлял композиции. Темы были такие: 1) Бег горя, испуга и отчаяния. 2) Сон без движения. 3) Страшный сон... Я работаю и работала бы еще усерднее, если бы меня не тревожили время от времени беспокойные мысли. Вот одна из них: так ли уж отличается «Мир искусства» от передвижников, которые считаются в нашей студии заклятыми врагами? Конечно, отличается: более тонкое отношение к рисунку, артистичность и, что особенно важно, — открытие таких великанов, как Рокотов и Левицкий. Но ведь оба направления, хотя и в неравной мере, основаны на «рассказе». Я про-

бовала «рассказывать» любимые вещи Добужинского — не только выходит, но одно время было моим любимым занятием. Кстати сказать, подогревает эти кощунственные соображения тот самый маленький сборничек со статьями Аксенова и Аполлинера, о котором я тебе как-то писала.

Читаю Микеланджело и Леонардо. И еще моего любимого, необыкновенного, нежного Чехова — это тоже одна из сторон моей души.

Сегодня идет снег, мне хочется, чтобы он шел и в Казани. Может быть, ты болен, скрываешь это от меня и потому отложил свой приезд? Может быть, и тебе смутно, тоскливо? Я хочу, чтобы ты никогда не забывал, что есть на свете друг, которому дороги все твои радости и печали. И не беда, если этот друг... Снова забыла! Все хорошо.

30. XI. 16. С.-Петербург.

Дорогой мой, никогда я не думала, что придет время, когда мне до зарезу понадобится твоя холодность, твоя трезвость — все, что я так не люблю в тебе и к чему — я это чувствую — ты себя принуждаешь. Не знаю даже, как и назвать то, что происходит со мной... Ты знаешь, сколько сил и упорства отдавала я живописи? Если есть во мне что-нибудь цельное, нетронутое — это любовь к живописи, радовавшая уже и тем, что всегда помогала мне внутренне сосредоточиться, «вернуться к себе». Так вот, я бросила мастерскую и ушла, хотя Добужинский хвалил мои последние работы.

Трудно рассказать в письме, как это случилось. В общем, так. Давно уже я стала мучиться ощущением, что мы где-то «в пригороде», на тихой улице, до которой едва

доносится шум отчаянной схватки между художниками всех направлений. Не раз приходило мне в голову, что главное — там, а в нашей студии, устроенной по образцу «свободных парижских студий», все и происходит «по образцу», а своего, то есть самостоятельного, — мало. Так вот, теперь я убедилась в том, что занималась не живописью, а живописью «по поводу», стало быть, не только не работала до сих пор, а даже еще не приблизилась к работе.

Пишу тебе с темной головой, после трехдневных споров, сумасшедших, начавшихся в доме одного коллекционера, с которым меня познакомил Дмитрий Горин. Он давно звал меня посмотреть это собрание (владелец — некий мануфактурист, подражающий Станиславскому и действительно чем-то на него похожий). Я отговаривалась, может быть инстинктивно. Но вот согласилась — и боже мой, что обрушилось на меня, какой странный, уродливый, сдвинутый, ослепительный мир! Собрание строго современное, состоящее главным образом из бубнововалетцев. Спор начался сразу, потому что я с первой минуты накинулась на рассчитанную наивность, на подражание вывескам в картинах Ларионова и Гончаровой. Перед Татлиным мы с Дмитрием только что не подрались, в особенности когда он стал доказывать, что «угловые и центровые контррельефы» обогатили живопись, потому что «надо искать выход по ту сторону холста». Тут же он сравнил Татлина с византийскими иконописцами, на том основании, что и они разрабатывали живописную поверхность, «не заботясь о сюжете, который повторялся столетиями и не имел для них никакого значения». Я ничего не поняла из всей этой абракадабры, но когда мы вернулись к Гончаровой, передо мной действительно мелькнул «иконописный» угол зрения, хотя я не нашла ничего общего между Татлиным и ею. И не Дмит-

рий с его византийской ученостью помог мне, а одно воспоминание, детское, еще допансионских лет. Я — в церкви, где самый воздух окрашен светом лампад, вечерней зарей, проникающей через полуприкрытые окна. Окрашено все — струящийся дым ладана, мерцающая утварь, странная, женская, золотая одежда священника. «Царские врата» окружены картинами, и другие врата, справа и слева, устроены среди картин. Везде, куда ни взглянешь, картины, иконы. Они — ни для чего, они не могут быть другими. И нужно, чтобы их было много, потому что все вместе они составляют новую, громадную, во всю стену картину. Темно поблескивающие лица, серебряные ризы, оставляющие открытыми лица и руки.

Это чувство детского изумления вспомнилось мне перед картинами Гончаровой. Вспомнилась мне и она сама на московском диспуте «Бубнового валета» — серьезная, стройная, строгая — и ее слова о том, что в искусстве важно не только «что» и «как», но и «зачем». Не «по поводу», а «во имя».

15. XII. 1916. Петербург.

Снег валит хлопьями, а тебя нет как нет. Не надо думать, что я сваливаю на тебя всю вину своей неудачной любви. Если бы ты приехал, ты мог бы остановиться в комнате Шуры, она уехала, и Кузя уезжает на днях. Сегодня я во сне получила телеграмму о твоем приезде.

17. XII. 1916. Петроград.

Сколько долгих ночей провела я, мечтая о нашей встрече, и в ответ два слова, которые, как ножом, полоснули меня по сердцу. «Меня бог любовью наказал», — повторяю я слова Гамсуна. За что? Не знаю...

Зачем лгать перед собой и перед Вами, что я в силах переносить этот «холодный кипяток», это солнце, которое светит и не греет? Вы «любите и не разлюбите»? Так любят игривого котенка.

Не пишите мне больше, это будет лучшим доказательством Вашего доброго ко мне отношения. Все хорошо, ничего не изменилось. Вы улыбаетесь, читая это письмо? Ваша правда, в нем есть нечто смешное.

Пожалуйста, верните мои письма, которые Вам, без сомнения, не нужны.

Е. Тураева

КАРНОВСКИЙ

Константин Павлович вырос в мещанской семье на Большой Проломной улице, в двухэтажном грязном доме, населенном главным образом еврейской беднотой. В дальнем левом углу двора был колодец, а в середине — знаменитая уборная, о которой репортеры неоднократно помещали негодующие заметки в газете «Город Казань».

На полугоре под кремлем был толчок, и почти все обитатели дома торговали на этом толчке старым платьем, обувью, москателью, чем придется — в лавках, в ларях, под белыми зонтиками, вразнос. На ночь они прятали товар в сундуки, запирая на замок, а сундуки обматывали цепями.

Отец Константина Павловича держал «полулавку» со старым железом — и самоварные трубы, рогачи, топоры, лопаты, подковы, обручи на бочки, инструменты долго казались мальчику особенным товаром, без которого уж никак нельзя обойтись.

Толчок загибал в ворота Гостиного двора, и здесь, в стороне, под стеной, старый сумасшедший еврей Попка Именитов, бородатый, в русской рубахе навыпуск, с румяным круглым лицом, строил огромный деревянный велосипед, на котором собирался поехать в обетованные места. Он строил его весело, сияя детскими, навыкате голубыми глазами, и маленький Костя подолгу смотрел, как, напевая, он что-то подтягивал и подкручивал... Колеса, спицы, седло — все было деревянное, к железу он относился с презрением. Костя случайно оказался на толчке, когда работа была закончена. Причесанный, в подпоясанной рубахе, Попка громко прочитал какую-то молитву, сел на велосипед и отправился в свой путь. Велосипед съехал со взгорья и развалился. И с острым, болезненным чувством смотрел Костя, как гогочущие босяки мигом растащили его по частям, как, отойдя в сторону, молча смотрел на них сумасшедший и вдруг упал на землю, обхватив голову руками. Костя помог ему, довел до дому.

Что было для него в этой запомнившейся на всю жизнь истории? Неужели он верил, что придет время, когда старый городской сумасшедший доедет на своем велосипеде до обетованных мест? Нет, конечно нет: в близких дружеских отношениях между Лавровым и Карновским этот «деревянный велосипед» был синонимом независимого от действительности стремления настоять на своем.

Семья была большая, каждая копейка высчитывалась, записывалась. Керосин полагалось расходовать не больше чем по бутылке в неделю, а когда однажды отец застал его читающим в постели при свете огарка, он бросил книгу в печку, а его, полуголого, выгнал на двор зимой.

В доме и полулавке был порядок, по воскресеньям вы-

стаивали в Николо-Гостинодворской церкви полную службу, пост соблюдался строгий, но раза два в месяц отец запивал — и тогда все были виноваты, а больше всех семья и соседи. Соседей он ненавидел. И ничего не переменилось, когда он умер в 1899 году. Напротив, «как при отце» стало мерилом, хотя при отце жили в унижении, в постоянном страхе.

Костя кончил городское четырехклассное училище и поступил в контору мыловаренного завода братьев Крестовниковых, где уже работали два его старших брата. Младший, Петр, бегал в приказчиках, а Леонид сидел в бухгалтерии «на высоком стуле».

Братья жили в Плетенях, рядом с Татарской слободой, у бабушки Матрены Вавиловны, и каждому из них она готовила отдельно. Костя, получавший 15 рублей в месяц, не мог тягаться с Леонидом, а Леонид — с Петром. Так случалось, что Костя ел суп на «Петином мясе», а кашу — на «Лёнином сале».

Здесь было не то, что на Большой Проломной, — зелено, свежо! В отгороженной части двора был маленький сад — две анисовки, пудовка и китайка, куст крыжовника и строчка малины.

Зимой, просыпаясь, Костя слышал, как бабушка в одном платье, повязав голову теплым платком, отгребает снег от калитки, — так начинался день, который он проводил в конторе завода, записывая в расчетную книгу заработки рабочих за две недели. Кончался день чтением — он увлекся им еще в приходском училище. Он читал, а бабушка, грея спину у печки, жаловалась, что легкие у нее в «бураке» оторвались и болтаются.

Она была маленькая, сухонькая. Одним словом она умела так окрестить человека, что прозвище оставалось за ним на всю жизнь. «Королева Мопс» — назвала она

одну толстую величественную торговку овощами, и все Плетени стали называть торговку Королевой Мопс.

25. XII. 1916. Симбирск.

Дорогая Лизочка, я, конечно, давно поняла, что ты — с фантазиями, но все-таки не представляла себе, что эти фантазии могут завести тебя так далеко. Сколько раз я тебе говорила, что нет на свете того Карновского, которому ты пишешь свои сумасбродные письма. Понимаешь ли, нет! Ты его придумала, наградила бог знает чем — и умом необыкновенным и какой-то особенной душевной тонкостью и красотой, а потом без памяти влюбилась в свое создание. Между тем он — заурядный, самовлюбленный эгоист с наклонностями вампира, и только. И из-за него ты хвораешь, ходишь с распухшей физиономией, пьешь бром? Этот бром меня особенно взбесил, так что Кузя уже приготовил для меня смирительную рубашку!

И чепуху ты несешь о его загадочной двойственности. Никакой двойственности у него нет и следа. Он — человек практический и холодный. Вот такие-то холодные — и мастера доводить женщин до безумия, это известно. И вся его теория о свободной любви придумана для единственной цели — не жениться, чтобы никто не помешал ему наслаждаться жизнью. Я тебе голову даю на отсечение, что он не поехал в Питер, потому что в Казани у него другая и ему не хотелось на святках с ней расставаться.

Насчет же того, что все это у него «здание, придуманное головой, а не сердцем», и что в один прекрасный день оно «рухнет», — красиво, Лизочка, но туманно, туманно! Почему рухнет? Ничего не рухнет! И белиберду ты пишешь, что он «способен на неожиданный шаг». Как же,

дожидайся! У него эти неожиданные шаги заранее рассчитаны с точностью до одного вершка.

И потом, ты меня извини, но это положительно не укладывается в сознание. Ты пишешь: «Я давно и непоправимо оскорблена не Карновским, а собой, своими жалкими попытками удержать его». Просто уму непостижимо! Да кто же тебе велит оскорблять себя? Свет клином, что ли, сошелся на твоем Карновском? Порвала с ним — и слава богу. И выкинь его из головы, я тебя умоляю. И не сердись на меня за прямоту, иначе не умею.

Теперь насчет Дмитрия. Я его знаю мало, ты соблаговолила только два раза мне его показать. Но и этого вполне достаточно, чобы сказать, что он тебя любит. И не только любит, а предан всей душой. И ты в него влюблена, пожалуйста, не удивляйся! Иначе, чем в Карновского, но влюблена, влюблена! Между вами — сужу по твоим же разговорам — подлинная, а не придуманная душевная близость. Ты о нем рассказывала с восторгом.

У меня от него беглые впечатления, но он мне очень понравился, очень. Скромный, прекрасно воспитанный, внимательный и не лезет со своей ученостью, а все объясняет спокойно и просто. Интересы у вас общие, ты сама говорила, что знакомство с ним помогает тебе в понимании искусства, Византии и пр. Я, как ты знаешь, плохо разбираюсь в этих вещах, но раз уж ты сделала глупость и бросила математику, так именно Дмитрий поможет тебе выбраться в люди.

Конечно, весьма вероятно, что ты и в замужестве не перестанешь дурить. Так и дури себе на здоровье! Ему не разрешай, а сама дури, раз уж у тебя такой характер. Но вообще — решай, Лизочка. Ты уже не девочка, вспо-

мни! Решайся, пока он, как Подколесин, не выпрыгнул из окошка.

Целую тебя. Пиши. Твоя Шура.

Вчера гадала на тебя, и вышел бубновый король на сердце — прекрасная примета.

Мать ходила поджав губы, старший брат поссорился с ним — и все-таки Костя настоял на своем. Частный поверенный Фомин, у которого он стал работать, взяв расчет на заводе, предложил ему стол, квартиру и десять рублей в месяц на оплату учителей. Костя решил сдать экстерном за пять классов гимназии.

На толчке, на Большой Проломной, в семье, на заводе жизнь была неприкрытой, грубо-откровенной, прямой. Теперь она обернулась к нему другой стороной — прибранной, фальшиво-красноречивой. С утра до вечера он занимался тем, что помогал Фомину придать ей вид приличия, благопристойности, соответствия закону. Он научился различать лжесвидетелей по рангам, соответствующим оплате, — профессиональных и нанятых на случай. Взятки брали почти все, начиная с председателя судебной палаты, но были начальственные лица, которые отказывались брать прямо в руки, а только через родных или знакомых.

Когда выяснилось, что адвокат — запойный пьяница, и не тихий, а блажно́й, сочиняющий драму, Костя понял, что ничего не будет — ни подготовки в гимназию, ни самой гимназии, ни университета, о котором он осмеливался мечтать. Вдруг слетали со стола все прошения, жалобы и акты, посетители напрасно стучались в квартиру. Лександра, старший брат Фомина, отвечал, что «их высокоблагородие господин коллежский секретарь в отъезде»,

а господин коллежский секретарь в кальсонах и туфлях на босу ногу, маленький, вдохновенный, с картофельным носом и шлепающими губами, ходил из угла в угол и диктовал Косте драму «В золотой паутине Москвы».

Она начиналась с бесконечного разговора между дворником и кухаркой по поводу хозяйки Амалии Карловны, у которой провел ночь некий владелец мебельного и зеркального магазина.

Дальше дело не шло, с каждым новым запоем автор возвращался к началу, хотя и говорил, что, если бы ему удалось окончить пьесу, она имела бы адский успех.

Запой кончался, работа возобновлялась — и не по три-четыре часа в день, как было условлено, а с утра до вечера. О десяти рублях, обещанных на подготовку в гимназию, не было и речи.

...Мало было стать необходимым — это-то ему легко удалось! Костя свободно печатал на пишущей машинке. Еще в городском училище он научился мастерски владеть любыми шрифтами, начиная с полуустава шестнадцатого века. «Прошения, на высочайшее имя приносимые», писались от руки на дорогой веленевой бумаге, и чем изысканнее был шрифт, тем надежнее было положительное решение.

Надо было все переделать в этом грязном распавшемся доме, стать его хозяином, взять его в свои руки.

Так началась дуэль между шестнадцатилетним мальчиком и опустившимся, спившимся, но ловким дельцом, который не только знал жизнь, но был принадлежностью этой грязной, продажной, бесчеловечной жизни. Записывать под диктовку его драму Костя вдруг отказался — и Фомин только горько усмехнулся, но промолчал, стерпел. В дни запоя адвокат требовал, чтобы лампа-молния, висевшая в их общей комнате, горела особенно ярко, —

Костя, ложась спать, стал прикручивать ее. Сошло и это. Он стал молчалив, после четырех-пяти часов работы уходил из дому без разрешения, с учебником в руках, куда-нибудь в Державинский садик.

Наконец, когда очередной загул был в разгаре, произошло то, что окончательно определило их отношения.

Это было ночью. Костя только что прикрутил до полутемноты лампу-молнию и собрался уснуть, сунув под подушку книгу, когда адвокат вошел, почему-то в одной длинной ночной рубашке. Он держал веревку в дрожащих руках.

Костя прикрыл глаза. Это была, конечно, комедия. Фомин часто грозил, что он повесится, и Костя на всякий случай держал под матрацем нож, чтобы перерезать веревку. И теперь он был почти уверен, что Фомин либо знает, что Костя еще не уснул, либо нарочно старается его разбудить.

С грохотом толкнул он табурет к стене, в которую был вделан крюк, оставшийся от висевшего когда-то здесь канделябра. Он укрепил веревку на крючке, сделал петлю. Лампа мигала, и он подкрутил фитиль, чтобы озарить сцену более ярким светом. Потом решительно, хотя и с дрогнувшей челюстью, полез на табурет и накинул петлю на шею.

Костя широко открыл глаза, и они встретились взглядами. Это была минута, когда он понял, что все останется по-прежнему, если он вскочит, станет кричать, уговаривать... Он не пошевелил и пальцем. Молча смотрел он на Фомина, который стоял на табурете с петлей на шее и, казалось, вот-вот оттолкнет его тощей голой ногой. Наконец, пробормотав: «А, черт!», он снял петлю, хватил полстакана водки и завалился спать.

Все переменилось на другой день. Баба, нанятая Ко-

стей, мыла и прибирала квартиру, а он искал и находил водку в шкафах, в голландских печках, в пальто, висевших на вешалке, в старой рухляди на антресолях. Он выливал ее в уборную, а Лександра ходил за ним и умолял оставить для него хоть пару бутылочек тайно от брата. Сам Фомин, тихий, виноватый, сидел в столовой, раскладывая пасьянс «Наполеон» и напевая приятным, негромким баритоном:

Я вновь пред тобою стою, очарован,
И в ясные очи гляжу...

Лександру, который был превосходным шорником, специалистом по лакировке карет, побывавшим даже в Америке, на первых автомобильных заводах, Костя устроил на работу. До тех пор он с утра до вечера спал в кухне на печке да бегал для брата за водкой. По совету бабушки Матрены Вавиловны была нанята приличная женщина для ведения хозяйства.

5. I. 1917.

Шурочка, ты неправа, Карновский сложнее, чем тебе кажется. Своего решения — не связывать себя — он никогда от меня не скрывал. Его независимость — выстраданная (не то что моя, хотя и моя досталась не даром). Понятно, что он ею дорожит, иначе и быть не может. Я твердо решила покончить с нашими отношениями, я возвращаю ему письма, не распечатывая, и все же в глубине души сознаю, что он не виноват. Ни в своей холодности, ни в безумии, которое охватывает меня при одном его появлении. Но довольно о нем. Все хорошо.

Итак, ты думаешь, что я влюблена в Дмитрия? Если бы! О нашей душевной близости нечего и говорить! Мы понимаем друг друга с полуслова. Я не знаю, кто сделал для меня больше, чем он. У него оригинальный

вкус, в живописи он умеет отличать подлинную новизну от показной, внешней. Ум у него гибкий, свободный — и если я с ним иногда скучаю, в этом виновата я, а не он. Он хочет, чтобы я стала его женой, и не раз говорил со мной об этом. Я просила подождать — и он, разумеется, согласился.

Бром я уже не пью, но чувство опустошенности осталось, оно не мешает мне работать — теперь уже не в мастерской, а у Гориных, которые устроили мне настоящую студию в своей двухэтажной квартире.

Снова стала заниматься с Леночкой, которая, кажется, взялась наконец за ум.

Из дому — грустные вести. Умерла любимая сестренка Машенька, моя крестница, ей не было еще и пяти лет. Отец ранен, лежит в госпитале. Его отправят в тыл, еще не знаю куда. Жду телеграмму. Брат Саша по-прежнему на передовых, изверился, измучился. Темное, тяжкое время! Целую тебя. Пиши.

Твоя Лиза

Образ жизни установился теперь в новом виде, вполне подходящем для Кости: для адвоката он работал только до обеда, а все остальное время готовился к экзаменам за пять классов гимназии.

Вот тогда-то и начался тот отсчет времени, о котором впоследствии писала ему Лиза. Как будто в нем самом были спрятаны часы, которые — тик-так — не позволяли ему потерять и минуту напрасно. Ему казалось, что он продолжает заниматься даже во сне, бессознательно спрягая французские глаголы. Впрочем, он почти не спал.

В мае 1907 года он был принят в шестой класс Третьей гимназии. В шестой класс! Третьей гимназии! Третья

гимназия всегда особенно нравилась ему, может быть, потому, что стояла в стороне от шумных улиц, в большом старом саду.

Ему было тогда восемнадцать лет, и первое время он чувствовал себя неловко среди подростков. Потом привык — и все стало вровень. Он знал больше, чем они, и стал помогать, не подсказывая, а занимаясь с ними в свободное время.

Так началось преподавание, которое сразу же поставило его на ноги. Он мог теперь уйти от «коллежского секретаря» с его запоями, бракоразводными процессами и пьесой «В золотой паутине Москвы». Он переехал на Госпитальную, где жила мать с сестрами и маленьким братом. Он кончил гимназию, поступил в университет, и скоро в городе узнали, что для подготовки на аттестат зрелости нет лучшего преподавателя, чем Карновский...

5. I. 1917.

Костя, я получила письмо от Лаврова. Он просит, чтобы я помирилась с Вами, что Вы в отчаянии, и очень расхваливает Ваш математический талант, которого по моей вине может лишиться наука. Это было бы, конечно, просто катастрофой! Надеюсь, что Вы не продиктовали ему это письмо? Он пишет, что Вы не в силах вообразить свою жизнь без дружеской близости между нами. Попытайтесь! Ведь у Вас сильная воля. Но если Вам так уж важно писать мне — пишите. Не посетуйте, однако, если я буду редко отвечать на письма. Я очень занята. Всего хорошего.

Е. Т.

Семью он тянул, и это было трудно, потому что дом вела мать, строгая, с мещанской враждой к «чужим», замучившая старшую сестру, так и не вышедшую замуж, и не пускавшая на порог жену старшего брата. Дети называли ее на «вы». «Как при отце» еще существовало. Но Костя, устраивающий жизнь по собственному разумению, был как бы вне этой атмосферы.

Он все держал в своих небольших крепких руках, и когда началась война, в его жизни почти ничего не изменилось. В армию его не взяли по близорукости, потом, в 15-м году, когда ему осталось только сдать государственные, все-таки чуть не взяли — его год давно уже был под ружьем. Но на него смотрели в университете как на будущего Лобачевского, ректор хлопотал о нем перед министром народного просвещения, и ему продлили отсрочку.

...Когда на гимназическом балу в Перми, куда пригласили его родители Лаврова, он увидел Лизу впервые — что-то розовое, белое, с широко расставленными то зелеными, то серыми глазами, — он не придал этой встрече никакого значения. Больше всего она была похожа на ее же собственный подкрахмаленный передник. Но она была и строгой, и грациозной, и смелой.

Первое слово, которое Константин Павлович прочитал, было «нозепарт» — название табачной фирмы «Трапезон»: он прочитал его справа налево. Вот так же — справа налево — читалась жизнь, когда он виделся с Лизой. Вдруг его охватывало неудержимое желание рвануться куда-то в сторону от своего рассчитанного по часам и минутам существования. Он не узнавал себя в редкие дни этих встреч. В свете ее изящества, искренности, беспечности он начинал чувствовать опасную легкость, опасное соседство какой-то непреложной истины, которая была сильнее всей его математики и не требо-

вала никаких доказательств. Вдруг пропадала утомительная необходимость постоянно, неустанно заботиться о своей «гамсуновской» свободе. Гамсун был тогда его богом. Все перестраивалось, все летело — и как-то косо, отвесно летело...

И вдруг его охватывал страх. Расставаясь с Лизой, он начинал чувствовать себя не принадлежащим самому себе. Казань, семья, университет, наука, весь тот порядок вещей, который он устраивал годами, раскачивался, как во время землетрясения. Именно в эти дни он писал Лизе особенно холодные, сдержанные письма.

10.I.17.Петроград.

Ты мог бы не возвращаться к тому, что произошло между нами. Я верю тебе и — зачем притворяться — скучаю без нашей прежней, разумеется, дружеской близости. Но встречаться нам не надо, не надо. Ничего не вернется. Да и зачем?

Л. Т.

*Город был переполнен беженцами, каждый день при*бывали раненые, началась эпидемия оспы и скарлатины. Лавров и Карновский работали в студенческих санитарных дружинах, в комитетах помощи беженцам — и оба испытывали странное чувство выхолощенности, никуда не ведущего разбега, когда все, кажется, приведено в движение и с роковой неизбежностью проваливается в пустоту.

Газеты свирепо язвили мародеров, негодовали по поводу «мартышек»-комиссионеров, среди которых появились — это было новостью — молодые изящные дамы, жаловались на дороговизну. Устраивались сборы — «Солдату к рождеству», «Белый цветок», «Фургон-

ный» — в пользу беженцев. «Георгиевскому кавалеру». Университетский праздник. Девятое ноября, когда, прошатавшись по городу целый день безобразной толпой, студенты пьянствовали в популярном «Чигорине», а выходя, катали по Рыбнорядской пустые бочки, был отменен в этом году. Тем не менее Карновский провел этот вечер с Лавровым в том же «Чигорине». Они никогда не говорили о женщинах — это было молчаливое, строго соблюдавшееся условие. Но Карновский чуть было не заговорил — и, когда Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, горько пожалел, что не заговорил!

Это была не только усталость, хотя и усталость, подкрадываясь незаметно, подчас укладывала его в постель с мучительной головной болью. Отсчет времени, стучавший чуть слышно, вдруг начинал бить, как колокол, от которого хотелось убежать, притаиться, не слышать. Он был основан на другом, всепроникающем, охватывающем всю жизнь отсчете.

Деньги! Еще в детстве для него в деньгах было что-то загадочное. Тогда, случалось, он с изумлением рассматривал двугривенный, размышляя о том, каким образом он превращается в керосин, хлеб, водку. Теперь он, как перед стеной, останавливался перед мыслью, что завтра деньги заставят его делать то, что он делал вчера. Кроме женской гимназии он вел две группы девушек, которые весной должны были держать на аттестат зрелости, и давал уроки по математике и латыни в богатой татарской семье.

20.I.1917. Петроград.

Нет, ни о чем не жалею. Да ведь и то сказать, мы расстались не с пустыми руками. Ты ушел в науку, я — в живопись. Еще в прошлом году Дмитрий подарил мне

книгу Шарля Диля о Византии — и я не могла оторваться от нее, рассматривая эти широко открытые глаза, эти танцующие фигуры, эти дивные, как бы неловкие позы, эти ломающиеся складки одежды на длинных телах.

Осенью мы с Дмитрием были на лекции академика Успенского, знаменитого византиниста, и тогда передо мной впервые мелькнул тот «иконописный» угол зрения, который, может быть, поможет мне наметить (хотя бы в воображении) свой, особый путь в живописи. Ты незнаком с работами Ларионова, Гончаровой, бубновалетцев, и мне трудно объяснить тебе, в чем заключается этот путь, хотя Дмитрий, которому я показала свое письмо, любезно согласился приложить к нему небольшое эссе, посвященное новейшей живописи. Я поблагодарила и — не посетуй — отказалась. Он очень занят.

Так ты просишь университет дать тебе командировку в Питер? Ну что ж, приезжай. Кстати и повидаемся, если найдется время.

Е. Т.

Никому, ни при каких обстоятельствах Карновский не признался бы в своем душевном разладе. Только от Лаврова — и это было счастьем — он ничего не скрывал. Но Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, и Карновский не мог ему рассказать, что он первый послал Лизе письмо (после их новой ссоры) и что это письмо вернулось нераспечатанным, вложенным в конверт, надписанный незнакомой рукой. Он долго вертел в руках этот конверт, не веря глазам.

Они ссорились часто, Лиза не раз жаловалась, что в ответ на ее письма он окатывает ее «ведром холодной воды, да еще с сосульками». В прошлом декабре, когда

он посоветовал ей «найти себя», переписка прекратилась. Но стоило ему через два-три месяца послать ей несколько ласковых слов — и все началось сначала.

Не распечатать его письмо? Вернуть его без единого слова?

Он решил, что это ошибка. Он написал ей вновь, обдумывая каждую фразу. Он мягко выговаривал за долгое молчание. Он просил объяснить очевидное недоразумение. Старания пропали даром. И это письмо вернулось в Казань, небрежно сложенное пополам в конверте, на котором было размашисто написано на этот раз Лизиной рукой: «Его высокородию Константину Павловичу Карновскому».

Карновский готовился к государственным, не оставляя преподавания и уроков. Изматываясь, он сохранял всю видимость сдержанности, подтянутости, вежливости.

...В самом воздухе было разлито неуверенное, еще беспомощное стремление прочитать жизнь справа налево. Угроза срыва чувствовалась во всем — и, может быть, больше всего в упорном стремлении сохранить существующий порядок вещей. Дамы-патронессы из профессорских жен по-прежнему продавали в университетском буфете бутерброды с колбасой, в которой было теперь больше картошки, чем мяса, студенты-белоподкладочники по-прежнему занимали дам, красуясь мундирами, точно взятыми напрокат из театрального гардероба. Встречаясь с Константином Павловичем в гимназии, девочки ныряли в глубоком книксене — точно так же они ныряли, без сомнения, при Александре Втором.

Лавров вернулся. Карновский попросил его написать Лизе и, наконец, получил от нее иронический, почти оскорбительный ответ.

Но не ирония, не обидное предположение, что он про-

диктовал свое письмо Лаврову, задели его. Он почувствовал в ее ответе чье-то влияние, чью-то направляющую твердую руку. Кто-то был рядом с ней, кто-то внушил ей — быть может, непроизвольно — это равнодушие, эту трезвость!

Карновский не только никогда не испытывал чувства ревности, но с презрением относился к тем, кто страдал от этого чувства. Из его «теории свободной любви», о которой он полушутливо-полусерьезно писал и рассказывал Лизе, ревность, как «явление зоологическое», исключалась. Совместная жизнь, если в ней возникала потребность, понималась как «свобода вдвоем». Он шутил, что когда-нибудь на его могиле благодарное человечество воздвигнет памятник с надписью: «За сознательное отношение к любви». Теперь эта сознательность, столь же определенная, как прежде, почему-то перестала ему помогать. «Чувство любви никакому рациональному контролю не подлежит и не нуждается в оправдании», — когда-то написал он Лизе. Теперь она могла вернуть ему эту мысль.

Были дни, когда ему казалось, что она легко, почти без усилий, забыта. Были дни, когда в его напряженной, рассчитанной по минутам жизни не оставалось места для Лизы. Были дни, когда ему удавалось переломить себя, приказать себе не думать о ней. Но неизменно она вновь возникала в сознании, и рядом с ней — смутная петербургская мужская фигура, в длинном модном пиджаке, почему-то с моноклем в глазу, хотя Лиза никогда не писала, что Дмитрий носит монокль.

Конечно, это был он, он! В последнем письме она упоминала о нем едва ли не в каждой строчке! Она нарочно обидела его, предложив, чтобы Дмитрий послал ему небольшое «эссе» по вопросам искусства. Еще в сентябре,

после их последнего свидания в Казани, она откровенно призналась, что «ей захотелось понравиться Дмитрию, из любопытства, а может быть, немного от скуки». И потом: «Я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием».

Когда Карновский работал в санитарной дружине, ему случалось слышать жалобы на сильную боль в отрезанной руке или ноге. Сравнение поразило его своей подлинностью. То, что он испытывал теперь, относилось к отрезанной, ушедшей в прошлое полосе его жизни. Но именно против этого-то и восставала его «не подлежащая рациональному контролю» душа. Каждый день, ложась в постель, он с изумлением, с досадой, почти с бешенством думал о том, что происходит или уже произошло в Петрограде.

И еще одно: он редко виделся с Лизой, но у него всегда было ощущение, что она где-то рядом, почти под рукой. Теперь она отдалилась, ушла в затененное, отгороженное от него пространство, точно обвела себя магическим кругом. И к ревности (он больше не обманывал себя) присоединилось ощущение пустоты, холода, бессмысленного мельканья связанных с ним людей и обстоятельств.

То, что он поедет в Петроград, он решил сразу же после ее первого письма, в котором она была так поразительно на себя непохожа. К тому времени, когда он получил второе и третье, поездка была почти подготовлена. Он убедил профессора Маврина, предложившего ему остаться при университете, поговорить с ректором о командировке. Повод был тщательно обдуман — на кафедре математики Петроградского университета в теории функций действительного переменного были достигнуты любопытнейшие результаты.

17.I.1917. Петроград.

Carissime![1]

Первым долгом посылаю тебе мое благословение. Будь прилежен, почитай родителей и наставников, ведущих нас к познанию блага, и усердно трудись над своей «эстетической топологией», в коей ты, надеюсь, после моего внезапного исчезновения, сделал большие успехи.

Не скрою, что в Питере мне более всего не хватает именно тебя. Ты уж, конечно, лег бы под колеса моего «деревянного велосипеда», на котором я лечу с неслыханной быстротой в неизвестном направлении.

Мой милый стоик, история не так уж сложна, чтобы затрудняться изложить ее на бумаге. Она, в сущности, заключается в четырех словах, вполне исчерпывающих мое состояние: «Я счастлив, как никогда». Dixi[2] — и на душе стало как-то спокойнее.

Остается рассказать тебе по порядку, что случилось со мной в Петербурге. Начну с того, что Лиза встретила меня на вокзале и отвезла в семейство Кауфманов, о котором она мне не раз писала. Люди милые, симпатичные, хотя хозяйка дома способна заговорить до полусмерти. Старшие братья — на позициях, их комната сдается, в ней-то я и пребываю на полном питании вот уже четвертый день.

Так-то, брат. Ну-с, а теперь речь пойдет о моем, споткнувшемся на ровном месте, благоразумии. Во-первых — Лиза. Как тебе известно, она всегда была хороша — недаром же Ваше Стоическое Величество признавалось мне, что в ее присутствии почва некоторым образом ухо-

---

[1] Дражайший (*лат.*).
[2] Сказал (*лат.*).

дит из-под Ваших августейших ног. Но прежде это было нечто вроде пушкинского:

Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей.

А теперь ее красота стала уверенной и, так сказать, знающей себе цену. Во-вторых, опять-таки — Лиза. Дело в том, что она и внутренне изменилась. В ней появилось право располагать собой, то есть она как бы заработала самое себя, если можно так выразиться. В частности, я убедился в том, что был прискорбно неправ, выговаривая ей, да еще свысока, за то, что она бросила математику. Она, конечно, прирожденная художница, человек искусства, а не науки.

Дело опять-таки не только в том, что она au courant всего, что творится в живописи. С ходу, не давая мне опомниться, она обрушила на меня все теории, споры, драки и едва ли не поножовщину, которая идет между враждебными направлениями. Так много было говорено на выставках, в музеях, в доме Гориных, где она живет, что ты со своим слабым здоровьем испугался бы за пищеварение. Но шутки в сторону. Уйдя с головой в живопись, она стала писать так, что даже и мои невооруженные глаза увидели, насколько она продвинулась за год.

Показывала она мне свои работы в присутствии всего семейства Гориных, проживающих в роскошной двухэтажной квартире, где я, рожденный на брегах быстроводной Казанки, должен был бы, казалось, почувствовать себя казанским сиротой. Но, представь себе, не почувствовал! И даже вступил в спор с Дмитрием Гориным, полупрофессором и византинистом. Это — личность высокоученая, рыжеватая, с интересной бледностью, с ослепительным воротником накрахмаленной рубашки и

несколько томным взглядом, более свойственным женскому полу. Говорили о Византии. Так как я в этом предмете еле можаху, ничего не оставалось, как заявить, что никакого византийского искусства не было и не могло быть, поскольку вся духовная жизнь была опутана бесовскими кознями и проникнута обещаниями адских мук. «Откуда же могло взяться искусство? — спросил я, с удовольствием замечая, что мой высокоученый собеседник с изумлением таращит на меня глаза. — Если в этой вашей благословенной Византии на женщину смотрели, как на сосуд соблазна и орудие беса? Откуда же взяться искусству без женщин?»

Лиза расхохоталась, и спор закончился отличным обедом, за которым я, кстати сказать, убедился, что она в этом европейском, петербургском, профессорском доме чувствует себя по-королевски свободно. Вот и это тоже показалось мне неожиданным. Такой я ее никогда прежде не видел.

Yita mea[1], все это я тебе пишу неспроста. Ты догадываешься, без сомнения, о причине, упомянутой в первых строках сего письма?

Теперь читай и постарайся поверить глазам своим. Лиза едет в Самару, чтобы навестить отца, который ранен и лежит там в госпитале. Я уговорил ее остановиться на несколько дней в Казани, чтобы я мог познакомить ее с мамой, сестрами, братом — словом, с моими. Еще ничего, разумеется, не решено, хотя мама знает о наших отношениях и еще недавно спрашивала меня, где та худенькая барышня, у которой подозревали чахотку. Я ответил, что она здорова теперь, после полугода, проведенного в Ялте.

---

[1] Жизнь моя *(лат.)*.

Я знаю, ты скажешь, что невозможно вообразить в нашем доме Лизу, с ее искренностью и прямотой, Лизу, которая по-своему практична, не теряет времени даром и вместе с тем способна на неожиданности, которые могут показаться более чем странными не только в нашей семье, но и вообще в Казани. Согласен! Почти невозможно. Но ведь я всю жизнь занимался превращением этого «почти» в нечто вполне определенное — вот тебе новый случай доказать, что многолетний опыт не пропал напрасно.

Что касается моей «командировки», скажу тебе только, друг мой Николаша, что мы с тобой — невинные девушки в сравнении с тем, что сделали в Питере ляпуновские питомцы. Но об этом при встрече.

Твой К.

ЛИЗА

Проездом в Казань она провела в Москве три дня, и все эти дни, слившиеся в один, были для нее острым, непрекращающимся откровением. Она и прежде не раз встречала Ивана Ивановича Реутова, преподавателя Строгановского училища, длинного лысого человека, любившего говорить о том, что в Москве живопись и все вокруг живописи — совсем другое, чем в Петербурге. Его-то она и застала у тети в первый день приезда — и разговор был вытягивающий душу, резиновый, однообразный: в Петербурге такой скромный человек, как Анна Васильевна (Лизина тетя), не станет покупать живопись, а у нее — извольте видеть — на стенах этюды, которые впору увидеть в музее. (У тети был только один хороший этюд, левитановский, который она купила на по-

смертной выставке.) В Петербурге картины покупаются как предмет обстановки, и, если у какого-нибудь действительного статского висит Богданов-Бельский, другой действительный статский из кожи лезет вон, чтобы и его гостиную украшал именно Богданов-Бельский. Словом, в Петербурге: «У меня — как у такого-то». А в Москве: «Хоть я и не такой-то, а у меня — по-своему, не так».

Но вот договорились — доползли до французской живописи, и оказалось, что этот скучный Иван Иваныч не только знаком с Сергеем Ивановичем Щукиным, но может устроить посещение его галереи.

Отправились на следующий день, предварительно выслушав от Ивана Ивановича длинное рассуждение о том, что и публика в Москве совсем другая, чем в Петербурге. В Петербурге — воспитанная в известных традициях и как бы не забывающая, что Эрмитаж принадлежит Министерству двора. А в Москве смотрят на картину как на произведение искусства, и публике безразлично, кому она принадлежит.

Он надеялся, что Сергей Иванович сам покажет им свое собрание. К счастью, этого не случилось — он был в отъезде, — к счастью потому, что тетя говорила вздор, от которого даже вежливый Иван Иванович беспомощно хлопал глазами, а Лиза... То, что она увидела, напомнило ей, как это ни странно, летний день прошлого года, когда она отправилась в Симбирск навестить родных. Вдвоем со своей пятнадцатилетней кузиной она поехала в большой лодке на ту сторону Волги. Они сразу взяли много вверх, но сильный ветер по течению стал их сносить. Вдруг все затмилось вокруг, Волга покрылась беляками, ударил гром, дождь полил ведрами, и девочка, которая боялась грозы, кинулась к ней с пла-

чем. Тут надо было все делать сразу — и успокаивать ее, и грести что было сил, и править веслами все равно куда, лишь бы против течения! Мокрые до нитки, обессилевшие, дрожащие, они наконец добрались до берега, где жил, километрах в двадцати от Симбирска, один знакомый бакенщик.

С этим-то чувством беспомощности, растерянности, изумления тащилась она из одной комнаты в другую. Иван Иванович умно рассказывал о темной палитре Курбе и серебристой — Коро, шутил, что между Моне и Мане — различие далеко не в единственной букве, долго объяснял, откуда у Ренуара «фарфоровая легкость мазка», — она слушала и ничего не понимала. Ей нужно было только одно — выгрести к берегу под грозой, а гром оглушал ее в каждой комнате — Сезанн, Дега, Гоген, Ван Гог. Потом наступил Матисс, как наступает тишина или ночь, точно чья-то могучая рука взяла ее за шиворот, как кутенка, и с размаху швырнула в этот танцующий под музыку, прозрачный магический мир.

Иван Иванович говорил что-то о музыкальном аккорде, который состоял из зеленого и голубого фона, дополненного телесным цветом фигур, о том, что Матисс воспользовался самой белизной холста, «чтобы придать оттенкам своеобразную шелковистость», — она не слушала и не слышала. Она разобрала только, что Матисс, оказывается, пять лет тому назад был в Москве и помогал Щукину развешивать его картины.

Она ушла с таким чувством, как будто в ее жизни произошло событие, всего смысла которого она еще не могла понять. Как в детстве, когда она на пари, не мигая смотрела на солнце, перед ее глазами плыли лиловые, красные, зеленые, золотистые пятна.

С этим чувством она слушала тетю, которая много

и интересно рассказывала о войне, о воздушном бое, который ей случилось видеть своими глазами, об эпидемии сыпняка, о газовых атаках, против которых нашим трудно устоять. С этим чувством, ни на минуту не оставлявшим ее, она провела оставшиеся дни в Москве.

Город был зимний, сверкающий на солнце, заваленный снегом, который никто, кажется, не убирал. Лиза впервые была в Казани зимой. Но изменилось, кажется, только время года: она невольно засмеялась, когда, встретив ее на вокзале и проводив в Щетинкинские номера, Костя извинился и сказал, что его ждут в женской гимназии. Он тоже засмеялся и ушел, сказав: «Semper idem»[1].

Но он был совсем не «semper idem», хотя не прошло и двух недель с тех пор, как они расстались в Петербурге. Он похудел, щеки запали, на носу стала видна горбинка, которую она прежде не замечала. Веки были припухшие, может быть, от усталости. Он был бледен, несмотря на мороз. Он был... Приводя себя в порядок после поезда, Лиза искала и не находила слова. Он был какой-то *загнанный* — и она почувствовала это через десять минут после того, как он кинулся к поезду и подхватил ее с последней ступеньки вагона вместе с ее чемоданом.

Лиза думала об этом, когда пришел Лавров, — вот что действительно не изменилось! Когда Костя был занят и Лиза оставалась в Казани одна, он посылал к ней Лаврова.

— Смотрите, пожалуйста, догадался, — сказал Лавров, показывая на цветы, стоявшие на столике у крова-

[1] Всегда такой же (*лат.*).

ти. — И откуда только он достал их зимой? Еще одно доказательство того, что прямая — не всегда кратчайший путь между двумя точками. Кажется, он наконец убедился в этом. Лиза, а вам не страшно выходить за будущего Лобачевского?

— А я еще ни за кого не выхожу. Так вы думаете, что Костя — будущий Лобачевский?

— Едва ли, — подумав, ответил Лавров. — Но у него бывают забавные догадки. Это обнадеживает. Словом, вам придется туго. Вы завтракали?

— Да, в поезде. Мне не хочется есть.

— Тогда пойдемте гулять. Погода по Пушкину: «Мороз и солнце, день чудесный».

В маленьком книжном магазине Лиза купила книгу Морозова, которую не могла достать в Петербурге. Она называлась «Откровение в грозе и буре» и стоила дорого, полтора рубля. Лавров, который читал ее, пошутил, что это — книга об облаках и что посидеть, глядя на небо, часа два-три на скамейке в Державинском саду обошлось бы дешевле.

— Да, вам придется туго, — повторил он задумчиво, — но есть другая возможность. Выходите за меня.

Оба засмеялись. Лавров лихо выгнул узкую грудь и по-гусарски подбил усики. Усиков, впрочем, не было.

— Вы подумайте, прямой расчет. Семейная жизнь — хлопотливая штука. А мы можем жить в разных городах, видеться два раза в год или, если вы заняты, еще реже. Не переписываться и с благодарностью вспоминать, что не мешаем друг другу. Ведь для женщины сознание, что она — замужем, важнее, чем замужество. Ну, как?

— А вы не думаете, что нам стоило бы обсудить ваше предложение с Костей?

— Ни в коем случае. Это опасно.

— Для вас?

— Нет, для вас. Он может согласиться.

Лиза засмеялась.

— Должна вас предупредить, что нам придется жить не только в разных городах, но в разных странах. На другой же день после окончания войны я еду в Париж.

Они шли по Рыбнорядской, у многих лавок стояли очереди, приказчик в длинном белом переднике поверх пальто отпускал рыбу, мусоля карандаш и делая отметки в продовольственных книжках. Среди женщин, закутанных, озябших, жалких, стоял какой-то смуглый солдат в распущенной нерусской шинели.

— Военнопленный, — сказал Лавров. — Очевидно, мадьяр. А вот здесь в этом году открылась студенческая чайная. Хотите зайти? Вы не замерзли?

— Нет.

— Значит, в Париж? Зачем? И почему не в Лондон?

— Потому что в Париже живет Матисс, у которого я хочу учиться.

Лавров вздохнул.

— Увы! Я никогда не слышал о Матиссе. Это хороший художник, да? Вот вы променяли математику на живопись. Это разумно, хотя среди женщин нет, кажется, ни хороших математиков, ни хороших живописцев. Но Париж! Сразу после войны? Война кончится через три года.

Они вернулись в номера, на Большую Проломную, и прождали Костю еще часа полтора.

Наконец он пришел, веселый, замерзший, с заиндевевшим поднятым воротником шинели, и с этой минуты все стало совершаться только для того, чтобы поскорее кончился этот день, с его обедом на Госпитальной и «смотринами», которых Лиза ничуть не боялась. Но все

шло своим порядком. Ничего нельзя было изменить, и оставалось только искать маленьких утешений, которые помогли бы ей дожить до вечера, когда они останутся одни. Утешения были: они ехали на извозчике, полсть с разорванной петлей соскальзывала с колен, и Карновский, придерживая полсть, крепко, нежно прижался к Лизе. Всю дорогу он грел дыханием и целовал ее руки.

— Соскучился?

И он ответил по слогам:

— Смер-тель-но.

По деревянной обледенелой лестнице они спустились в овраг, вдоль которого вилась Госпитальная. Что-то завороженное было в заборах, терпеливо согнувшихся под тяжестью снега, в ослепительных сосульках, свисавших с кривых желобов, в домах, как будто утонувших в тишине, в белизне. Карновские жили в одном из них, приглядистее других, но с крыльцом без перил.

Девочка лет пятнадцати, в форменном платье епархиалки, открыла дверь, сделала книксен и сказала чуть слышным голосом:

— Здравствуйте.

— Сестра Катя, — сказал Карновский.

Они разделись в прихожей. Другая, постарше, показалась в дверях и тоже сделала книксен:

— Здравствуйте.

— Сестра Нина, — сказал Карновский.

Девочки постояли. Видно было, что у них захватило дух.

Потом, когда Лиза и Карновский сидели в комнате, которая была, очевидно, и столовой, и спальней — у стены стояла железная кровать, — вошел и что-то пробормотал басом лохматый, похожий на Карновского гимна-

зист в форменной рубашке и высоких солдатских сапогах.

— Брат Федя.

Гимназист ушел, и сразу же пришла, сухо поздоровалась и стала накрывать на стол Анна Игнатьевна — крупная, с грубыми руками, в очках, с твердым лицом. На ней было длинное желто-зеленое платье в полоску, с широкими, отороченными стеклярусом рукавами, и бело-черные, плетенные в клетку, ботинки. Потом, за обедом, Лиза подумала, что Анна Игнатьевна ненавидит ее уже за то, что ради нее ей пришлось надеть эти платье и ботинки, пролежавшие, должно быть, лет десять в комоде.

Лиза рассказывала Карновскому о Щукинской галерее, он слушал с тем веселым вниманием, которое она любила и которым он всегда отзывался на все, что было для нее интересно. Но когда пришла мать, в их разговоре появился оттенок напряжения.

К столу долго не звали, и он стал показывать Лизе квартиру. Она удивилась: в комнате девочек на столе лежали скроенные кальсоны. Девочки молчали, потупясь, с потрясенными лицами, и Карновский объяснил, что это их доля в подарках, которые казанская епархия посылает на фронт.

Он жил в смежной комнате, с братом, который вскочил с кровати, когда они вошли. Над письменным столом висела литография врубелевского «Пана». «Твой подарок», — ласково сказал Лизе Карновский. Он снова был насторожен, но теперь по-другому. «Боится, что мне не понравится здесь», — с нежностью подумала Лиза.

Пришел, запыхавшись, Лавров и принес вино.

— Самодельное, но не ханжа! — с торжеством объявил он.

Позвали к столу.

На этом вине, которое Анна Игнатьевна едва пригубила, когда Лавров в шутливо-высокопарных выражениях предложил выпить за Лизу, на его же болтовне, которую слушали, преодолевая желание, владевшее, по-видимому, всеми — встать и уйти, — и прошел этот тягостный, бесконечный обед. Вино было плохое, но, действительно, не ханжа.

— Милые мои, на ханжу у меня не хватило бы финансов!

Ханжа стоила от шести до десяти рублей шкалик, коньяк — тридцать рублей бутылка.

И Лавров заговорил о дороговизне, потом о призыве ратников второго разряда, потом о военнопленных — земство требует военнопленных для работы в деревне, а город согласился отдать только девятьсот человек.

Вдруг, ни к селу ни к городу, он рассказал о том, как прошлым летом он был на кондициях в семействе сошедшего с ума заводчика, готовил на аттестат зрелости двух его сыновей. На столе, за которым собирались родные, врачи, какие-то приживалы и приживалки, стояло громадное блюдо жареной стерлядки. Это был обед. Ели молча и только стерлядку. Разговаривать запрещалось. Едва кто-нибудь начинал говорить, сумасшедший поднимал на него налившиеся кровью, бешеные, страдающие глаза.

Лавров вдруг замолчал, смутился. Что-то прошло между всеми. Карновский стал тереть рукою лоб — и Лиза перехватила его сдержанный взгляд. Ее «смотрины» были чем-то похожи на этот обед, о котором рассказал Лавров. В желто-зеленом полосатом платье, в бело-черных шахматных ботинках, неподвижная, угловатая, прямая, с поджатыми губами, с взглядом из-под очков,

от которого кусок застревал в горле, за столом сидела Анна Игнатьевна. И Лиза, как на белом листе бумаги, прочитала все ее мысли. В то время как говорили о дороговизне, о ханже, о том, что немцы будто бы применяют какие-то «летаргические пули» — из дула вылетает облачко газа, лишающее сознания на два-три часа, — о Распутине, о смерти императора Франца-Иосифа, Анна Игнатьевна думала с отчаяньем, с ужасом, что сын уходит от нее, дом рушится, она остается с тремя детьми, которых еще надо поставить на ноги. Она думала неотступно, безнадежно, злобно, что во всем виновата эта барышня, долгоногая, глазастая и чахоточная! Костя врет, что в Крыму она выздоровела, на свою голову врет!

Наконец кончилась эта мука, этот обед, за которым девочки не получили жаркого: Анна Игнатьевна бережно разделила между ними супное мясо.

Вышли вместе. Лавров простился, и Лиза заметила, что Карновский ласково выше кисти сжал его руку.

Он проводил Лизу в гостиницу. Был пятый час, до вечера далеко. Но она больше не ждала вечера с прежним нетерпеливым радостным чувством. Когда Карновский ушел — у него было еще два урока, — она расшнуровала и сняла ботинки, сбросила платье и прилегла в капоте с книгой в руках. Она поленилась встать, чтобы задернуть занавески, и от окна шел постепенно темнеющий снежный розовый свет.

Она наудачу раскрыла книгу Морозова: «И не будет в тебе ни звуков играющей арфы, ни поющего голоса, ни трубного гласа, ни музыки тех, что играют на свирелях и других инструментах, — прочитала она. — И не будет в тебе ни художника, ни художества, и шума жерно-

вов уже не будет более слышно в тебе». Какое предсказание! «Так будет же», — подумала она упрямо.

Автор толковал Апокалипсис, последнюю книгу Нового Завета. Она раскрыла книгу в другом месте, загадав теперь не на себя, а на Костю. «И в то время, как животные четырех времен года прославляют и превозносят его, сидящего на троне, двадцать четыре старца-часа поочередно преклоняются перед ним». Она засмеялась: «А ведь это и вправду о Косте! Уроки!»

Она была еще там, на Госпитальной, где Анна Игнатьевна бродит из комнаты в комнату, держась за сердце, в отчаянии — из-за нее! Испуганные девочки забились по углам, мрачный лохматый гимназист, которому все равно, читает роман графа Амори — он читал эту книгу, когда они вошли. Господи, что же делать?

В номере было душно. Может быть, от цветов? Она встала и переставила цветы со стола на окно. «Может быть, Костя должен был сказать матери, что все останется, как прежде».

Почему-то она вспомнила, как после пансиона поехала к отцу в Воткинский завод и нашла отца в только что снятой квартире, которая была чем-то похожа на квартиру Карновских. Он был один, мачеха еще не приехала, и Лиза принялась за устройство квартиры. Как отец был благодарен ей, как ласков, как счастлив и горд, что она кончила пансион с золотой медалью! Она с трудом отговорила его — он непременно хотел показать эту медаль и ее аттестат своим офицерам. В первый раз она тогда разглядела его — мягкого, доверчивого, заставляющего себя становиться другим, бравым, несмотря на свою мешковатость, строгим, несмотря на доброту, которая так и светилась в его розовом, немного бабьем лице. Потом приехала мачеха, чем-то похожая на Анну Игнать-

евну, но не сдержанная, а крикливая, требовательная, мещански самоуверенная — и вот тогда-то он по ее настоянию сжег Костины письма. Странным образом все это связалось с обедом на Госпитальной, с чувством искусственности, насилия, несвободы. Свобода была там, в не оставлявшем ее воспоминании о Щукинской галерее.

Она закрыла глаза, и голые танцующие фигуры — дикие, свободные, как будто кроме них никого нет на земле и никто им не нужен — стали кружиться перед ее глазами. Матисс! Радостно вздохнув, она вспомнила чувство ритма, объединявшего эти фигуры. Их окружала прозрачность. Казалось, что они написаны на стекле. От них невозможно было оторваться.

Но вот она заставила себя уйти от Матисса и с размаху кинулась в совсем другой, деревенский, разноцветный мир. Гоген! Коротконогие коричневые девушки, почти голые, с яркими цветами в волосах, смотрели на нее, легко дыша. Они были свободны! Они были доверчиво просто, беспредельно свободны. Боже мой! Без сковывающей неизвестности, без необходимости объяснений!

Она почти не спала в поезде и вдруг уснула сразу легко, точно окунулась в прозрачную воду. Сквозь мысли и воспоминания она старалась понять что-то очень важное — и поняла наконец, облегченно вздохнув. Самое важное был Париж, похожий на повисший в воздухе разноцветный шар. От него шли прозрачные стрелы света. Он покойно дышал на головокружительной высоте над пиками готических зданий.

В полусне она слышала, как пришел Карновский, с поднятым воротником шинели (он не носил кашне), в

запотевших очках (он давно сменил пенсне на очки). Он скинул шинель, задернул занавеску. Она следила за ним из-под полуопущенных ресниц с вдруг перехваченным от волнения горлом.

— Спишь? — негромко, ласково спросил он.

— Нет. Иди сюда. Садись.

Он поцеловал ее.

— Подожди. Слушай: на другой день после окончания войны я еду в Париж. Горины обещают дать мне взаймы. Я хочу учиться у Матисса.

Она проснулась рано — и вчерашний вечер прошел медленно перед ее глазами, точно он терпеливо ждал ее пробуждения. Может быть, они не поссорились бы, если бы она не сказала, что Дмитрий предложил денег на поездку, на жизнь в Париже? Может быть, Костя был прав, доказывая, что самая мысль об этой поездке оскорбительна, ничтожна в то время, когда идет тяжелая, грозящая поражением война, мародеры грабят страну, епархиалки шьют для солдат кальсоны и женщины с двух часов ночи становятся в очередь за тухлой рыбой? В то время, как она сама едет к отцу, тяжело раненному на фронте.

Да, Костя прав. Но ведь это была даже не надежда, а попытка надежды. Он не должен был расправляться с этой попыткой так беспощадно, так сурово. Нет, здесь было что-то еще, совсем другое, может быть, случившееся с ним уже после обеда на Госпитальной. Она почувствовала это даже в те минуты, когда они остались, наконец, одни в тишине, в темноте. А потом вдруг этот спор, этот раздраженный тон, эта неожиданная, изумившая ее грубость, от которой у нее перехватило ды-

ханье. Да, что-то случилось. Семейный скандал? Ложное положение, в котором он не хотел признаваться?

Она встала, умылась, оделась, раздвинула занавеску, и в номере все похорошело — мебель, грубо раскрашенная под орех, выгоревшие синие шпалеры. Утро было розовое, свежее, с играющим светом. Лиза надела пальто, постояла перед зеркалом: пальто было старое, немодное — теперь носили в талию, с накладными карманами, с широкими, отделанными мехом рукавами. Она с досадой подумала об этом.

На Большой Проломной она позавтракала в кафе и пошла куда глаза глядят — Костя должен был забежать в двенадцать, после урока у каких-то богачей Муралеевых. Этот урок никак нельзя было пропустить.

...Замужем, что за странное слово! Шура вышла замуж, она была на ее свадьбе в Симбирске, и для нее все было ясно на десять, на двадцать лет вперед. Для нее все было ясно, потому что она хотела стать принадлежностью мужа, разделить с ним его, быть может, ничтожную жизнь. Зато она «замужем», за-мужем, не одна, а за-мужем. И Лиза будет не сама по себе, а «за-мужем». Она станет его уроками, его экзаменами, его университетом, в котором он считается будущим Лобачевским. Она будет «за», «при», «около», «возле». Их близость станет такой же повседневной, обиходной, как университет и уроки.

Она пришла в кремль и постояла у Сююмбекиной башни, зимней, грустно изукрашенной снегом. Потом спустилась вниз и по уличкам, по тропинке, вдоль заиндевелых заборов прошла на Попову гору. Татарин — разносчик тканей, в круглой шапочке, с аршином в руках, встретился ей.

— Барышня, хороший товар есть, бархат, кашемир, сатин есть. Покупай, барышня, не пожалеешь.

Она покачала головой. Они едва разошлись на тропинке.

И, может быть, он не поехал бы в Петроград, если бы она не возвращала его письма, если бы не отказалась от него навсегда, как она писала ему. Это было вспышкой — его решение поехать в Петроград и все, что там произошло между ними. Вспышка пройдет через год или два. И будет Казань, и снова Казань. И Анна Игнатьевна, которая не пустит ее на порог. И Художественное училище, в которое он вчера советовал ей поступить, доказывая, что по-своему Фешин нисколько не хуже Матисса.

...Теперь она была на Рыбнорядской, где открывались лавки и лари, стояли очереди и бродили пугливые, озверевшие, тощие собаки. Кто-то говорил, кажется Лавров, что на Рыбнорядской всегда было так много собак, что один переулок так и назвали — Собачьим.

Почему-то она вспомнила самодельные гипсовые тарелочки с бумажными цветами, висевшие на стене в комнате девочек, плетеные скатерти и накидочки из кружков в столовой. И где-то еще аккуратную, выпиленную лобзиком полочку, на которой стояли подобранные по размеру книги.

«Все это не он, не он, — подумала она. — Но и гипсовые тарелочки будут где-то «около», «возле».

Они не поссорились бы, если бы она не сказала, что Дмитрий предложил ей денег на поездку в Париж. «Ах, так? И на жизнь? — спросил он с той неторопливостью, которая должна была показать, что он совершенно спокоен. — Каким же образом ты рассчитываешь вернуть долг? Или ты надеешься на быстрый успех в Париже?»

Может быть, это ревность? С какой злостью он еще в Петрограде сказал о Дмитрии, что при всей его учености в нем чувствуется российское шалопайство!

И с раскаяньем, вдруг остро охватившим ее, Лиза стала думать о Дмитрии, о его преданности, о дружеской близости, которая стала теперь привычной для них. О том, как много он сделал для нее, какое единственное, неоценимое место занял он в ее жизни. Как посмела она скрыть от него, что сговорилась о встрече с Карновским?

Но странным образом к чувству раскаянья, сожаления примешивалось какое-то совсем другое, необъяснимое чувство. Она не хотела, чтобы Дмитрий ждал ее в Петрограде. Она не только не хотела бы сейчас увидеть его, но не могла представить себе, когда ей захочется его увидеть. Она вспомнила его молящие глаза с большими ресницами, узкие, слабые руки. Тогда, в августе, когда он сделал ей предложение, Лиза просила его подождать. Теперь она отказалась бы.

...Она остановилась, прижав руки к груди. Отказалась бы? Да.

Теперь она была в Татарской слободе, какая-то широкая улица вдруг оборвалась — и за поворотом открылась взлетевшая в небо стрела минарета с полумесяцем, который неожиданно и, как ей показалось, робко венчал эту высоту.

«Костя, я уезжаю, чтобы подумать. В Казани это невозможно, потому что я слишком люблю тебя. — Она не сочиняла письмо, оно само собой говорилось в душе. — Я вернусь, я еще вернусь, или ты приедешь ко мне. Может быть, для нас лучше, чтобы все осталось по-старому, как прежде? Мне ведь ничего не надо. Только — любить».

Она плакала. Старая татарка, закутанная, замотан-

ная, в длинной шубе, в высокой шапке, остановила ее и спросила что-то с тревогой, певуче.

— Нет-нет, — сказала Лиза. — Спасибо. Все хорошо.

Только теперь она поняла, что замерзла сильно, до костей, что руки и ноги одеревенели и почему-то страшно глубоко вздохнуть.

По узкой улочке, вьющейся вдоль сугробов, она вышла на какую-то площадь. Женщины гремели ведрами у водоразборной будки. Поодаль стояли заиндевевшие лошади, запряженные в низкие, без кузова, сани. Это была стоянка барабусов — татарских извозчиков. Костя что-то говорил ей о них. Она подошла — к ней кинулись. Она села в сани, извозчик прикрыл ее ноги толстой кошмой.

— Куда прикажешь, барышня?

— В Щетинкинские номера.

И застоявшаяся лошадь тронула резво.

Лавров ждал ее в вестибюле, она не сразу заметила его сжавшуюся в широком кресле маленькую фигурку в студенческой шинели с поднятым каракулевым воротником.

— Здравствуйте, — радостно сказал он. — Мне сказали, что вы рано ушли. Вы завтракали? Что случилось? У вас расстроенный вид.

Она взяла ключ, они прошли в номер, и Лавров, смутившись, достал из шинели коробку конфет.

— Спасибо. Зачем вы тратитесь, милый Коля?

— Что вы, пустяки! Костя скоро придет, мы встретились в университете. Он сказал, что вы поссорились.

Они посидели, помолчали. Лавров вздохнул.

— Мне хотелось... — поспешно сказал он. — Этот

обед на Госпитальной... Я у них жил, я хорошо знаю Анну Игнатьевну. Она — человек хороший и Костю любит, можно сказать, самоотверженно. Но ведь любовь, в особенности материнская, — это странная штука. Она у нее какая-то... ну, мстительная, что ли... Вы только не подумайте, что Костя просил меня поговорить с вами. — Лавров волновался, темная прядка упала на узкий высокий лоб.

— Ну что вы!

— И вот я боюсь... За него и за вас.

— Не понимаю.

— Простите меня за это вмешательство. Я хочу сказать, что вы не должны на него сердиться. У него вчера был очень трудный день. — Он помолчал. — Вот я думал о вас. О нем и о вас. Переписка — это совсем не то. Даже я, когда беру в руки перо, становлюсь совсем другим человеком. Ведь вы до сих пор как-то не вгляделись друг в друга. Например, вы думаете, что он стремится к независимости. Нет, он не просто стремится. Это — страсть независимости, а страсть нельзя ни любить, ни ненавидеть. Надо ее понять. И вот вчера... — Лавров говорил все быстрее: — Вы понимаете, он почти весь день был в унизительном положении. Он стыдился того, что вы увидели на Госпитальной, и должен был скрывать от вас, что он стыдится, хотя я говорил ему, что вся суть заключается в том, что от вас он ничего не должен скрывать. А тут еще этот разговор с Маришей... — Лавров вдруг осекся, смутился, покраснел, замолчал. — Я хочу сказать... — начал было он и опять замолчал.

— Вы хотите сказать, что у Кости вчера был разговор с какой-то Маришей?

— Ах, боже мой, что за вздор! Ваш приезд — это был праздник, необыкновенность, а существует, вернее, су-

ществовала какая-то обыкновенность, которой просто смешно придавать значение. Мариша — это моя знакомая, и она стала спрашивать Костю о вас, а он...

Лавров вынул носовой платок и мял, крутил его в руках, как провинившийся мальчик.

— Все это кончилось и, вообще, ерунда, — пробормотал он с отчаяньем. — Костя скоро придет. Все будет хорошо. Ну, пожалуйста, поверьте мне, что все будет хорошо! Вы же умница. Как у вас со здоровьем? Анна Игнатьевна почему-то думает, что вы больны.

— Я здорова. Впрочем, сейчас у меня начинается головная боль, и нужно пройтись, чтобы она не разыгралась.

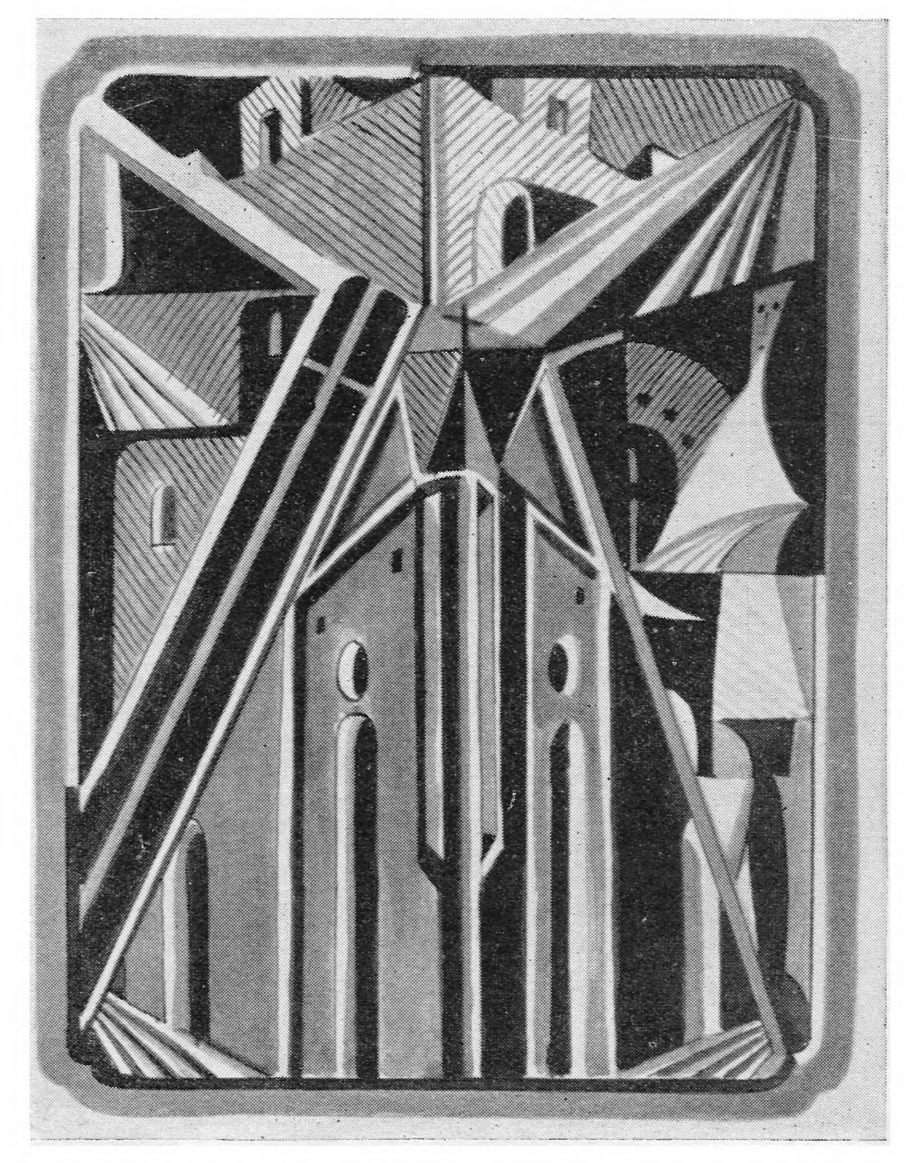
Лавров надел пальто, они вышли вместе. Он еще говорил о чем-то на лестнице, в коридоре. Она не слушала. У подъезда гостиницы они простились, и Лиза пошла направо, к кремлю.

Замерзшая ленточка Казанки тускло блестела. На крыше какого-то двухэтажного дома зеленый купол был окружен пошлыми железными цветами, и Лиза подумала, что таких домов почему-то много в Казани. Но белая высокая стена кремля, доходившая до башни, а потом продолжавшаяся с темными стрелами бойниц, была прекрасна — и Лиза немного успокоилась, глядя на ее сияющую под солнцем, пустынную белизну. Налево были пять голубых куполов какой-то церкви, а направо все взгорья и взгорья, много рыжего и красного — крыши с торчащими побеленными трубами, из которых поднимался серовато-прозрачный дым. И всюду шла жизнь: женщина развешивала белье на дворе, пилили дрова, где-то крыли тесом сараи. Ничего не случилось. Земля была огромная, надежная, занятая жизнью и собой, прекрасная и простая.

Она вернулась в номера, расплатилась. Портье сказал ей, что поезд в Самару отправляется через Саранск в четыре пятнадцать. Она наскоро написала Косте — и не стала перечитывать свое холодное, мертвое письмо. В нем было все по-другому, она не знала, с чего начать, чем кончить, — точно что-то выпало из ее рук и разбилось.

На вокзале было грязно, шумно. Городовой кричал на какого-то мужика, сидевшего на туго набитых мешках.

Строился маршевый батальон, ладили помосты к товарным вагонам. Бабы плакали. Татарин, стоя на коленях, молился, шептал, кланялся в уголке заплеванного зала...



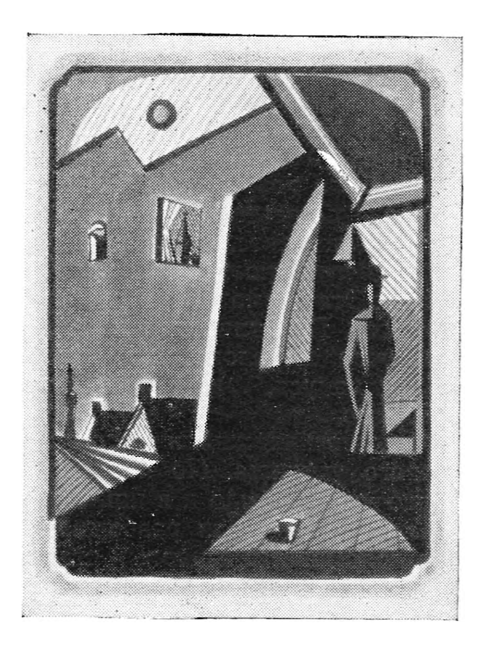
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Прошлое отлетало стремительно, бесповоротно. Жизнь, оторвавшаяся от обихода, ворвалась в маленькую квартиру на Госпитальной, все перекроив по-своему, заставив Карновского бросить на время магистерские экзамены, потому что шли бои с «забулачниками», объявившими, что столица «Урало-Волжских штатов» находится в одном из городских районов, за маленьким грязным протоком Булак. В июне 1918 года он уехал с матерью и девочками в Москву: чехословацкий корпус поднимался вверх по Волге и был уже недалеко от Казани.

...Он вернулся зимой в промерзший город, в обокра-



денную квартиру на Госпитальной, в университет, погруженный в непроглядную тьму. Младший брат был мобилизован белыми и погиб; об этом Карновский узнал только через несколько лет. Надо было с чего-то начинать. Надо было что-то продолжать. Он разыскал профессора Маврина и доказал ему, что «красная арапия», как старик называл большевиков, не возражает против изучения теории функций действительного переменного и всей высшей математики в целом.

Так опять начался университет, наука и новый отсчет времени, который был еще требовательней, чем прежде.

После магистерских экзаменов Константину Павловичу предложили читать специальный курс в университете. Он согласился, но почти все свободное время отдавал организации Политехнического института.

То была пора, когда после освобождения Поволжья в городе постепенно восстанавливалась прежняя жизнь. В ней была черта, сразу же захватившая его, — *возможность невероятного*, как он выразился в разговоре с Лавровым. Эта возможность требовала размаха, тоже невероятного. Практически представить его было почти невозможно, но «логически» — доказывал он скептически улыбавшемуся, изголодавшемуся Лаврову — «вполне обозримо».

Политехнический институт создавался на базе ремесленного училища. Но никакого ремесленного училища давно уже не было и в помине: учащиеся были мобилизованы белыми или разбежались, в мастерских стояли два поломанных токарных станка, электромотор времен Яблочкова и разобранный двигатель внутреннего сгорания.

Осенью девятнадцатого Карновского назначили деканом рабфака, и он снова согласился, подумав, что, в сущности, он сам был первым рабфаковцем, когда работал на заводе братьев Крестовниковых и занимался ночами. Он и теперь прежде всего пошел на завод — набирать учащихся и просить, чтобы рабочие помогли ему оборудовать кабинет учебных пособий. Потом, спустя полгода, когда учащиеся вдруг нахлынули разом, дело стало за преподавателями, и тут пригодилась репутация Константина Павловича, как вежливого, вполне интеллигентного молодого человека, у которого было много знакомств среди богатых русских и татарских семейств. Он нашел преподавателей и среди них одного крупного

инженера, который предсказывал советской власти скорую и неизбежную гибель.

Сложнее было с программой для рабфаков и технических вузов, о которой шли бесконечные споры. Карновский принял участие в обсуждении и с самого начала занял острую позицию. Он испытал сперва один, потом другой метод, горячо рекомендованный в сборнике «Новое дело». Оба растаяли, как пар в нетопленной аудитории, битком набитой людьми в солдатских шинелях, которые занимались, пользуясь одной книгой на троих и грея дыханьем замерзшие пальцы. Нечего было и надеяться на то, что им окажется доступной строгая, сложившаяся в двадцатом веке система математических знаний. Для них путь в математику шел через технику. Очевидно, где-то здесь и надо было искать новые методы преподавания.

Возможно, что, если бы он не заходил к старику Маврину, помогая ему приводить в порядок библиотеку и полусожженный архив, ему не пришла бы в голову эта, в сущности, простая мысль. Архив и библиотека были уникальными, в них встречались книги не только начала девятнадцатого века, когда Казань была одним из научных центров Европы, но и восемнадцатого.

Карновский, который всегда интересовался историей науки, начал с Чебышева и, двигаясь назад, к восемнадцатому веку, прочел два мемуара Эйлера. Он искал возможность простого, наглядного подхода к высшей математике и проследил ее развитие, останавливаясь на тех этапах, которые естественно связывали математическое и техническое мышление. Гениальный Чебышев подсказал многое. Еще неясные соображения горячо поддержал Лавров, любивший повторять, что «только простое может бросить свет на сложное».

Конечно, это было отступление, но ведь отступал же — как сказал тот же Лавров — и Кутузов.

Новая методика, в основу которой были положены старые «до-абстрактные» способы преподавания, была разработана до мелочей, и, хотя статья Карновского вызвала новые горячие споры, он, не отвечая, принялся за дело. Время показало, что он был прав — в конечном счете именно его методика легла в основу преподавания математики на рабфаках и в технических вузах.

Прежде «отсчет времени» касался только внутренней жизни Карновского. Профессор Маврин считал его самым способным из своих учеников, и он был нужен кафедре, университету. Теперь оказалось, что он нужен сотням людей, которые писали с грубыми ошибками и в лучшем случае знали таблицу умножения. Он стал центром острых интересов, поражавших его своей новизной. Его аналитический склад ума, «пунктуализм», над которым подшучивал Лавров, неожиданно оказались необыкновенно важными не только для него, но и для тех, кто с разбегу кинулся к нему с *делом*. От него не просили, а требовали знаний.

2

Он получил несколько писем от Лизы сразу же после ее отъезда из Казани и вернул их, не распечатав. Он ничего больше не хотел знать о ней — теперь пришла его очередь возвращать ей нераспечатанные письма. Она бросила его — и прекрасно! Правда, это случилось с ним впервые в жизни, «но, может быть, — думал он с холодностью, которая была (он знал это) утешительной, притворной, — случится еще не раз». Но не с холодностью,

а с бешенством он спрашивал себя: что заставило его в разгаре неотложных дел броситься в Петроград? Оскорбленное самолюбие? Да, может быть. Ведь Лиза старалась доказать, что она счастлива с Дмитрием, а он, Карновский, может поступить как ему вздумается — ехать или оставаться в своей грязной Казани.

Но если так, что же произошло в Петрограде? Что изменилось в тот день, в тот час, когда он увидел Лизу? Произошло то, что он едва узнал ее. Так это была она — уверенная красавица, остро и весело сознающая силу своего обаяния? Так это она держалась так свободно, так смело у Гориных, в богатом профессорском петербургском доме? Незаметный казанский студент в отглаженной, но сильно потертой форме сидел в гостиной, не вмешиваясь в тонкий разговор о «хроматической гамме света», в котором он ничего не понимал и, разумеется, смеясь, сейчас же сознался в этом.

...То, о чем он мстительно думал перед отъездом, случилось и не могло не случиться, потому что она любила его, а не Дмитрия. Но случилось еще и то, что, снова без памяти влюбившись в нее, он допустил странную возможность, всегда казавшуюся ему невероятной, — и не только допустил, а без оглядки поверил в эту возможность. Не он ли писал и говорил ей о «совместном квартировании», как он с иронией называл семейную жизнь?

Лиза выбрала — семейная жизнь не состоялась. Так почему же он был так оскорблен ее неожиданным бегством? Что заставило его вернуть одно ее письмо из Симбирска, другое из Петрограда? Уж не был ли он в глубине души доволен, что теперь все снова пойдет как прежде, своим путем, без волнений и тревог, без неожиданностей, мешавших его жизни, его науке?

Ему еще не было двадцати восьми лет, когда он был избран профессором Политехнического института. Он взял отпуск, поехал в Ядрин, чтобы обдумать курс, и вот здесь, в тишине, снова стал неотступно, с раскаяньем, с горечью думать о Лизе.

Он начал разыскивать ее давно, еще осенью семнадцатого года. Старушка Кауфман, у которой он останавливался в Петрограде, ответила, что Лиза провела у нее лето («не у Гориных», — сейчас же остро отозвалось в душе), а в сентябре вернулась в Ялту, после воспаления легких. Он написал ей в Ялту по старому адресу, на Мееровскую. Письмо вернулось «за ненахождением адресата». Он написал Шуре, которая жила с мужем в Симбирске. Да, Шура получила открытку от Лизы, но давно, осенью 1917 года. Тогда все было хорошо, но «здоровье еще не позволяет мне оставить Крым, — писала Лиза, — хотя в последнее время с легкими, кажется, все в порядке. Я пополнела, порозовела, и снова появилась жажда жизни и аппетит к приключениям».

Вдруг задохнувшись, он прочитал эту фразу...

Он снова написал в Ялту, каретному мастеру, у которого Лиза жила в свой первый приезд, весной 1914 года.

Когда он уже потерял всякую надежду, когда гражданская война была в разгаре и переписка между севером и югом прекратилась, он получил от нее письмо, которое, как ножом, отрезало все, чем он жил день, час, минуту тому назад.

20.V.1918. Ялта.

Костенька, родной, где ты? Я места себе не нахожу, думая о тебе. Много раз я писала тебе, но в ответ — ни

слова. А сейчас и совсем оборвалось сообщение с севером. Посылаю это письмо с едущими в Ригу, может быть, оно доберется до тебя. Живем здесь в унижении, в позоре. Пришли германцы (2 мая н. с.). Даже Севастополь сдался без боя. Наступило внешнее спокойствие, купленное дорогой ценой. Я была больна в первые дни, да и сейчас еще больна нравственно, хотя стараюсь взять себя в руки. Великолепие весны не смягчает горя, на ее цветущем фоне еще отчетливее рисуются германские каски. Дрожу при виде. Немцы самодовольны, гордятся корректностью и не сомневаются в своем превосходстве. Хожу, опустив глаза. Боюсь задохнуться от ненависти.

Ну, полно! Надо держаться. Не вечно же будут мелькать на фоне глициний германские каски! Почему-то их особенно много вокруг моего старого любимого платана на набережной. Он смотрит сверху на них — с величавым презрением. Так же должны держаться и мы.

Если бы ты знал, как проклинаю я себя за то, что еще осенью не вернулась на север! Но не только моя болезнь, обострившаяся после воспаления легких, остановила меня. Я осталась, потому что впервые в жизни ясно почувствовала, что твердо держу кисть в руках и знаю (или по меньшей мере догадываюсь) — *что* и *как* я хочу написать. Бесценную помощь оказал мне один старый художник из передвижников (в далеком прошлом), но совершенно особенный — о нем я тебе еще расскажу. Уехать он не хотел и не мог, потому что он армянин и работает над росписью армянского собора. Он и здесь — на родине, а я — в мышеловке. Мы с ним одни в этом городе мертвых.

Бывают дни, когда я спрашиваю себя: не приснилось ли мне все это — Петроград, Исаакий, белые ночи, платье не с чужого плеча (меня обокрали, и я хожу здесь

бог знает в чем), возможность не думать о завтрашнем обеде? Ты — в этом я не сомневаюсь — был, есть и будешь. Но была ли моя поездка в Казань, и как могло случиться, что я уехала, убежала, не простившись с тобой? О, как много я требовала тогда от жизни, как была избалована, капризна, горда! Или тогда-то я и была — я, а теперь потеряла себя, одна, отрезанная от близких, измученная ненавистью, растерянностью, недоумением? Я — ничья здесь, а ведь даже вещи, мне иногда кажется, способны тосковать, когда они никому не принадлежат.

Единственное мое прибежище — работа. Зовут моего учителя и бесценного друга Вардгес Яковлевич Суренянц. Ему шестьдесят лет. Нет ни времени, ни возможности пересказать тебе все, чему он меня научил. Да и бог весть, доберется ли до тебя когда-нибудь мое послание! Скажу только, что если я еще живу и работаю после всего, что видела и пережила в Ялте, — это сделал он. В Ялте он живет потому, что армянская церковь богачей Тер-Гукасовых расписывается по его эскизам. Мало сказать, что он — образованный человек. Он владеет немецким, английским, персидским и в совершенстве — итальянским. Влюблен в восточное искусство, увлекался прерафаэлитами — и на всю жизнь остался армянским художником. Он жил в Париже, Вене, Риме, Валенсии, Венеции, он иллюстрировал Метерлинка, Уайльда, Толстого, Пушкина, работал в московском Художественном театре — по его эскизам была поставлена «Чайка».

Впрочем, Вардгес Яковлевич не столько учит, сколько как будто сам у всех учится. От него идет тишина, в которой я так давно и глубоко нуждаюсь.

Он одинок, от его помощника, тоже армянского художника, я узнала, что он всю жизнь любил одну женщину,

которая вышла замуж за его друга, известного писателя Ованесяна. Уж не потому ли мы с полуслова понимаем друг друга?

Ну, что же еще рассказать мне о нем? Я, как в монастырь, ушла в его мудрость. Он внушил мне уверенность. Не похвалами — напротив, требовательностью. Но *так* требовать можно только от талантливого человека. И к Византии моей он отнесся по-своему. Чудо искусства сохранило ее в веках, несмотря на то, что она была попрана турками — как сейчас, на наших глазах, попрана и унижена немцами Ялта.

Прощай, милый, родной. Увидимся ли когда-нибудь? Кто знает.

Была бы моя воля, пошла бы пешком по Руси. Так хочется, даже снится!

Посылаю тебе мою любовь и благословение.

Твоя Лиза

3

Ничего невозможного не было в его решении добраться до Ялты и увезти Лизу, хотя пришлось бы перейти две линии фронта и ехать через Украину, на которой хозяйничал какой-то Махно. Карновский разузнал все подробности. Ехать надо было с фальшивой справкой о месте рождения — Ялта или любой другой город в Крыму. Опасные места начинались за хутором Михайловским — ничейная полоса до Конотопа, часть пути надо идти пешком, и легко нарваться на гайдамаков. Из Конотопа до Киева добраться было уже нетрудно, а в Киеве у Карновского была рука: Маврин дал письмо к сво-

ему двоюродному брату, который был киевским городским головой. Из Киева в Одессу — поездом, а из Одессы в Ялту — пароходом. Немцы, по слухам, пропускали в Ялту за взятку.

Карновский спрятал казанские документы в непромокаемый мешочек, а мешочек зашил в подкладку пальто. Деньги он достал, а для взяток Лавров отдал ему запонки и часы. Один из учеников Карновского, служивший теперь в казанском горсовете, выдал ему фальшивую справку, что он — уроженец Ялты. Он списался с Доброселовым, московским математиком, у которого были на Украине какие-то связи. Словом, все было готово к отъезду, когда заболела мать. Сперва Карновский решил, что болезнь — притворная, связанная с его решением. Но болезнь — слабость и головокружения — усиливалась с каждым днем. Все в доме развалилось, распалось. Распалось, отдалилось, остыло и его «безумное», как доказывал Лавров, решение.

В ноябре 1920 года, на другой день после появившегося в газетах известия об освобождении Ялты, он написал художнику Суренянцу, в доме которого жила Лиза, и после долгого ожидания получил ответ — большое письмо на шести страницах, исписанных слегка дрожащей старческой рукой. Бумага была толстая, желтая, страницы перенумерованы большими римскими цифрами. Вот что он прочитал:

Ялта. 15.III.1921.

Глубокоуважаемый Константин Павлович, извините, что с опозданием отвечаю на Ваше письмо. Мне, при-

знаюсь, должно было собраться с душевными силами, прежде чем написать Вам о Елизавете Николаевне.

Прежде всего скажу, что Вы для меня далеко не чужой человек. Мы с Елизаветой Николаевной много, очень много говорили о Вас. Случалось, что она читала мне строки из Ваших писем, показывала фотографии. Она болезненно переносила разлуку с Вами. До последней минуты своего пребывания в Ялте она ждала известий от Вас и, вернувшись, измученная, после первой неудачной попытки уехать, прежде всего спросила: нет ли от Вас письма...

Но я забегаю вперед. Итак, по порядку расскажу Вам о ней и о нашем знакомстве.

Оно началось, можно сказать, случайно, хотя Елизавета Николаевна не только давно знала о моих работах, но даже копировала некоторые из них. Однажды, возвращаясь домой поздно вечером, она оступилась, расшибла ногу и, как выяснилось на другой день, порвала связки в предплюсне. Беспомощная, едва добралась до скамейки в Александровском сквере, и вот тут-то я буквально наткнулся на нее в темноте. Побежал на извозчичью биржу, и два извозчика донесли ее на руках до моей квартиры. Я упросил ее остаться у меня до выздоровления, хотя она тревожилась, что и без того доставила много хлопот.

Она помогала мне в работе над росписями армянской церкви, но много работала и сама, может быть, слишком много. Вы знаете Елизавету Николаевну лучше, чем я, и не мне писать Вам о ее неспокойном, бурном характере, о мгновенных переменах ее настроений, о смятении, которое часто охватывало ее и для которого единственным выходом была живопись, работа. Ее душевное изящество, прямота известны Вам, без сомнения, лучше, чем

мне. Эти черты нашли свое отражение, кстати сказать, в ее увлечении византийским искусством, которое я сознательно поддерживал в ней, потому что оно в известной мере было для нее спасением. Ей нужна была мысль о *вечном* в искусстве, об источниках Духа. Она чувствовала себя здесь на краю света, она истосковалась, с каждым днем теряя надежду вернуться к родным и знакомым. Потому, может быть, она и привязалась ко мне, что я, старый человек, чего только не перевидал в своей жизни, о чем только не передумал! Мне кажется, что она искала во мне не учителя живописи, а учителя жизни.

Елизавета Николаевна говорила мне, что Вы почти не знакомы с ее работами, и все сожалела, что не может показать их Вам теперь, когда она стала писать иначе и лучше. Так вот, могу с уверенностью сказать, что она очень талантлива, необыкновенно настойчива и трудолюбива и, если можно так выразиться, «приговорена» к живописи самим складом своей свободолюбивой души. Цветовая память у нее удивительная. Она помнит каждый холст, каждый рисунок. Ей ничего не стоит мысленно увидеть любую, некогда затронувшую ее картину. Может быть, именно поэтому ее морские этюды напоминают Клода Моне, а пейзажи — Матисса. Однако мне удалось научить ее спокойно относиться к своей подражательности. Каждый холст она все же доводит до конца, стараясь добиться цельности, — и в последнее время это стало ей удаваться.

Перехожу теперь к той несчастной случайности, которая подтолкнула ее решение уехать из Ялты. Вырваться в Москву или Петроград не было ни малейшей возможности. У нее не было ни гроша, ни сколько-нибудь приличной одежды. В эти-то особенно безнадежные дни появился в Ялте некто Франческо, просивший называть

себя именно так, несмотря на свой солидный возраст (лет пятьдесят пять — шестьдесят). Приехал он к своим родственникам (в Ялте много греков) и отрекомендовался любителем и знатоком живописи. И действительно, если судить по его манере держаться, по его тонким суждениям, он, по-видимому, был близок к художественной среде не только Константинополя, куда он, по его словам, иногда наезжал, но и Парижа. Как он говорил, — и это вполне вероятно — он был владельцем небольшого салона в Париже, где, по его словам, еще недавно выставлялись такие значительные мастера, как Брак и Сутин. Не было оснований не доверять ему, хотя в той манере, с которой он называл эти имена, была какая-то преувеличенная небрежность.

Словом, нет ничего удивительного в том, что этот уверенный, еще «интересный» мужчина, пожалуй, даже красивый со своими седыми висками и здоровым загаром, произвел впечатление на Елизавету Николаевну, тем более, что он умно и с большой похвалой отозвался о ее работах.

Приехал он — как я вскоре убедился — с целью скупить у голодавшей ялтинской интеллигенции любые предметы искусства, но проделывали все это, по-видимому, его многочисленные родственники, разумеется, по его указаниям.

Он зафрахтовал небольшой пароход до Константинополя, откуда он намеревался немедленно ехать в Париж.

Не знаю, как случилось, что он предложил Елизавете Николаевне отправиться с ним. Началось с того, что он купил у нее, щедро заплатив, несколько картин, а потом она вдруг явилась ко мне и сообщила с волнением об этом неожиданном предложении. Я сразу же стал отговаривать ее, я в глазах этого человека без труда прочи-

тал его подозрительные, вероятнее всего, низкие намерения. Мало сказать, что я уговаривал, я умолял Елизавету Николаевну остаться. Но беспомощность моя была очевидна. В самом деле, с одной стороны — нищая жизнь в захваченной Ялте, невозможность выпить чашку кофе на набережной, потому что ее обокрали и она ходила в платье, переделанном кое-как, с чужого плеча, непрочность, неуверенность, голод, а с другой — Константинополь, Париж. Я убеждал ее, что эта наша унизительная жизнь скоро кончится, что она не должна смотреть на свое будущее глазами дня и месяца, что все еще впереди. Ничего не помогало! У меня еще была надежда, что, пока этот господин собирается в дорогу, от вас придет письмо, — и тогда Елизавета Николаевна осталась бы, переломила себя, хотя она с трудом отказывалась от своих решений. Чудо не совершилось. Я проводил ее, мы оба плакали, она уехала, и с тех пор у меня нет от нее никаких известий...

4

Больше Константин Павлович не надеялся, что ему удастся с помощью математики избавить человечество от власти слепого случая. Он стал изучать эту слепую власть. Он был убежден, что в двадцатом веке теория вероятности может изменить всю картину мира в науке. Но к увлечению, с которым он занимался этой теорией, странным образом примешивалось чувство тоски. Самозащита, нейтральная зона, спасительное расстояние позволяли ему спокойно встречать удары, из которых, с детских лет, состояла жизнь. Он боялся потерять свободу и независимость — теперь ему подчас постылой стала

казаться эта свобода. Женщины, как всегда, были где-то в стороне от его душевной жизни. Между ними не было Лизы.

Без конца перебирал он в памяти их последнюю встречу, тот единственный день, который Лиза провела в Казани. Он начался разговором с матерью, которая рыдала, обнимая девочек и заставляя их кланяться ему в ноги. Он вдруг сверкнул бог весть откуда взявшейся надеждой, когда, увидев Лизу, Карновский кинулся и подхватил ее со ступеньки вагона вместе с ее чемоданом...

Потом была подлая неоткровенность, притворство, уходы и приходы. Смотрины, когда каждая минута резала, как ножом, кусок не лез в горло, и Карновский проклинал себя, не смея взглянуть на Лизу. Снова приходы и уходы, нерешительность, сожаление, что он уговорил ее приехать. И стыд. И разговор с другой женщиной, веселой и циничной, которая доказывала, что глупо жениться, в то время как у него всегда под руками такой «удобный объект», как она.

Потом была ссора с Лизой, бессмысленная, потому что ничего смешного или невозможного не было в ее надежде поехать учиться в Париж. И не только бессмысленная, но ничтожная, как будто вдруг предсказавшая их будущее «совместное квартирование». Может быть, это и были минуты, когда он еще мог рассказать ей все, что он перенес, перечувствовал, передумал? Он промолчал — и она уехала, не простившись...

...Где же она? Что сталось с ней? Добралась ли она до Афин и бродит теперь по незнакомой стране, нищая, беспомощная, больная? Погибла ли в дороге?

Она уехала за несколько месяцев до бегства белых из Крыма, стало быть, не попала в кровавую суматоху это-

го бегства, о котором ходили страшные слухи. Но если бы она была жива — ведь она написала бы ему, все равно откуда: из Афин, из Константинополя, из Парижа!

Нет, все кончено! Он больше никогда не увидит ее! И все его сомнения, неуверенность, вся сознательность его ограничений встали перед ним, требуя ответа. Он кинулся перечитывать ее письма, горестные, праздничные, любящие, прямые. «Вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое Ваше неясное слово...» «Все, что происходит со мной, принадлежит Вам, и даже если Вы не принимаете этот дар — все равно принадлежит, независимо от Вашей воли и желания»...

Каким образом, когда успевал он заниматься наукой? Но ведь успевал же, подсаживаясь к столу на десять минут или вскакивая ночью, чтобы записать неведомо откуда взявшуюся мысль!

Задачу, которую знаменитый Грузинов поставил перед своим семинаром в Москве, он решил, трясясь на водовозной бочке. В городе не было воды, а он, опаздывая на занятия, попросил водовоза подбросить его к институту. Он знал об этой задаче от одного знакомого студента-москвича и в тот же день послал своему приятелю листок с решением, занимавшим четыре строчки.

Письмо, которое он через несколько дней получил от Грузинова, заставило его задуматься над возможностью переезда в Москву.

То была пора, когда во многих городах стали открываться вузы, и московские математики, впоследствии знаменитые, стали работать в Саратове, в Иваново-Вознесенске. Школа Грузинова поредела — правда, ненадолго.

Это был человек, обладавший естественным даром притяжения. Маленький, с ярко-голубыми глазами и редким сияющим белым нимбом над высоким лбом, он всегда куда-то летел, стремился, опаздывал, торопился. Простодушие странным образом соединялось в нем с любовью к интригам, к сложным, запутанным отношениям (в которых он, впрочем, отлично разбирался). Он умел ловко, почти незаметно поссорить своих врагов, а иногда и друзей. Легкость, с которой он перебрасывался от самых общих математических структур к очередной микроскопической сплетне, поражала и врагов и друзей...

Константин Павлович сначала поехал к нему в научную командировку «для усовершенствования по специальности», а потом, через год, перевелся в Москву, поступившись высоким положением профессора Политехнического института и получив при кафедре Грузинова скромное звание доцента.

Осенью 1921 года он жил в Большом Палашовском переулке, в семье, которая была ему неприятна. Хозяин, бывший владелец ломбарда, болел какой-то странной болезнью, заставлявшей его неожиданно падать. В квартире была внутренняя лестница, и он падал с нее, гремя палкой, ботами, кастрюльками, которые он зачем-то постоянно таскал по квартире. Прибегала жена, расплывшаяся, злобная, и сын, глупо хихикавший, стеснявшийся своей худобы. Они ставили старика на ноги, и он снова начинал шаркать ботами, что-то бормоча, напевая. Однажды Константин Павлович прислушался и разобрал слова воинственной старинной шансонетки:

Всех патриотов ждет награда:
Когда мы двинулись с парада,
Я с маркитанткой храбро шел,
Жену гусар под ручку вел.

Почему Константин Павлович не съезжал с квартиры — он и сам не знал. Комната была удобная, светлая.

В конце ноября хозяйка принесла ему маленькое письмо, пересланное из Казани, с иностранной маркой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.VIII.1921.

Костя, я здесь, в Константинополе! В двадцатом году поехала в Париж учиться живописи (за последнее время сделала большие успехи), но не доехала по очень простой причине: пара-ёк (по-турецки — денег нема). Кое-как живу, питаюсь (главным образом) надеждой закончить свое художественное образование. Здесь в Турции — никакого искусства, кроме мертвого, необыкновенного (Византия), но заниматься им нет ни времени, ни силы. Если получишь мое письмо, напишу подробнее. Очень хотелось бы тебя увидеть. Всех благ.

10.XI.1921. Константинополь, Чибукли.

По-старому рада твоему письму, мой далекий друг. Оно шло всего три недели, но долго лежало на почте. Я теперь живу на Босфоре: час езды на пароходе, — и в городе бываю редко. С чего же начать? Я напишу тебе короткий конспект моей истории после отъезда из Ялты.

В то лето (год забыла, как будто целая вечность прошла) я жила в квартире художника Суренянца, рядом с армянским храмом, который он расписывал по заказу богачей Гукасовых. Мы с ним очень подружились, он за-

менил мне тебя, как друга. О своей духовной жизни трудно рассказать — для этого надо взглянуть на мои работы. В сердечной жизни совершился большой перелом — разлюбила тебя. Звучит это просто и случилось просто, когда я, наконец, поняла, что «душа — увы — не выстрадает счастья, но может выстрадать себя». И стала выздоравливать. И всю страсть души отдала живописи. Но осталось в душе широкое, здоровое чувство к Волге — ты помнишь, как понимали мы с тобой «любовь к Волге»? Думаю, что ты искренне порадуешься моей свободе и вместе со мной погрустишь о прошлом. Ну, дальше!

В 1920 году познакомилась я случайно с одним греком-коммерсантом, у которого был зафрахтован свой пароход. Он обещал довезти меня до Константинополя, а потом вместе со мной поехать в Париж. Очень скоро — едва только Ялта скрылась из вида — мне стало ясно, что передо мной негодяй, ни минуты не сомневавшийся в том, что он купил меня вместе с моими холстами. Я швырнула ему деньги в лицо и в Константинополе не без труда отделалась от этого грязного прохвоста. Своих денег у меня было очень мало, хотя выговаривалось в тысячах, — в общем, их хватило лишь на два дня, когда, бегая по городу, я безуспешно искала работу. Случайно мне предложили играть на пианино в очень маленькой пивной за обед и ужин. Так я провела пять месяцев — очень трудное, хотя интересное время, о котором расскажу в следующем письме. Потом мне посчастливилось случайно встретиться с одним петроградским знакомым (другом семьи Кауфманов), который устроил меня машинисткой в морскую базу. За мизерное жалованье я работала там с полгода, бедствуя, как и прежде. К новому, 1921 году база закрылась, и я осталась без работы. Эту

осень я иногда заходила по вечерам в очень странный «Институт гармонического развития человека». Через этот институт я устроилась гувернанткой к маленькой дочери одного итальянца-архитектора. В январе же я вышла замуж — за русского (об этом тоже речь впереди). Итальянец устроил меня к бывшему хедиву Египта, где я занималась с принцессами ритмической гимнастикой и рисованием. Потом принцессы уехали в Париж, а хедив пригласил меня и мужа к себе в имение Чибукли, где мы и обретаемся с июня 1921 года. Сначала я занимала должность драгомана, а муж заведовал хозяйством, а сейчас нам обоим поручены кролики, хотя я по-прежнему считаюсь «драгоманом при королевском дворе». Это звучит громко, но оплачивается грошами. Словом, моя константинопольская история — тяжелая, но забавная: от кабака до королевских палат. Печально только то, что я почти не занимаюсь живописью, хотя вокруг все как будто создано для живописи, для искусства. Все-таки работаю. Когда доберусь до Парижа — бог весть! Не добралась еще и до византийской мозаики, о которой так мечтала в Крыму. Здесь мало русских художников, и почти никто не занимается своим делом. Среди них — Саламатов, который бедствует больше других, но держится бодро и работает много. В турецкой живописи — ничего интересного. Выставки — ничтожные и малопоучительные. Все же собираюсь кое-что выставить и я.

Ты пиши мне как можно чаще и больше! Мне очень хочется домой. Тоскую по России, но вернусь только после Парижа, когда научусь хотя бы чему-нибудь.

Замуж вышла, потому что не могла больше жить одна. Правда, муж — моложе меня (духовно и физически), но простой, честный, здоровый и нетронутый, что теперь

случается редко. В нем есть та примиренность, уравновешенность, которой мне так не хватает. По натуре он — тебе это покажется странным — человек монастырский, хотя совсем не религиозный, а в практическом отношении — сметливый и неторопливо-дельный. Намучившийся и научившийся скрывать свои страдания, не только душевные, но и физические. На войне он был ранен и потерял ногу. Я привыкла к нему, привязалась, он для меня — как младший брат, который нуждается в женской заботе. От живописи он не только далек — он не понимает, зачем мне заниматься этим ничего не обещающим делом. Пока это мне не мешает, потому что мой интерес к искусству все же вызывает с его стороны известное уважение. Живем мы в стороне от города, совсем одни, среди турок, арабов и персов, в большом парке, у самого моря. В доме — электрическая кухня и прачечная, а мы готовим на мангале, воду таскаем ведрами, и единственный признак цивилизации — примус. Выучилась плохо говорить по-турецки. По вечерам перечитываем старые русские и французские книги (на новые денег нет). Муж мой мало развит, со школьной скамьи попал на войну. Ему двадцать пять лет. Сегодня кончаю, завтра напишу снова. Посылаю фотографию моему далекому и близкому, светлому другу. Не сердись за нескладность письма — это жизнь сделала меня такой неловкой и грубой.

13.XII.21. Константинополь.

Ты пишешь, что «остальное неважно», но я-то прекрасно знаю, что для тебя важно и «остальное». Жалею ли я? Не знаю. Ведь это был шаг в неизвестность, который привлекал меня именно потому, что, шагая, я не

знала, ступлю ли я на твердую землю. И не ступила. Не земля у меня под ногами, а плот. Помнишь, у Ахматовой:

Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

Плот мой — Чибукли. После падения Крыма, когда число русских беженцев увеличилось здесь в десятки раз, стало ясно, что наша жизнь в Чибукли — это редкая, неоценимая удача.

Ты пишешь, что тебе импонирует размах всего совершающегося в России, что ты не подозревал всей грандиозности начавшегося движения. Он и мне импонировал бы, если бы я не боялась, что при таком размахе могут слететь купола с Василия Блаженного, а Врубеля могут пустить на портянки. К этому страху присоединилось острое до болезненности сознание, что я никому не нужна, а когда берусь за дело (потому что не могу жить сложа руки), все идет вкривь и вкось. . .

20.XII.21. Чибукли.

Ты хорошо поступил, Костенька, объяснив мне многое с самого начала. Нет ничего убедительнее собственного примера, и, когда ты рассказываешь о том, как тебе удалось превратить ремесленное училище в Политехнический институт, это помогает мне понять общий смысл превращений, которые, по-видимому, характерны для всего происходящего сейчас в России. Я могу, хотя и не без труда, вообразить отсутствие прежней жизни, но присутствие новой представить себе без твоей помощи положительно невозможно. То есть, вообще-то, возможно, но в подробностях, с азов — нет. Вот эти «азы» мне

и не даются! Ты пишешь, например, что в Казани был избран профессором Политехнического института, и это — понятно, хотя вообразить тебя профессором нелегко. Но то, что ты был одновременно «деканом рабфака», — это для меня загадка уже потому, что я не знаю, что такое «рабфак». Ведь мы здесь, в сущности, ничего не знаем, живем слухами, за глухой стеной. Теперь, когда наша переписка возобновилась, ты встал между мной и этими обрывками противоречивых слухов. И для меня дорого, что, «глядя через тебя», я вижу и тебя самого, в твоей, так хорошо мне знакомой, *душевной занятости,* которая стала теперь, как мне кажется, еще полнее.

Значит, Василий Блаженный стоит во всей своей красоте, и Врубеля никто не собирается пустить на портянки? И ты, действительно, думаешь, что я пригодилась бы в России с моим пансионским воспитанием, тремя курсами Бестужевки и двумя языками?

Милый мой, это — так называемая гипербола. Верю, что я *тебе* нужна. Делать из этого вывод... Что ж, может быть! До сих пор мне казалось, что я в России не просто пропаду, а постыдно, ничтожно пропаду, ничего в жизни не сделав и никому не принеся счастья.

25.XII.21. Чибукли.

Я обещала рассказать тебе о своей жизни в «brasserie». Занята я была до поздней ночи. По утрам, в перерыве, болтала на всех языках с посетителями (я быстро схватывала разговорный язык и так же быстро все перезабыла). А посетители — портовые рабочие и матросы, матросы со всех концов земли, солдаты. Преобладали итальянцы. Я пополнила свой итальянский лексикон и свободно разговаривала с ними. Турки заходили редко,

так как пивная была греческая, а между турками и греками — непримиримый антагонизм. Это был особый мир — веселый и бесшабашный, добрый и жестокий. Бывали и русские моряки — эти погрубее, но симпатичнее. Звалась я Ниná. Говорилось много пошлостей, слышала я и немало грязных предложений — главным образом от греков и французов, но пивная была «честная», хозяева заступались, и приходилось дипломатически увертываться, чтобы не отучить клиента от посещений. Вот где насмотрелась я и драм, и комедий, и фарсов, нередко с трагическим концом! Всего не перескажешь! Я ничего не читала, кроме газет, мне некогда было читать. С десяти утра до одиннадцати вечера — в шумной, красочной, беспокойной толпе. Мой питерский знакомый, о котором я тебе писала, одолжил мне денег на пастели, я стала делать портретные наброски матросов там же, в пивной, и они мне иногда недурно платили. Но я задыхалась там! Я боялась своих хозяев, они держали меня, как пансионерку, боясь за честь своей пивной, — о русских женщинах в Галате плохая слава. Меня никуда не пускали и сами почти никуда не ходили. Чтобы посмотреть Стамбул, я лгала, что нужно поехать к родным, или убегала тихонько, встречаясь на соседней улице с парижским студентом (солдатом) или итальянским художником (матросом). Как маленький ребенок, наслаждалась я этой недозволенной свободой. Чудесные были прогулки по Золотому Рогу! Никто из мужчин не мог приходить ко мне в дом, а женщин знакомых у меня тогда не было, — стало быть, я должна была видеться с немногими друзьями на глазах у всех, в пивной. На какой покатой плоскости я жила, ты поймешь из следующей истории.

Ко мне заглядывали русские: одни — надеясь спасти

меня от верной «гибели», другие — интересуясь обстановкой портового бара. Впрочем, больше всего было голодных, спившихся студентов, служивших матросами на иностранных судах. Эти приходили поговорить «по-человечески» или рассчитывая на помощь. Среди них был студент, кстати сказать, математик, работавший то матросом, то шофером. Он хорошо играл на пианино, много говорил о теософии. Я звала его в часы, когда почти никого не было, чтобы мы могли поболтать без помехи. И вот однажды он заговорил в туманных выражениях, что моя судьба может в одну ночь измениться — отъезд в Париж, например, не составит никаких затруднений. Я притворилась, что поддаюсь на соблазн, и это заставило его высказаться до конца. Дело было такое: капитан какого-то парохода, скупивший или укравший в Крыму много брильянтов, — простоватый человек, — мечтал, чтобы какая-нибудь графиня или княгиня провела ночь в его каюте. Эта роль предназначалась мне. Ночью, во время кутежа, я должна была дать ему отравленную папиросу, потом открыть дверь студенту с его приятелем и, стащив брильянты, удрать за границу. Все было условлено — час, место встречи, костюм, — и он был поражен, когда я вдруг не выдержала и расхохоталась. Так и не знаю, было ли совершено преступление. Здесь каждый день совершается так много преступлений, что о них мало и говорят.

Да, я забыла! В пивной были и политические споры, часто кончавшиеся дракой или боксом (симпатичные люди англичане: поссорятся чуть ли не насмерть, выйдут на улицу перед пивной и начинают боксировать). А полицейские (английские) стоят вокруг и спокойно наблюдают за порядком. Самые либеральные — итальянцы, точнее — триестинцы. Эти поют революционные песни,

пропагандируют большевизм — и носят в петлице значок, на котором изображен Ленин.

А Стамбул — грязный, порочный, шумный, таинственный. Толпа — пестрая, яркая, все оттенки кожи — от английской белизны до глубокого адского черно-синего тона.

Буюк — базар, огромное сводчатое здание с бесконечными закоулками, пестрые лавки в нишах, и, боже мой, чего здесь только нет! Ковры, шали, старое оружие, ситцы, шелка, сафьяновая обувь — все пестро, ярко, но не режет глаз, потому что свет проникает через верхние окна. Шуму, гаму! Каждый тянет к себе, стараясь угадать национальность, и так как в моей национальности не приходится сомневаться, я то и дело слышу: «Руська, хорошо, иди суда». Это фраза модная, и все ее знают. Продается все — сладости, смолы, запахи — искусственные и натуральные. Можно купить одну-две капли в маленьком пузырьке или в изящной коробочке из кости.

Цветы — куда ни кинешь взгляд! Цветами прикрыты корзины с фруктами и овощами, ишаки украшены акацией или золотым венчиком дыни. Даже «змеи», которые у нас мальчишки делают из газет, — яркие, пестрые, из цветной бумаги. И в глубине этого торжища, этой пестрой ярмарки — развалины древней Византии.

В Айя-Софии я еще не была, хочется, чтобы ее показали мне знатоки константинопольского искусства.

Напиши мне, какое направление принимает живопись в России. Что делает Машков? Кончаловский? Нет ли открыток с работами Альтмана, Шагала?

...И здесь есть Блок, Ахматова, но все это, к сожалению, мне не по карману. Книги мои остались в России, сюда я привезла только третий том Блока, подаренный

тобою. О смерти его не в силах писать. Он для меня больше, чем любимый поэт. Это — часть моей жизни.

Справился ли ты со своей малярией?

Пиши, жду с нетерпением, мой нежный, далекий друг.

21.III.22. Константинополь.

Получила два твоих письма от февраля и марта и была рада, что ты так далеко продвинулся в понимании и оценке живописи.

Я познакомилась с молодым талантливым художником Гордеевым (малоизвестным). Раз в неделю работаю вместе с ним. Он — симпатичный человек, очень неглупый, но бедствует, как мы все. Пишет для денег прелестные этюды Стамбула и продает их на улице (не сам), то есть занимается проституцией (по его выражению). Сейчас работаю над портретом старика суданца, высокого, тонкого, с белой бородой, в белой чалме, который сидит с утра до вечера под таким же, как он, вековым, корявым дубом, сунув свои черные ноги прямо в костер. (Он — сторож парка). Выразительнейшая фигура! Одна беда: не хочет позировать. Как только замечает мои покушения — уходит.

Что касается твоего второго письма... Мне и горько и грустно, мой дорогой! Ты, ты говоришь о любви трудной, благословенной, неудовлетворенной? Вот когда, оказывается, я вымолила ее! За тысячи верст от тебя, связанная замужеством, переломанная одиночеством, тоской по России, жалостью к мужу. Что же мне сказать тебе? Приезжай? Это невозможно! Забудь обо мне? Об этом страшно подумать...

Без конца вспоминаю я нашу последнюю встречу в Казани — и ты не поверишь: в том, что тогда произошло,

особенно чудовищным кажется мне, что мы (по моей вине) не простились. Разлука началась тогда — с Волгой, с молодостью, с тобой, самым дорогим и близким.

24.IV.22. Константинополь.

Иногда и мне хочется рассказывать тебе «старое». Помнишь, мы бродили за Новиковой дачей? Все вокруг было розовое — небо и воздух и березы, и в глубине рощи прятался молочно-розовый свет, а ты стал уверять меня, что я просто смотрю через розовые очки. Потом было то, что было, и мне очень хорошо запомнилось каждое твое слово. Может быть, потому, что в эти минуты говорила всегда только я, а ты — редко и как будто сердясь на себя.

Да, старые стихи я забыла, а новых почти не читаю. Как-то попалась книжечка берлинского издательства «Мысль» — избранные стихи Эренбурга, Есенина, Каменского. Стихи Бальмонта показались мне основанными на недоразумении. Да, стоит задуматься над эпохой — крушение или созидание? Но видеть только себя в этих безднах и взлетах — неестественно для истинного поэта.

Ты зовешь меня домой? А муж? Сможет ли он вернуться? А Париж? Здесь я пристроена кое-как — вот и буду терпеливо ждать счастья! Я тебе писала о хедиве, но ты, кажется, не получил этого письма. Он был замешан в заговоре против союзников, и ему пришлось скрыться в Турцию. Это — бесхарактерный человек, окруженный либо мошенниками, либо дураками. Я ему нравилась, он — старый ловелас, и к принцессам я была приглашена с весьма очевидной целью. Но сумела постоять за себя, и он оценил: пригласил меня вместе с мужем в Чибукли, и, кажется, скоро все управление имени-

ем перейдет в наши руки. Для меня это единственная (пока) возможность учиться.

Я обещала тебе наброски Стамбула, да никак не соберусь, весь день занята, работаю у Гордеева, он рисует меня, или ездим на этюды. Он живет в самом сердце старого Стамбула с его мечетями, пестрыми базарами, развалинами старинных бань и городских стен. Домишки деревянные, без печей, несмотря на сырые, холодные зимы. И в богатых, и в бедных домах — мангалы, которые разнятся только по красоте и удобству. Турчанки ленивы, неразвиты, целыми днями сидят на низких диванах у закрытых решетками окон (чтобы кто-нибудь, боже сохрани, не увидел их с улицы) и ведут непристойные разговоры, ничуть не стесняясь присутствия детей. Одеваться не умеют, но зато отлично умеют раздеваться, как сказал мне однажды хедив. Бедность страшная, но никто, кажется, не обращает на нее внимания.

Сейчас здесь «рамадан», то есть пост. Целый месяц правоверные не могут есть до заката солнца, курить, нюхать цветы, а уж о женщинах нечего и говорить. Грех смертный! С заходом солнца пушка возвещает час еды. Для богатых все это лишь средство превратить день в ночь — до утра открыты рестораны, ходят трамваи и пароходы. А постятся и изнуряют себя бедняки, работающие с утра до ночи.

Дорогой мой, у меня к тебе просьба, которая, может быть, покажется тебе странной. Пожалей меня! Пиши о чем вздумаешь: о художественных выставках, о своей математике. Пиши о поэзии, присылай, хоть изредка, вырезки из газет. Но не заставляй меня по ночам лежать, рядом с мужем, с открытыми глазами. Помнишь сказку Андерсена:

Ах, мой милый Аугустин!
Все прошло, все прошло.

Завтра поеду в город, зайду на почту, может, найду весточку от тебя.

Аллах смаладык, Константин-эфенди!

Твоя Лиза-ханум

28.V.22. Чибукли, Босфор.

Аркадаш джаным! (Милый друг!)

Пожалуйста, без лести по поводу моего беллетристического таланта! Пишу всегда второпях и на людях, потому что у меня отдельной комнаты нет. Вот тебе несколько набросков с натуры.

Кафе: низкие стулья — перед маленькой лавчонкой, в которую может войти только сам «кафеджи». Над дверью — огромный национальный флаг. По стенам, на полках, маленькие чашечки и лубочные картинки, среди них (тоже лубочный) — портрет Кемаль-паши. Посетители — одни, закатив глаза от удовольствия и слегка покачиваясь, тянут дым через длиннейший (метра в полтора) мундштук, другие пьют густой кофе и играют в кости и шашки.

Собаки. Ты, должно быть, знаешь из учебника географии, что в Константинополе много собак? Мало! Те, легендарные, давно свезены на пустынный остров и съели друг друга.

Цыганки бродят по городу в пестрых лоскутьях, выкрикивая свое «ми-ирэ-э-эси», что значит, как я догадываюсь, «гадаю». Ослепительны их желтые и зеленые платки и синие, красные шальвары. Не подумай, что я

изменила своей любви к русской красоте! Но как вернуться? Как?

Я уезжала из Ялты нищая, голодная, но ведь у меня была надежда добраться до Парижа, с головой уйти в живопись, доказать себе, на что я способна, — словом, не пропасть постыдно, задаром. В Ялте я была в постоянном душевном напряжении, я искала — нет, не «конечный смысл», как в восемнадцать лет, а хотя бы проблеск внутреннего оправдания. Я была не одна, рядом со мной был человек необыкновенный, понимавший, что ни для него, ни для меня нет в этой кровавой сумятице другого выхода, кроме полного отречения в поисках «вечного» в искусстве. В Ялте «грянул гром», а ведь «пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится». Здесь над моей головой — ясное небо, гром не гремит, крестись или не крестись, этого никто не заметит. В Ялте я работала с утра до вечера, а здесь к холсту и краскам надо пробиваться — замужество, хлеб насущный, хозяйство. Конечно, буду пробиваться — ты меня знаешь.

Будь так добр, напиши в Пермь моей мачехе — я не получила от нее ответа. Живы ли мои? Ведь у меня четыре года нет от них ни слова. Адрес: Пермь, Вознесенская, 92, Елене Александровне Мартыновой. Я рассчитываю в этом месяце заработать — богатый турок заказал мне портрет жены. Если удастся, пошлю в Россию посылку. Буду писать сначала для себя, а потом придется приукрашивать. Ведь нужно выписать каждое кружево, каждый волосок — иначе не будет успеха и другие не закажут.

Я учусь читать и писать по-турецки — это очень занятно. Пришли мне стихи Ахматовой, если есть новые, я ее очень люблю. О Пильняке я читала хорошие отзывы, но достать еще не удалось. И не верь тому, что пишет о

Турции Пьер Лоти. Надувательство! Здесь он имеет успех, потому что турчанкам кажется, что они похожи на его героинь.

...О, как тщательно ты исполнил мою просьбу — не писать о любви! Ты изложил мне даже теорию относительности — нарочно так сложно, чтобы я ничего не поняла? Боже мой! О прошлом можно, хоть изредка, два слова.

Твоя Лиза

Это письмо было украшено рисунком турецкой кофейни: под древней стеной были разбросаны низкие зеленые и желтые стулья. Бородатый кафеджи в полосатой кофте и широких синих штанах разливал кофе; слева и справа от овальной арки сидели посетители в халатах и красно-белых чалмах. Цветной карандаш осыпался кое-где. В рисунке была острота мгновенного впечатления, уверенность, небрежность — и талант, который сказался, может быть, в неизвестно откуда взявшемся свете, лениво озарявшем эту сцену неторопливого наслаждения.

20.V.22.

Сюда приехала Маша Снегова с отцом (прямо из Москвы, где жила последние полгода) и привезла мне старый, еще 1919 года, журнал «Изобразительное искусство», выходящий в Петербурге, Я прочитала его с изумлением. Передовая, да ведь она как будто целиком взята из какого-нибудь «левого» манифеста! «Необходимо культивировать новый угол зрения на мир — его живописно-пластическое восприятие, представляющее собою как бы хроматическую гамму цветовых ощущений». Каково! И дальше: «Нельзя поощрять то или другое на-

правление в искусстве. Допустимо и полезно лишь сопоставлять их, предоставляя каждому право свободно развиваться». Подписываюсь! Именно свободно.

Не можешь ли ты достать мне следующие номера этого журнала? Я читала его, как сказку из «Тысячи и одной ночи». Почтовые марки работы Альтмана, серебряные рубли — Сарры Лебедевой, проект народного герба — Чехонина, а печати Совнаркома — Ивана Пуни. Великолепные репродукции Штернберга, рельефы Татлина, живопись Малевича и Ольги Розановой, и все это в журнале, который издается, как напечатано на обложке, Отделом Изобразительных Искусств Народного Комиссариата Просвещения! Я прочитала отчет этого отдела. Бог ты мой! Государственные мастерские в Воронеже, Пензе, Саратове, Твери и в твоей Казани. Десять районных художественных школ в Петербурге, больше двадцати в Москве. Что же все это значит?

Этот журнал прямо противоречит тому, что я слышала до сих пор о положении искусства в России, и более всего слухам о «произволе», то есть намерении правительства направить живопись по одному, строго определенному пути. Особенно удивил меня размах: в одной Москве собираются поставить сорок памятников, и среди них — Курбе и Сезанну! Как говорится, дай бог!

И еще одно: постарайся, как это ни трудно, объяснить мне, чем ты сейчас занят в науке. Когда-то ты мечтал избавить человечество от власти слепого случая. Удалось? Я шучу, мой дорогой. Вот уже четвертый год, как Случай стал моим беспощадным властелином.

Так твоя работа напечатана в журнале Французской академии наук? Поздравляю тебя, мой дорогой. Ведь это — большой успех, не правда ли? Кто знает, может

быть, мы когда-нибудь встретимся во Франции. Ведь я не только не отказалась от своей мысли добраться до Парижа, но даже пытаюсь найти эту возможность с помощью моего хедива.

4.VIII.22. Стамбул. Чибукли.

Милый друг, мне так приятно, что ты едешь в Петроград, — мысленно я с любовью иду рядом с тобой по его улицам, захожу в комнаты, где мы встречались и где я жила, получая твои короткие и беспощадные письма. Главное между нами всегда происходило в письмах — и происходит до сих пор, как это ни странно. Напиши мне подробно о своей поездке. Удастся ли тебе разыскать Леночку Горину?

Я сейчас всецело поглощена работой, и кроме живописи ничто больше не интересует меня. Годы уходят, никогда прежде я не боялась смерти, а теперь боюсь, потому что ничего не успела. Вот почему, милый друг, я ничего не могу сообщить тебе о младотурках и Кемаль-паше. Зато могу сообщить, что на Босфоре — воздух голубой, цвета кобальта.

Неужели можно надеяться, что ты поедешь за границу? У меня плохо на душе, и я жалуюсь тебе невольно. Да больше и некому! У меня так мало женского общества. Есть две-три знакомые дамы, но это совсем не то, что мне хотелось бы. Я выросла среди женщин, у меня потребность в женской сердечности. Даже внешностью девушки или дамы я могу любоваться без конца. Мне так часто приходится быть самостоятельной, и так от этого устаешь, так хочется быть слабой, под защитой. А я делаюсь все более мужественной, грубой.

Читал ли ты в «Эпопее» воспоминания Андрея Белого о Блоке? Я прочитала — и с ужасом поняла, что раз-

училась не только чувствовать, но и думать. Это — берлинское издание, я пришлю, если оно до вас дойдет.

P. S. Так журнал «Изобразительное искусство» больше не выходит? Почему?

27.IX.22. Чибукли.

Мой родной друг, давно не была в городе и не получала твоих писем. Последнее было из Ядрина. Ты прав, я и сама легче представляю себя в Ядрине, чем в Турции. Здесь как будто не я, а мой сон, от которого, увы, никак не очнуться. С моей надеждой на Париж придется, кажется, надолго проститься. Зато этой зимой я решила серьезно штудировать Византию — зарисовывать памятники, абонироваться в иностранные библиотеки и кое-что выписать, если будут деньги. У меня к тебе просьба: если тебе встретятся книги по старинной русской иконописи, приобрети их — для себя, а потом, если будет возможность, пришли мне, от всей души буду тебе благодарна. Говорят, что, когда Матисс был в Москве, он пришел в восторг перед старой иконописью.

Может быть, ты не согласишься со мной, но я не вижу ничего мистического в Блоке. Я ведь нерелигиозна и религию искала не от религиозности, а эстетически. Так я понимаю и Блока. Разница между ним и Соловьевым заключается, по-моему, в том, что Блок воспел земную красоту с молитвенной силой, а Соловьев — божественную — с силой плоти.

Вот я как будто должна быть довольна сейчас своей жизнью: хороший, любящий муж, живу много приличней других беженцев, могу даже работать «для души», часто счастлива «Марфинькиным» счастьем. А душа — цыганка, все ищет бурь, «как будто в бурях есть покой», тол-

кает в сторону от Марфиньки, тоскует. И кто-то третий (в душе) все оценивает, взвешивает — осуждающе, строго.

Я переписываюсь с Шурой, и странное, противоречивое чувство вызывают во мне ее письма. Кто бы мог подумать, что моя хозяйственная, практичная, всегда со вкусом мечтавшая о семейной жизни Шура станет председателем какого-то женотдела, общественной деятельницей и т. д. О своей семейной жизни она пишет вскользь и в огорчивших меня «изящных» выражениях: «Мое существование украсилось рождением мальчика, маленького чуда». Но вот что поразило меня: она не только не ищет защиты в семейной жизни (как я), а как бы ставит ее вровень или даже ниже своего женотдела. Зовет меня в Симбирск. Я ответила, что охотно променяла бы Стамбул на любое село на Волге, если бы это было возможно.

Напиши мне, что такое «нэп». Практически, что изменилось в жизни? И почему ни слова о своем здоровье? Здесь многие страдают от малярии.

20.X.22. Чибукли.

Дорогой мой, если бы ты знал, как мне необходимо увидеть тебя, посоветоваться, поделиться своим горем — да, горем. Ума не приложу, как выйти из заколдованного круга, в котором оказалась по собственной вине. Напишу кратко, потому что сама еще ничего не знаю, ничего не решила. Кажется (и в этом вся беда), я полюбила художника, который (я тебе писала) работал со мной. Это человек сильной воли, упорный, и теперь к его упорству в искусстве присоединилось еще одно — то, о котором нетрудно догадаться и которому трудно противостоять.

Нас связывает многое, и прежде всего — глубокий общий интерес к искусству. Без него — не быть мне художницей, а если так — стоит ли жить?

Но я и мужа люблю, милого, бесконечно доброго, несчастного мальчика. Да, мальчика, ему двадцать шесть лет. Каждый день собираюсь сказать ему — и нет сил, хотя и знаю, что он догадывается, мучается. Как поступить?

Америка принимает участие в судьбе христиан, оказавшихся в Турции, и охотно приглашает людей искусства. Гордеев зовет меня ехать с ним. Но оставить здесь мужа, который глубоко привязан ко мне и несчастен, очень несчастен? Голова кругом, запуталась, нет тебя, и это самое страшное, потому что к тебе я, как Христос, пошла бы по морю, яко по суху. Ну, полно. Хоть выплакалась — и то полегчало! Спасибо тебе, мой дорогой, за рассказ о поездке в Лавру. А вот я здесь больше двух лет, а в Айя-Софии еще не была. Зато добралась, наконец, до мозаики Кахрие-Джами, древнего византийского храма, пострадавшего сперва от иконоборцев, а потом от турок. Делаю зарисовки, подкрашиваю их акварелью. Да разве передашь эту палитру, это контрастное соединение белых тонов с беловато-желтыми, светло-синими, сиреневыми, фиолетовыми или красно-коричневых с голубыми?

Живется нам пока недурно. Ну, а станут насильно выселять христиан — ходят такие слухи — уедем. Не принимать же мусульманство! Здесь бы с деньгами пожить! Эх — ма!

Жду твоих писем, как манны. Спасибо за фотографии.

25.X.22. Чибукли.

Добрые два часа просидела я над твоим письмом, в котором ты ответил на мой вопрос о «нэпе». Я никак не могу взять в толк, кому и чему мешают открывающиеся чуть ли не каждый день новые магазины и рестораны? «Вместе с нэпом пришла идея погони за потерянным временем», — пишешь ты. Пусть так. Но что же здесь плохого? Ведь этот «нэп» не упал с неба, а вызван какой-то необходимостью и, стало быть, обеспечен законом? Я прочитала в «Monde», что «Традиционная русская тройка возвращается на европейскую дорогу прогресса». Это хорошо или плохо? Ведь ты, кажется, считаешь, что «нэп» — это чисто русское явление?

Не поняла я и то, что «эти люди» (то есть нэпманы?) лихорадочно стараются забыть «катастрофу в собственном сознании». Словом, или я стала круглой дурой, или перемены в России можно постигнуть, только увидев их собственными глазами.

1.XI.22. Чибукли.

Милый друг, тороплюсь закончить акварель, да совершенно дело нейдет, вот и взялась за письмо к тебе вместо работы.

На днях была у доктора, серьезного старика, который меня напугал: подорвано, говорит, здоровье. Вы должны, говорит, жить растительной жизнью или, по меньшей мере, отказаться на время от всякой игры чувств и ума. Легко сказать! Зная, как жадно мне хочется жить, ты поймешь мое настроение. Как в Тартарене из Тараскона, во мне странным образом сочетались Санчо-Пансо и Дон Кихот. Первый хнычет и жалуется, а второй рвется вперед, хотя у него еще не зажили следы былых сражений. Ты догадываешься, о чем я говорю?

Найди мне где-нибудь в святцах историю Георгия Великомученика. Мой художник похож на него — византийский лик с огромными, полными тоски, глазами.

Мы едем в Америку, может быть, скоро. Греки и армяне уезжают тысячами в день, боятся, что турки их зарежут! Русских пугают большевиками. Но многие давно сменили вехи (если было что менять), а многие случайно оказались в потоке беженцев и мечтают вернуться в Россию. Словом, решено! Год-полтора в Америке, а потом в Россию, чтобы не терять времени в поисках синей птицы. Эта птица стала теперь реальностью для меня: хочу сделаться серьезным мастером в живописи. Не растерять бы только перышки по дороге!

10.XI.22. Стамбул.

Вот тебе один из моих этюдных дней. Шла по Буюк-базару, остановилась перед лавочкой торговца ватными одеялами. Словами этого зрелища не передать, а когда я попыталась «запомнить» его с помощью красок... Впрочем, по порядку. Только что я села, устроилась, как собралась толпа. Пришел полицейский и, вместо того чтобы ее разогнать, тоже стал смотреть да еще и похваливать: «Ай, руськи. Сен ресим ятур? (Красками рисуешь?) Ай, карашо». Другие продавцы возмутились — толпа загораживала их лавчонки, — начали меня гнать. Я скандалила, не уходила, и кончилось тем, что меня едва не побили.

С базара поехала я в Кахрие-Джами — и, к своему огорчению, не нашла там старого муэдзина, который за 20 пиастров позволял мне работать в мечети. На этот раз был другой, незнакомый, который стал требовать с

меня бахчиш (чаевые) в пять раз больше. У меня денег не было, и тогда он прогнал меня без церемоний. Взволнованная до слез, я отправилась в турецкое министерство искусств или что-то в этом роде — «Эвкав», где после долгого ожидания меня провели к какому-то мулле, который сидел в европейском кресле, подогнув под себя ноги. Раздосадованная, я рассказала ему про все эти «бахчиши». Он долго качал головой, причмокивая, а потом объявил, что муллы получат строгий выговор — за что, как ты думаешь? — за то, что они пускали меня в мечеть работать. В ответ на мое недоумение, возмущение — лишь прищелкиванье языком: «Ёк» — нет! Я расплакалась от злости, хлопнула дверью и ушла. Дикари! Теперь придется хлопотать через соседа, директора музеев. Я учила его детей рисовать.

Скоро выставка. Надо готовиться, а у меня все в этюдах и набросках. Ничего не удается продать, нечем и не на чем работать, хотя отказываю себе в самом необходимом. Хочется выписать книги — не могу. Просматривала ежемесячник «Новая русская книга» — у вас выходит много интересных книг. В особенности меня интересует журнал «Среди коллекционеров». Ты не можешь узнать, сколько он стоит на фунты или лиры? Вопрос риторический, но ты ведь знаешь, надежда никогда не оставляет меня. Пиши, мой милый. Спасибо за отчет о выставке. Понятно, что передвижники — уже не вчерашний день, а вчерашний век.

Чибукли. (Дата не проставлена).

Знаю, что ты милый, знаю, что ты родной и вспоминаешь обо мне сегодня, в день моего рождения. Я благодарно радуюсь и тоже нежно думаю о тебе. Мне грустно

сегодня. Годы идут, уходят силы, уже нет или очень мало той фокстерьеровской жизнерадостности, которая некогда то радовала, то сердила тебя. Сейчас валит густой пушистый снег, что бывает здесь редко, очень холодно, и сад погибает. В особенности мне жаль одно дерево — японскую магнолию с крупными, хрупкими розовыми цветами. Я только что бегала в парк, чтобы набрать последний букет, — пишу натюрморт. Но вот беда: кончились белила, а пока соберусь купить — не будет цветов.

Я вернулась к мужу. Не могла я оставаться с мужем в одном городе, перейдя с одной квартиры на другую. Гордеев взял с меня клятву, а время шло, Америка уплывала из вида: я не могла ни жить, ни работать в такой неопределенности. Да и... Откровенно говоря, не хочу я быть его женой! Едва мы остались вдвоем, как мне смешными показались мои рассуждения о том, что я не могу жить без него (как художника), что мое будущее в искусстве всецело зависит от этого союза. Возможно, что это и так, но не способна я на эту ложь во спасение. Мы по-разному многое понимаем в искусстве. Для мужа моя живопись — пустое времяпровождение, для Гордеева — дилетантство. От каждого моего несогласия с ним он взрывается, а я упряма. Мужа я убивала — это не пустые слова, — да и себя не щадила, едучи в препротивную, нагоняющую ужас Америку. С первого дня начались угрызения совести, болезненная жалость к мужу (а он у меня — настоящий раджа по благородству чувств), преувеличение своей вины перед ним и т. д. Все трое измучились нравственно и физически. Кончилось тем, что муж забрал меня к себе, как в санаторию, когда мне уже ничего не хотелось. Влюбился снова (раньше было «семейное» чувство), ходит на цыпочках, умолял простить, хотя прекрасно знает, что не он, а я пе-

ред ним виновата. С Гордеевым больше не встречаюсь. Жалею и его, казню себя, но ничем не могу помочь его горю. Что делать? Нет у меня настоящего чувства ни к тому, ни к другому.

Тебе, должно быть, наскучила моя мелодрама. Но я пользуюсь твоей просьбой писать о самом интимном. Женщина всегда нуждается в друге, а у меня его нет. Только ты...

Вчера всей компанией (Машенька Снегова с мужем и Саламатов — старый художник, с которым я познакомилась еще в Петрограде) ездили в Кахрие-Джами. Была прелестная экскурсия. Саламатов, как мальчик, спешил обо всем рассказать. Мулла, его старый знакомый, лазал по расшатанной лестнице, протирал мокрой тряпкой мозаики и фрески, и от их сказочного оживления мы трепетали и ахали от восторга внизу.

Я достала книгу Грабаря о русской иконописи. Фрески Кахрие-Джами напоминают большеглазых русских ангелов, архистратигов. Ах, скорее бы вернуться в Россию! С каким наслаждением порылась бы я в архивах! Так и вижу старенького богомаза, который, принимаясь за работу, открывает «Иконописный подлинник»: «Какова была богородица? Росту среднего, вид лица ее, как зерна пшеничного, волосы желтые, очи острые, брови наклоненные, изрядно черные, нос не краток, лицо ни кругло, ни длинно, но мало продолжено», — и т. д. А «подлинник» этот откуда? Из Византии.

Спасибо за фотографии. Ты до странности не изменился с тех пор, как мы — сто лет тому назад — виделись в Казани. Не сердись, мой милый, но в твоем лице появилось что-то от маски — или это просто напряжение перед фотографическим аппаратом?

10.I.23. Стамбул.

Ты спрашиваешь меня, Костенька, о моем «круге», с кем я близка, есть ли у меня друзья? Круга — нет и не может быть, во-первых, потому, что мы с мужем живем в Чибукли, на отлете. А во-вторых, потому, что я приехала в Константинополь до эмиграции, своей охотой, стало быть, не разделила трагедии вынужденного бегства. Это сразу сделало разницу, которая чувствуется, иногда очень болезненно, — решительно во всем. Ну вот, например, если бы не Гордеев — нечего было бы и думать о моем участии в выставке русских художников. (Я случайно узнала, что он хлопотал за меня.) Конечно, я не одна, ведь я легко схожусь с людьми. Меня полюбили в двух-трех турецких семействах, где я учила детей рисованию. Эти знакомства могли бы упрочиться, если бы я была уродлива или горбата. Увы, это не так! Русские женщины имеют успех в Стамбуле, а что касается блондинок или шатенок (к которым имеет честь принадлежать твой друг), то на них турки только что не кидаются или, по меньшей мере, смотрят опасно-бешеными глазами.

У меня есть несколько друзей — не Саламатов и не Снеговы, хотя Машеньку я люблю. Но, во-первых, у них-то как раз и есть свой круг, к которому я не принадлежу, отчасти потому, что бедна, а они — богаты. (У Машеньки отец — видный химик, который постоянно и уже много лет живет в Париже.) А во-вторых... Ну, как бы тебе объяснить? Для русских Стамбул — лабиринт. Каждый мечтает выбраться. Но как? И куда? Все — *в разное*, потому что у каждого своя жизнь. А для Снеговых, для Саламатова Стамбул — пересадка. Поезд подан, поехали дальше. Я близка здесь только с Олей Сазоновой. Она москвичка, художница, занимается миниатюрой, со-

всем молодая (ей двадцать три года) — и навсегда (так мне кажется) потрясена гибелью мужа где-то на Сиваше, в последние дни войны. Никогда не жалуется, изредка обронит два-три слова. Красива, но как-то очень уж не по-земному. Такой безнадежности, я в своей жизни еще не встречала. Она однажды сказала, что я полюбила ее от скуки и только потому, что мне удается иногда заставить ее вспомнить, что жизнь не кончена в двадцать три года.

СТАМБУЛ, 1923

Сегодня она решила остаться дома, чтобы набросать косогор с козами и каменоломней, который она каждое утро видела из своего окна в Чибукли. Турчанки в ультрамариновых платках убирали пшеничное поле на склоне. Косогор был уже другой, июльский, потерявший сходство с русским пейзажем, краски стали жестче, каменоломня погрубела, и во всем — даже в белых, рыжих и розовых козах — стало как будто меньше лазури. Но остаться дома было нельзя — и не только потому, что муж, которого вызвал к себе швейцарец, управляющий имением, мог в любую минуту вернуться, и начался бы бесконечный, утомительный, убивающий ее своей деликатностью разговор. Остаться она не могла, потому что вся надежда была теперь на Кахрие-Джами, на мозаику, на ее зарисовки — словом, на Византию.

Ехать было далеко, почти час до города, вдоль Золотого Рога, а потом еще час на трамвае. Но лучше не сокращать дорогу, как на прошлой неделе, когда, заблудившись, она попросила турчонка лет шестнадцати про-

водить ее в Кахрие-Джами, и он с очень дурными намерениями завел ее в развалины византийских стен: «Руськи, руськи, айдэ, джаным. Иди суда». Хорошо, что она оказалась сильнее, чем он.

...Босфор. Выпуклая, льющаяся вязь серебристо-жемчужных и розово-зеленых мазков. Краски, растворенные воздухом, нежные облака пара над проснувшейся рекой. Рыбаки тянут сети: «Ой, лялла, лялла!»

Накануне она получила наконец письмо из России, от Кости, и теперь дорогой думала о нем. Письмо было нежное: «Так ты думаешь, что каждому из нас задан урок, который должно выполнить до своего смертного часа?»

Новый мост, парусные суда, алые, малиновые, черные, голубые! Что за тени на просыхающих парусах! Неподвижные матросы в фесках, обмотанных цветными платками.

«Милый мой, родной дружок, — она мысленно писала ему, — так уж рада твоей весточке, ведь почти три месяца не было от тебя ни слова».

...Турчанки в длинных черных платьях, с закрытыми лицами. Кривые переулки, кладбища, разбросанные среди домов. Темные, острые линии минаретов, падающих памятников, кипарисов. Арабский орнамент?

...«Часто, часто вижу себя в Казани. Да как же я могу позволить тебе не звать меня домой? Для меня Россия теперь — это ты».

Все движется, деревья свиваются в беспорядочном беге, между ними в тесных проходах — стоянки лодок, блики воды. Моне?

«Я всплакнула сегодня над твоим письмом, хотя и рада, конечно, если ты счастлив. Ты в Ядрине и влюблен, что может быть светлее, милее?»

И снова Моне. Мелькание разноцветной толпы под косыми, размазанными лучами солнца, бегущие пятна синих и лиловых теней.

«Это покажется тебе наивным, даже нелепым, но тайная надежда, глупая надежда, что ты любишь только меня, никогда не оставляла меня. Может быть, потому, что все мои встречи с другими — это ты. И теперь, когда я спокойнее смотрю на свое прошлое, я вижу, что не было у меня большего счастья, чем наша любовь, со всеми ее унижениями и обидами — давно прощенными и даже чем-то дорогими».

Она была уже в Кахрие-Джами, слезы мешали ей приготовиться к работе, она стала искать платок, не нашла и сердито смахнула слезы рукой. Все еще смотрелось в мелькании яркого уличного света, сиянии воздуха и воды, а здесь была чистота, тишина, строгость, апостолы и пророки в медальонах, портики, под которыми, не опираясь, светло и стройно остановились святые. Что за чудо соединило этот архитектурный ландшафт, эти террасы и купола с ломающимися складками одежды, за которыми чувствовалось нервное, нежное, порывистое тело? Ей надо было добиться несуществования всего на свете, кроме работы. Но то, о чем думала она дорогой, не только не уходило, а поднималось снова и снова, пока она не заставила себя долго и холодно рассматривать сильные и светлые краски фона — она писала «Раздачу пурпура израильским девам». Тогда взялось, понеслось — и наступила наконец та блаженная пустота невиденья и неслышанья, в которой не было ничего и никого — только работа. Ни воспоминаний, ни сожалений, ни Ядрина, ни Кости, ни внезапного изумления — я в Турции? — ни бедности, ни горечи, ни голода. Впрочем, голод напомнил о себе. Она съела припахивающий

скипидаром бутерброд и вдруг полезла по шаткой лестнице, чтобы взглянуть на мозаику в косом ракурсе, не так, как она видела ее снизу. Ракурс надо было найти не выдуманный, а подлинный, то есть угадать зрение художника, построившего плоскость почвы не горизонтально, а вертикально — вот откуда это впечатление, эта бесплотность. Она пожалела, что не сделала еще два-три рисунка, прежде чем писать фигуры, и вдруг засмотрелась на одинокое эллинистическое дерево на другой мозаике, смело пересеченное скалами. Дерево было похоже на любимый ялтинский величавый платан, стоявший одиноко на набережной, хотя вокруг были магазины, театры, толпа.

С лестницы и ее работа выглядела совсем другой, стало ясно, например, что все — и линия и свет — должно стремиться к пятну пурпура в центре мозаики, а к тому пятну, которое она написала, никто и ничто не станет стремиться. И надо...

Она слезла с лестницы и стала решительно, но осторожно снимать пятно ножом.

Какие-то люди вошли в мечеть, и это было очень хорошо, потому что она рассердилась на них — позволила себе рассердиться, чтобы снова уйти с головой в работу.

Свет стал меняться почти неуловимо, не в воздухе, а в складках одежды, которую она писала, фиолетовый оттенок перешел в сиреневый, а жемчужно-серый... Это значило, что надо заняться чем-то другим. Было уже далеко за полдень, она с сожалением подумала, как мало сегодня успела, и, обернувшись, заметила, что давешние посетители стоят неподалеку и, не решаясь, может быть, подойти, смотрят на ее работу. Это была пожилая пара — он в длинном легком пиджаке и кремовых брюках, высокий, худой, седой, она — затянутая, играющая

лорнетом, в чем-то кружевном, дорогом, ниспадающем, и тоже величественно седая.

— Извините. — Он подошел поближе, заметив, что Лиза обернулась. — Мадам говорит по-английски?

Она ответила, что говорит, но плохо, и предпочитает французский, итальянский, турецкий.

— Мне хотелось выразить свое восхищение вашей работой, мадам, — на хорошем французском языке сказал он. — Это не простое копирование, но тонкая интерпретация, которой ничуть не мешает близость к оригиналу.

Лиза поблагодарила.

— Так же, как и вы, я очень интересуюсь византийской живописью, мадам. Краски Джотто кажутся мне грубыми в сравнении с этой изысканной палитрой.

Лиза ответила, что ей, к сожалению, не посчастливилось увидеть Джотто в оригинале.

— Давно ли вы занимаетесь зарисовками Кахрие-Джами, мадам?

— Скоро два года.

— О! Признаюсь, впервые я вижу такую изящную и тщательную работу. Ведь это — новость, мадам. Насколько мне известно...

2.V. Чибукли.

Кто-то сказал, что жизнь — ряд пропущенных возможностей. Как это верно! Всегда я как будто чего-то жду, сижу на полустанках, по дороге в столицу, не раскладывая вещей. А молодость проходит, да уже и прошла. Где же столица?

Вчера была на вернисаже нашей выставки. Какая скука! Я выставила две вещи, написанные темперой на мотивы мозаики Кахрие-Джами, и недовольна, злюсь,

даже плачу. Все это еще так приблизительно, бессвязно. А учиться не у кого! Гордеев, конечно, головой выше других, и, работая, я не перестаю сожалеть, что подле меня нет теперь такого неоценимого советника и друга.

Вчера на вернисаже я впервые встретилась с ним после возвращения к мужу. Оба были глубоко взволнованы. Я подала ему первая руку после нескольких секунд потери сознания. Он сел в углу на диване, наблюдая за мной. Страшно исхудал, глаза огромные, как на древней иконе, измученный и прекрасный. Меня тянуло к нему, как преступника к жертве, я подошла — и мы проговорили больше часа. Сначала было трудно, неловко, потом как-то сгладилось, он с упоением рассказывал о работе своей и моей. О прошлом — ни слова. Я слушала, точно снова была влюблена. А когда ехала домой — как будто еще раз родного похоронила.

Почему от тебя так давно ничего нет, мой милый? В последнем письме ты беспокоился за меня: «Мужчина любит в женщине себя, то есть создание своей воли и воображения». Какой же ты создал меня, дружок? Напиши, ведь, в сущности, я совсем не знаю себя. Между «знать» и «любить» — целая пропасть. И почему беспокоишься? Из-за мужа?

Большое спасибо за петербургские открытки. Я тебя ревную к Петербургу. Какой ты счастливый! И зачем все тебе одному? И Исаакий, и музеи, и белые ночи. И как досадно, что последние дни твоей поездки были испорчены приступом малярии! Кстати, говорят, что турецкие врачи лечат ее превосходно.

Да, мне смертельно хочется в Россию, но и страшно, потеряв все знакомства и связи.

А теперь новость или, если хочешь, надежда. На днях, когда я работала в Кахрие-Джами, ко мне подошла по-

чтенная пара, — как оказалось, весьма известный английский археолог с женой. Он заинтересовался моими зарисовками, поехал даже ко мне в Чибукли и в итоге предложил купить у меня несколько работ. В сущности, это почти решает вопрос о Париже, и деньги были бы уже у меня в кармане, если бы по своей глупой добросовестности я не попросила у него еще несколько дней, чтобы кое-что улучшить, исправить. Теперь тороплюсь.

Сейчас понесу письмо на почту, спущусь к Босфору — он такой голубой сейчас. И воздух и горы — голубые, и дельфины кувыркаются в голубой воде. Я всегда хочу, чтобы ты видел то же, что я, и так же, как я. Нужно кончать. Скорее пиши, мой милый друг. Если будешь в Гаспре — это так близко от меня, только море переплыть. Неужели нельзя будет повидаться? Говорят, иногда берега Турции видны с вершины Ай-Петри.

22.V.23. Чибукли.

Милый, золотой друг, где же ты? Иногда мне кажется, что ты скоро приедешь в Константинополь, и я начинаю ждать тебя, волнуюсь, не нахожу себе места. Вот ты неожиданно вошел, у нас гости, я растерялась, бросилась на шею, потом представляю как лучшего друга, приехавшего из сердца России. Начинаются расспросы, ты отвечаешь остроумно, дельно. А я жду с нетерпением, с волнением, когда же мы останемся одни наконец! Потом мы едем в Стамбул, осматриваем Кахрие-Джами и турецкие мечети, музеи, бродим по базару, переулкам, пристаням! Эх — ма!

Угнетена, унижена своей беспомощностью, своей безнадежностью женского рабства. Вчера окончательно поняла, что мне надо жить одной, что я, со своей страстью к искусству, в тягость мужу, который предпочел бы,

чтобы я бросила живопись или относилась к ней по-дилетантски. Наговорили мы друг другу резкостей, и под горячую руку я снова решила уйти от него. Но куда? Ни гроша, чтобы снять комнату, — зарисовки не кончены, а англичанин мой куда-то пропал — и нет друзей, которые могли бы приютить меня хоть на время. Заняла несколько пиастров, зашла за Олей Сазоновой, и отправились мы посидеть за кружкой пива, отвести душу. Мимо проходил Гордеев, я его сама остановила и пригласила. Говорили много, горячо. Он доказывал, что ничему нельзя научиться, копируя фрески, что для меня полезнее просто писать этюды Стамбула. Вот его соображения, над которыми я не перестаю размышлять: из византийского искусства один ход — в графику, да и то слишком сложный для меня, ученицы Добужинского, который, по его мнению, «не очень-то умел рисовать». И русская иконопись ничего не может дать современному художнику. Самое сильное в иконе — контраст: нейтральный цвет ризы, и вдруг сильные красочные удары — пятна лица и рук. Воспользоваться подобным искусством, преодолеть его — невозможно. Это — путь к неизбежной стилизации, а заниматься стилизацией не только бесполезно, но вредно. Есть и другой путь — к символизму. Тут он обрушился на Петрова-Водкина, «которому кое-что удалось не вследствие, а вопреки его иконописному направлению». Вообще говоря, любые попытки стилизаторов лишь показывают «расстояние, отделяющее современного человека от любого, даже гениального богомаза!» И он обидно заметил, что в моих зарисовках отчетливо видна «несоизмеримость между копией и оригиналом». Между тем надо не копировать, а углубиться в себя, потому что главное в живописи — непосредственность. Он убежден, что очень скоро стрем-

ление к непосредственности и человечности надолго оттеснит «фокусников и рационалистов». «И я просто не могу понять, как вы — воплощенная непосредственность — не понимаете этого и мечетесь от одного направления к другому».

Он упрекал меня в бесхарактерности, доказывал, что жизнь в искусстве — подвижничество и что для подлинного художника признание — ничто. Я видела, что он меня все еще любит. Слезы накипали, но я и не заикнулась, с каким решением приехала в город. Расстались — и я была поражена, когда Оля, провожая меня, сказала, что я сама себе не верю: «Ты все равно вернулась бы к мужу, измучившись сознанием вины».

Она поехала со мной в Чибукли и всю дорогу доказывала, что я просто не вижу Гордеева, как ничего не видят в первую минуту, выходя из темноты на свет. «Эти карие глаза с желтоватыми белками, эти черные прямые, чуть ли не конские волосы, эти тесные, без блеска, белые зубы! Да он и дороги ради тебя не перейдет!»

Я вернулась расстроенная и не спала ночь, думая о том, что прав был милый, добрый Суренянц, который говорил, что я должна жить одна, потому что в любви всегда буду жертвой. Его смерть для меня — огромная утрата. Ведь он буквально «подобрал» меня, когда я и физически и нравственно погибала. Мы вели с ним нескончаемые разговоры, мы оба чувствовали, что выигрываем у судьбы эти вечера в Ялте, отрезанной от всего мира. Айя-София, до которой за два года жизни в Константинополе я так еще и не добралась, — ведь я видела ее воочию в часы наших разговоров, древнюю, еще не изуродованную турками.

А потом это позорное лето, когда немцы заняли Ялту, и Вардгес Яковлевич учил меня *не видеть* всего размаха

этого чудовищного, уродливого хамства. Раздутые от самодовольства офицеры небрежно и важно прогуливались по набережной с дамами в необъятных шляпах. Только и слышалось: «Мóен», «Мóен», — как мурлыканье откормленных котов.

О, как хотелось мне тогда получить от тебя хоть два слова! Мы очень, очень часто говорили о тебе. Я ждала, он доказывал, что твои письма не могут дойти, что между нами не один и не два фронта. Я все-таки ждала.

А наши разговоры о цели искусства не как предмета поклонения, а как сопричастности души с высшей жизнью! Он любил цитировать Фета:

> Не жизни жаль с томительным дыханьем,
> Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
> Что просиял над целым мирозданьем
> И в ночь идет и плачет, уходя.

Вот этот огонь бессмертной души, уходящей в ночь и плачущей, уходя, я чувствую, думая о моем покойном друге.

У меня появилась маленькая надежда уехать в Париж. Хлопочу о визе. Обещан вызов, а там — будь что будет. Обнимаю тебя.

Твоя Лиза

*Здесь между письмами была вклеена слегка пожел*тевшая фотография: перед мольбертом, на котором стоял начатый картон, держа кисти в руках, сидел художник, без сомнения, Гордеев, а в центре — серьезная, причесанная на прямой пробор, в свободном, легком платье, оставлявшем голыми руки и шею, ему позировала Лиза. В том, как она держала руки, легко соединив узкие, длинные кисти, в покорности, странно противоречившей

гордому повороту головы, в линии шеи, плавно переходящей в плечи, во всем была скромная женственность — ее слабость и сила. И такая же, схваченная несколькими линиями, она была намечена на картоне.

Солнце светило в спину художника, и контур его повернутого в профиль лица был расплывчат, неясен. Что-то офицерское было в небрежности, с которой он сидел, скрестив ноги в высоких сапогах.

Москва. Большой Палашовский, 24, квартира 6.

Лизочка, родная, ты просила рассказать, какой теперь стала Ялта. Для этого необходимо было вспомнить, какой она была, — и, перелистав наше с тобой эпистолярное наследие, я наткнулся на твое «многотомное» письмо с прологом и эпилогом. Не обладая твоим беллетристическим даром, все же воспользуюсь этой, весьма удачной, как мне кажется, формой. Так вот:

ПРОЛОГ

Если прежде Ялта состояла из татар-проводников, набережной и магазинов, то надо сказать, что проводники исчезли бесследно. Набережную трудно изменить, поскольку она слагается из неба, берега и моря. Однако купальни заброшены и пустуют, мужчины и женщины, разделенные дырявым забором, купаются в чем мать родила, а потом в трусах и бюстгальтерах идут освежиться в татарский подвальчик возле Желтышевского пляжа.

ТОМ ПЕРВЫЙ

Как явление, неизвестное в прежней Ялте, следует прежде всего отметить беспрестанное постукивание, ко-

торое производят козы и местные дамы. Первые постукивают копытцами — что вполне естественно, а вторые — деревяшками. Козы, как выяснилось, были приобретены у татар в голодные двадцатый и двадцать первый годы, с неслыханной быстротой расплодились, и теперь их (коз) можно увидеть не только на полянах и заброшенных виноградниках, но и во дворах центральных улиц. Деревяшки с ремешками, вроде сандалий, остались с тех же времен. Кстати, они упоминаются в известной песенке «Ужасно шумно в доме Шнеерсона». Празднуется свадьба, и «невеста вся разоделась в пух и прах: фату мешковую надела, и деревяшки на ногах».

Другое нововведение — серьезное, и называется оно «Народный университет». Постоянного помещения у него нет, и лекции читаются в Советской трудовой школе (бывшая мужская гимназия) и в Алексеевской аудитории. Я выслушал одну, единственно из любопытства. Читал древний старичок профессор Деревицкий, и хотя он по-детски шепелявил, рассказывая о «этлусских вазах», — лекция была интересная, и слушали ее с интересом.

Кинематографы процветают, хотя «Электробиограф Дрона», по-видимому, прекратил свое существование, уступив место «Кефиру по Мечникову», которым торгует румяно-бородатый мужчина в русской рубашке навыпуск. «Одеон» действует, а в «Олимпе» гастролирует театр миниатюр «Табакерочка Полишинеля», причем каждая программа называется «понюшка» — первая, вторая, третья и т. д. Я был, кажется, на девятой «понюшке». Шла миниатюра «Шумит ночной Марсель»: «В перчатках черных дама» вошла в притон и смело приказала служанке «подать стакан вина»; потом появились старый скрипач, апаш, и под звуки танго на сцене про-

исходило то, что так волнует зрителей в романсе. Потом конферансье с большим успехом исполнил романс: «Капли испарений катятся, как слезы».

Цирк — новость, хотя бы по той причине, что на его афишах напечатано огромным красным шрифтом «Корова». Это значит, что вместе с обыкновенным билетом вручается лотерейный, и после представления разыгрываются кастрюли, чашки и, наконец, — корова, которая торжественно выводится на арену. Я выиграл пепельницу из ракушек. Среди зрителей было много татар, для которых сам цирк был новостью, не говоря уже о возможности выиграть корову.

Магазины, гостиницы и базар. Первые, как и в других городах, отличаются прежде всего тем, что раньше на вывесках аршинными буквами изображались фамилии владельцев. Теперь на первый план выступила «фамилия» товара, написанная белилами поперек витрины, а владельцы прячутся где-то в уголке, не привлекая внимания. На иных магазинах — железные ставни, но многие открыты, и торговля идет живо, хотя чебуречных, кафе и ресторанов гораздо больше, чем магазинов, — и кормят отлично.

Над одним из ресторанов висит большая вывеска «Бон аппетит», а над чувячной — грозный лев напрасно пытается разорвать чувяк. Объяснение: «Разорвешь, а не распорешь». В сапожных мастерских можно заказать коричневые остроносые туфли «джимми» — и я бы сделал это, если бы, как говорят крымчаки, у меня хватило «бошлей».

Не знаю, были ли при тебе чистильщики обуви? Теперь они встречаются на каждом шагу, называют себя (с гордостью) ассирийцами и чистят обувь пастой «функ», ароматной, как помада.

ТОМ ВТОРОЙ

У подъезда гостиницы «Ореанда» стоит бородатый швейцар в ливрее с серебряными галунами. Упитанные мужчины в хороших костюмах и дамы, одетые по последней моде, с драгоценными кольцами, брошами и серьгами, подъезжают к ней на автомобилях — многие прямо из Симферополя, — все публика, которой ничего не стоить дать вышеозначенному швейцару на чай червонец. Это и есть нэпманы, которыми ты интересовалась.

На базаре можно купить все, что угодно: свежее мясо, рыбу и птицу. С Украины везут овощи — помидоры, огурцы, капусту. Татары разносят в корзинах фрукты — черешню, клубнику, виноград. На базаре я был несколько раз.

Порт, без сомнения, очень изменился, почти пустует, а каботажная пристань, которую ты некогда так живо описала, по-видимому, осталась такой же, хотя турок на ней ты больше не увидишь. Суда по-прежнему привозят муку, фураж, цемент. Арбузы и дыни сложены в громадные, прямо-таки египетские пирамиды. Арбуз можно купить когда угодно — даже ночью. Улицы, понятно, переименованы (но ялтинцы называют их по-старому): «Дворянская» — в «Советскую», «Мееровская» — в «Володарскую», а «Кутузовская» (!) — в «Свердлова». Гостиница «Франция» называется теперь «Учан-Су», а «Метрополь» — «Парижская Коммуна».

ТОМ ТРЕТИЙ

Высокий человек лет пятидесяти, с усами и черной бородой, в толстовке с галстуком, быстро ходит по городу.

Через плечо — голубой ящик на ремне, на ящике над-

пись: «Горячие пирожки Тодорского». Время от времени он останавливается и громко кричит: «Пира-а-жки! Кура-абье!» Это — в прошлом широко известный юрист Тодорский. Курабье я не пробовал, пирожки у него покупал. Когда однажды попытался заговорить о прошлом, «заглянув за пирожки», — наткнулся на вежливую, непроницаемую, каменно-равнодушную стену — если можно так сказать о стене.

Генерал Петров. На углу набережной и Морской улицы — горшочки с цинерариями и флоксами. Есть и срезанные цветы. Продает их пожилой, с бравой выправкой человек с подстриженной ежиком седой головой. Лицо уверенное, спокойное, волевое. Это — бывший генерал от инфантерии Петров, отказавшийся (по слухам) служить в Красной Армии, несмотря на самые лестные предложения. Мы с ним много говорили, однако преимущественно о местных делах. Говорят, в Ялту приезжает какой-то известный режиссер, который будет ставить картину «Не пойман — не вор». Не пробовал ли я счастья в «рулетке» Тутебадзе — в последнее время играют крупно, в особенности какая-то приезжая, скромно одетая пожилая дама. Был ли я на диспуте «Есть ли бог?», в котором участвовал сам митрополит Введенский? Но когда я спросил его: видел ли он «Приключения мистера Веста в стране большевиков»? — он иронически улыбнулся и заметил, что уход за цветами мешает ему, к сожалению, посещать кинотеатры.

Все это осколки империи... Среди них есть несколько сумасшедших, о которых мне не хочется писать, потому что они как-то оскорбляют впечатление от милой Ялты с ее узкими крутыми улочками, с ее увитыми глициниями домами, с изящными железными калиточками в стенах из

серого камня — той Ялты, которую ты любишь, а я полюбил.

Кстати, величественный старый платан по-прежнему стоит на набережной, опровергая пушкинскую мысль о «равнодушной» природе. Он как раз удивительно неравнодушен. Мне показалось, что он обладает способностью памяти и, может быть, когда-нибудь расскажет потрясенному человечеству историю Ялты — от генуэзцев до борьбы за Крым.

Теперь о твоем учителе и друге Вардгесе Яковлевиче Суренянце. Один местный старожил рассказал мне, что его хоронила вся интеллигенция Крыма. Прощальное слово говорил знаменитый артист Ваграм Папазян. Сохранился будто бы даже рисунок какого-то художника, изображающий эту печальную торжественную процессию. Вообрази же мое удивление, когда оказалось, что этот старожил не мог показать мне, даже приблизительно, где находится могила Суренянца: где-то рядом с армянской церковью, которую он расписывал? Он заведовал (в 1921 году) отделом в Союзе работников изобразительных искусств и жил в доме доктора Фаворского. Я пытался найти людей, знавших его, но увы... Поиски мои внезапно оборвались. Вернувшись из экскурсии в Никитский сад, я заболел малярией...

(Письмо не закончено и не отправлено. Без даты)

29.V.23. Чибукли.

Я часто сознаю, что нет у меня другого бога, кроме живописи, что все другие стремления мои, в сущности, низменны. Эта мысль мешает мне, унижает меня. Хорошо я поступаю, кажется, только для других, боясь, чтобы

меня не приняли за эгоистку или просто за дуру. Теперь я стала чаще сознаваться в этом (перед собой, ведь ты — далеко) — и это почему-то помогает мне работать лучше, чем прежде. Может быть, это и есть «бог» или «рука», которая ведет меня — не знаю, к совершенству ли, но уж во всяком случае в сторону от идолопоклонства. Это выглядит смешно — не правда ли? — отказываться от признания, которого нет, и от благополучия без гроша в кармане. Не знаю, прав ли Гордеев, доказывая бесполезность моего увлечения Византией, но он прав в другом, более важном: если не воспитать в себе готовности к самоотречению, к подвижничеству, — не стоит и браться за дело. В искусстве есть свои «brasseries», у которых вполне добропорядочные хозяева, и нет ничего проще, как работать в такой «brasserie», потихоньку греша и прилично зарабатывая на жизнь. Вот я, бездомная, нищая и, в сущности, совершенно одна, но я знаю, что все это — *до* холстов, которые я еще напишу. А когда начнутся холсты — все пригодится, и даже то, к чему присуждена душа, как присуждена она к разлуке с тобой.

Тебя, должно быть удивляют мои нравственно-философские размышления? Но душа как-то сама «на солнышке» зреет. Хрупкое растение, и ох как трудно вырастить его одной, без тебя!

Вот так-то, мой друг. Гордеев на днях едет в Париж. Ему повезло, он получил визу. Но он — бывший офицер русского корпуса, воевавшего с немцами в составе французской армии. Может быть, мы с ним там встретимся. Было бы хорошо... Написала и подумала: хорошо ли?

Ради всего святого, ответь мне. Я не могу больше ждать, беспокоюсь и думаю о тебе беспрестанно. Здо-

ров ли ты? Где ты? Почему такое бесконечное молчание? Прикладываю 50 пиастров на марки — может быть, у тебя так осложнилось материальное положение?

5.VI.23.

«Греховодник отче Константине! На женску красу не зри, ибо та краса сладит сперва, а после бывает полыни горше. Не возводи на нее очей своих, да не погибнешь. Беги от красоты женской, как Ной от потопа, как Лот от Содома. Ибо кто есть жена? Сеть, сотворенная бесом, сатанинский праздник, покоище змеиное, болезнь безысцеленная, коза неистовая, ветер северный, день ненастный. Лучше лихорадкой болеть, нежели женой обладаему быть: лихорадка потрясет да отпустит, а жена до смерти иссушит. Кротима — высится, биема — бесится. Всякого зла злее жена».

Все вышеизложенное прописано тебе в назидание. А то, вижу, твоя блондинка совсем тебя полонила...

Я уезжаю числа восемнадцатого в Париж. На днях получаю визу, а теперь целые дни работаю, заканчиваю Кахрие-Джами. Наконец-то на новые позиции! Пиши мне туда — пока на Гордеева (103, Rue de Rennes Paris VI, для меня). Но на всякий случай и сюда, может быть, задержусь и буду волноваться, не получая твоего ответа. Пиши же скорее! Твой маленький друг Лиза. (В объеме! Похудела ужасно!)

10.VII.23. Чибукли.

Ты спрашиваешь, что меня удерживает? Нет, не муж. Мы спокойно решили разойтись. Облегчает разлуку и то, что он начал кем-то увлекаться, да и очень занят работой по имению хедива. Он — человек деловой, твердо

решил разбогатеть, и я убеждена, что когда-нибудь он достигнет цели. Тихий, медлительный, но цепкий, своего не упустит и видит его даже там, где другие ничего не видят. Ко мне он переменился в том отношении, что я ему теперь не очень нужна и даже, со своим сумасбродным характером, немного мешаю.

Я, конечно, очень хочу уехать в Париж, но как-то страшно сейчас, перед зимой, без гроша, без обуви и одежды. Спасибо, мой дорогой, за твое намерение мне помочь. Может быть, и в самом деле ты мог бы найти кого-нибудь в Париже, кто ссудил бы мне небольшую сумму или устроил на работу? Беда в том, что я все забыла — машинку, математику и т. п. Есть у меня еще надежда на хедива. Он сейчас в Париже. Хочу попросить у него взаймы года на два. Это сложно, потому что я нравлюсь ему, о чем не должна догадываться его ревнивая метресса. Иными словами, надо говорить с ним так, чтобы он не посмел сделать обидного предложения, потому что в таких случаях у меня все летит вверх тормашками. Видишь, какой талант Шехеразады мне нужен! Когда я учила принцесс, он приглашал меня постоянно в сопровождении негров на женскую половину, и мы вели наедине бесконечные разговоры. Боясь, что он начнет за мной ухаживать, я длинно рассуждала о политике, в которой ничего не понимаю, и пугала его романтическими похождениями русских женщин в Стамбуле. Впрочем, его не очень-то испугаешь! Тогда все кончилось благополучно. Теперь — сложнее. Мне надо увлечь его живописью, которой он нисколько не интересуется. Удастся ли? Кто знает. Нет, судьба моя странная. Где мне удается, я не беру, а где трудно — лезу на рожон. А хочется мне, как ты, наверное, догадываешься, написать портрет не хедива, а твой.

Да, у меня были и будут упадки настроения, и не брани меня за них. Я женщина, одной мне трудно, нужна крепкая дружеская рука, нужна ласка. Живу «рефлексами», как ты однажды выразился. Одни говорят, что я — Дон Кихот, другие — что я не прилаживаюсь к жизни, а жизнь стараюсь приладить к себе. Практический мир я, в сущности, не знаю. То, что всем легко, мне дорого достается. Вот и сейчас многие просто получают помощь от Красного Креста на отъезд в Америку. Правда, до сих пор я не пользовалась благотворительностью. Но когда я собралась, мне отказали — и как-то очень обидно.

Конечно, я не обвиняю этот самый Красный Крест, все благо, что сделано для русских, но мне известны случаи, когда те, кто помогал нуждающимся, встречал в ответ лишь ложь и воровство. Так что обида не личная, а все же больше я никуда не хочу обращаться.

Пиши, миленький.

20.VII.23.

Все еще на старых позициях! Но уже с визой и билетом в кармане. Очень трудно без денег. Случайно продала кое-что из «Византий». Муж взял в долг, чтобы помочь мне, и вот почти без гроша — в Париж!.. «Царство небесное берется силой». И оттуда же: «Будьте как птицы небесные».

Много дела, еду сегодня в Кахрие-Джами, кое-что надо проверить. Ищу покупателей. Хлопочу о письмах к Шарлю Дилю и другим известным французским византинистам.

Случается, что, расставаясь, тайно чувствуешь, что любые уверения: «Бог даст, еще увидимся» и т. д. — звучат безжизненно, пусто. Так было у нас с милой, став-

шей мне близкой Олей Сазоновой. Условились писать, поплакали, а потом она сказала, что для нее — времени нет. То, что однажды с нею случилось, уже никогда и ни при каких обстоятельствах не повторится: «Мы встретились — и слава богу! И не нужно себя обманывать, что встретимся снова. Разве что в день воскресения мертвых». Она верит, что с покойным мужем встретится в этот день. Я передала ей все мои уроки рисования в турецких семействах и отговорила, на прощанье, идти работать тапершей в кино. Беру с собой несколько ее миниатюр — превосходных. Авось удастся продать в Париже.

В детстве, когда уезжали с дачи, тоже было много дела: нужно было перецеловать все любимые деревья, посидеть в каждом заветном уголке. И Стамбул с его дикостью, с его поэзией, с его ленивой чувственностью, с его бестолковой, разноцветной жизнью я покидаю не без сожаления. Я легко забываю языки, а с языком теряешь душу народа. Как ни странно, но я была здесь не только несчастна, но и счастлива. С тех пор, как мы расстались, мне иногда трудно бывает отличить одно от другого. Как хотелось бы мне вернуться сюда с тобою! Были бы деньги, я не торопилась бы с отъездом, тем более что еще не закончила Кахрие-Джами. Но вот что важно: мой англичанин не только нашелся, но предложил мне издать в Лондоне альбом моих зарисовок. Это, конечно, журавль в небе, но ведь без надежды не проживешь? А пока, вместо того чтобы воспользоваться ясными днями для Кахрие-Джами, я вынуждена писать для продажи. Но об этом немного подробнее. Союзники ушли второго, а шестого, в день возвращения турецкой армии, Константинополь украсился арками, флагами, цветами. Перед выстроившимися войсками резали овец. Язычни-

ки! А заодно, по-видимому, собрались резать всех армян и греков, а при случае и русских. Пока дело обошлось массовыми арестами, но резня висит в воздухе, одной на улицах показываться опасно. Ты спросишь — при чем здесь мои материальные дела? А вот при чем: в Константинополе содраны все вывески на иностранных языках. Надо писать новые, по-турецки. Впервые на моей памяти спрос в живописи превысил предложение. Пишу и я. Ну что ж! Те же натюрморты, только с фамилией, а то и с портретом хозяина. Новый жанр! Впрочем, не такой уж и новый, если вспомнить о Тулуз-Лотреке.

Сегодня и у нас в имении была «революция». Рабочие требовали прибавки, и наш директор-швейцарец не уступал, скрывая от хедива истинное положение дел. Дрянь ужасная, эгоист и дурак.

Целую нежно. «Гюль-гюль» — улыбнись! Так, прощаясь, говорят турки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

14. X. 23.

Милый друг, я уже четыре дня в Париже. Еще нигде не была, потому что сразу же нашлась срочная работа по росписи кабаре. За десять дней — шестьсот франков, то есть целый месяц сносного существования. Живу, стало быть, двумя чувствами: недостойным — наживы и достойным — надежды. Работаю с утра до поздней ночи. Пишу тебе в постели. Пока всех благ.

Твоя Лиза

20. X. 23. Париж.

Терпение, мой друг. Зато получишь длинное письмо. Я намеренно пользуюсь телеграфным слогом, чтобы не увлекаться. Впрочем, я еще почти ничего не видела. Пока дела идут хорошо. До скорого письма. Дивно красив Париж и адски интересен!

2. XI. 23. Париж.

Наконец-то собралась я написать моему дорогому другу!

Выехала из Стамбула, продав кое-что из своей «Византии». Шли прямым рейсом без заходов до Марселя. Билет у меня был палубный, началась качка, потом шторм. Я промокла до нитки, мерзла отчаянно, и все мои вещи промокли — волны захлестывали палатку, в которой я ночевала. Измучилась до полусмерти, до сих пор не могу оправиться, исхудала ужасно и серьезно опасаюсь за свои легкие. Под тем же ледяным ветром, под дождем пополам со снегом добралась до поезда в Марселе и утром была в Париже. Нашла Гордеева в крошечной комнате на седьмом этаже с окнами на Монпарнас. Доехала до него в метро (подземная железная дорога). Он уступил мне комнату, сам перебрался к товарищу, и я пролежала два дня без сил, спускаясь только к обеду. Потом разыскала хедива, которого застала с метреской накануне отъезда на юг Франции, где он собирается провести зиму. Подарила ему две акварели чибуклийского парка, за что получила 300 франков — на пальто, как мне намекнула метреска. И действительно, в Стамбуле, где много нищих, мой балахон не производил такого сильного впечатления, как в Париже. После подобной любезности я не решилась, разумеется, попросить

у хедива 25 тысяч франков взаймы на два года, как было решено в Стамбуле. Бог с ним!

Потом расписывала кабаре в стиле Ватто по эскизам Гордеева — тяжелая работа! Кабаре ночное, шикарное, на Place Pigalle, открывается в полночь — наслушалась я тут об этих кабаре! Когда мы заканчивали, Гордеев сжалился надо мной и отпустил на полдня в Лувр. Ну что рассказать о нем? Я бродила по бесконечным залам, замирая от восторга, что я — в Лувре, и останавливаясь лишь по вдохновению. Но вот наткнулась на Леонардо и Рафаэля. Перед первым захватило дух, а перед вторым меня физически затрясло, и я долго не могла унять морозной внутренней дрожи. А Джоконду не заметила, может быть, потому, что день был пасмурный, совсем петроградский. И представь себе, даже этот молниеносный взгляд «с высоты Эйфелевой башни» (которую я еще не видела) придал мне много радости и силы — так смертельно, так остро захотелось работать!

Была несколько раз в знаменитой «Ротонде» и не нашла ничегошеньки интересного. Разношерстная публика сидит в духоте, тесноте и шуме деловых и неделовых разговоров. После чибуклийской тишины этот ад меня ошеломляет. Я предпочитаю проводить вечера дома.

С мужем мы расстались нежно. Решили испытать судьбу, но я уже о нем тоскую и хочу выписать сюда, если у него нет других планов. Боюсь только, что оттолкнет его моя неустроенная, богемная жизнь. Да и Гордеев — большая помеха. Между нами — дружба, но прошлое еще слишком близко. Он станет ревновать, хотя сейчас увлечен другой, так что ревную я, главным образом потому, что эта женщина — художница (из Швейцарии) и моложе меня. Характер у него бешеный, невыносимый даже и

в дружбе, не говоря уже о семейной жизни. Но все же мы дороги друг другу. Хоть бы он женился поскорее! Ах, как надоели драмы!

26/27. XI. 23. Париж.

Ты жалуешься, что я мало рассказываю тебе о Париже. Так вот же тебе день св. Екатерины, о которой мне известно только одно: она была покровительницей старых дев. Но празднуют этот день «катринетки», то есть отнюдь не старые, а молодые девы.

В полдень, после завтрака (на работе), все продавщицы модных (и немодных) магазинов, швеи и модистки высыпают на улицы и бульвары, а за ними, разумеется, весь Париж. Одеты они в фантастические цветные костюмы, одни едут в такси, размахивая трещотками, палками и бумажными лентами, «тещиными языками», другие проталкиваются, хохоча и распевая, по тротуарам. Мужчины не зевают, ни одна хорошенькая катринетка не останется без поцелуя, вырывается, визжит — и довольна. Все — друзья, все знакомы.

Часам к трем начинается новое шествие — студенты в халатах, с нарисованными рожами, в цветных цилиндрах, котелках и кепи, выходят из Латинского квартала и присоединяются к катринеткам. Многие в этот день наряжают детей в разноцветные костюмы, даже на младенце в колясочке можно увидеть цветной колпак. На улицах продаются дешевые салаты, засахаренные каштаны, искусственный флёрдоранж. А вечером, после восьми, начинаются балы, танцуют чарльстон, тустеп, танго и выдают призы за самые оригинальные костюмы.

И вместе с тем Париж задумчив, печален. Война кончилась пять лет назад, но для многих она еще продол-

жается. В редкой семье не было потерь, и они не забыты. Не редкость и до сих пор встретить молодую женщину в трауре по мужу, погибшему на Марне или под Верденом. А сколько инвалидов, сирот, обездоленных матерей! Как часто и в праздничные дни видишь в окне бледное, скорбное лицо, выглядывающее из-за отогнутой занавески.

Не помню, писала ли я тебе, что начала ходить в Академию — это лишь громкое название самых обыкновенных мастерских. Приходишь, платишь за сеанс — и нагая натура к вашим услугам.

Ты спрашиваешь, как я получила визу. Очень просто: Гордеев достал мне фиктивный контракт, что я принята на работу ретушером. Не устроить ли мне тебя в Сорбонну? Ах, милый, как грустно шутить!

11. XII. 23.

Время летит, как метеор, не успеваешь оглядываться. Спасибо, мой дорогой, за ласковое письмо, за твои заботы. Гордеев опять взял меня в помощницы — роспись нового ресторана, на этот раз в японском стиле, клеевой краской. Благодарю небеса, что не сделалась его женой. Ты знаешь, я люблю природу, но не в таком диком, казацком воплощении.

Снова была в Лувре и, путешествуя из столетия в столетие, думала о том, что подлинное искусство всегда опиралось на нравственную необходимость и, стало быть, строилось по законам внутренней жизни. Почему художники всех направлений вот уже четыре столетия ищут (и находят) все новые тайны в Рембрандте? Если мы с тобой когда-нибудь увидимся (не перестаю надеяться) в Париже, я поведу тебя в Лувр, прямехонько к его авто-

портрету, с кистями и палитрой (1660 года) — к старому человеку, у которого очень хочется спросить, как ему удалось довести цвет до такой сложности, что человеческий глаз не в силах уловить всю бесчисленность переходов. Как он добился того, что на каждом сантиметре холста происходит медленное, но непрерывное изменение тончайших полутонов? И самое главное — каким образом этот мерцающий цвет передает историю его жизни, его страданий, которые так близко касаются нас, точно они были нашими разочарованиями, нашими надеждами и страстями?

Едва ли в Академии, о которой я тебе писала, найду ответ на этот вопрос. Мне нужен учитель — не Гордеев, который в Стамбуле горячо доказывал, что для подлинного художника нет ничего опасней стилизации, потому что она, как «царская водка», вытравляет искусство, и который сам энергично занялся стилизацией в Париже. И было бы еще полбеды, если бы он относился к этому занятию должным образом, то есть с материальных позиций. Но он работает с увлечением, совершенствуется быстро, и ему ничего не стоит перейти от Ватто к Хокусаи. А для меня эта ресторанная работа на заказ — мучительна, унизительна. Пишу для себя только в редкие свободные дни, и, странно сказать, именно эти полуголодные дни украшают мое существование.

И неправ был Гордеев, утверждая, что мне ничего не дала моя «Византия». Она помогла и помогает понять смысл единства, стиль, неразрывный строй картины. Не знаю, удастся ли мне добраться до него в собственной работе, но я вижу его (или его отсутствие) у других, а это важно, это очень важно!

Что такое Камерный театр? Встретила здесь молодую норвежку, которая в восторге от Камерного театра,

хотя ничего не понимает по-русски. Целую, целую. Что такое Вхутемас?

Пиши, дорогой, я буду отвечать аккуратно. Очень рада, что ты так подробно рассказал мне о своей Наде. По описанию она мне очень понравилась, передай ей мой привет.

28. XII. 23. Париж.

Мой родной, нежный друг, получила два твоих письма, одно — с упреками, а другое — о Камерном театре. Лежу в постели, грипп, ужасная погода. После юга мне здесь трудно, я не привыкла кутаться и бояться простуды, а в Париже она подстерегает на каждом шагу. Трудно жить на седьмом этаже, в поднебесье, в маленькой комнатке: воздух прокопчен, а я люблю дышать всей грудью, без запрета.

Когда-то, в молодости, ты говорил мне, что занялся математикой как могучим средством для избавления человечества от власти случая. А вот я, не надеясь на твою математику, молю господа бога, чтобы эта слепая власть вдруг взяла да и перенесла тебя ко мне в Париж. Неужели в самом деле есть надежда?

Если необходим «вызов», то есть формальность, без которой нельзя получить визу, я сделаю все, что могу. Так я устроила вызов мужу: хозяин ресторана, который мы расписывали, — брат консула в Стамбуле. Он дал мне письмо, и Алексей не только получает визу, но и половинную скидку за проезд. Напиши, что нужно разузнать и сделать, я не пожалею ни времени, ни сил...

Теперь о салонах, как ты просил: они отживают. Когда-то они были бродилом, дрожжами всех жизненных сил современного искусства. Сейчас это — собрание

«спутников», из которых состоит интернациональный художественный пролетариат Парижа. Светила, как правило, выставляются отдельно: вот и сейчас общее внимание привлекают выставки Пикассо, Дерена, Брака, Матисса. И они заняты поисками еще нетронутых «источников» в прошлом, но у них эти поиски не приводят к почти полному уничтожению техники. Другие — подавляющее большинство — заменяют ее с большим или меньшим успехом либо мозаикой, либо матовой поверхностью фрески, а то и керамическим барельефом с цветной поливой, подчас толщиной в два сантиметра. Прибавь к этому, что просмотреть эти четыре-пять тысяч полотен впору, лишь воспользовавшись велосипедом, и ты поймешь, что представляют собой парижские салоны. Занятнее, по-моему, уличные выставки. В этом году на Монпарнасе художники устроили такой «Marché aux navets», маленький рынок, где торговали своими вещами. Были недурные работы, продававшиеся за бесценок.

Кстати, не подумай, что я исключаю себя из числа ищущих «новое» в прошлом. Но когда я встречаю среди множества имитаций и подражаний отзвуки моей «Византии», мне хочется закричать: «Держи вора!» Ведь Византия не была для меня только школой. Я искала «свое». А эти «новаторы» ничего не ищут. Они просто не могут жить без подделки, без кражи.

А это «свое»... Боже мой, чего только нет в этом «своем»! Мне кажется, например, что я стала художницей задолго до той минуты, когда взяла в руки карандаш или кисть.

Это было в Симбирске, летним вечером на берегу Волги. Я сидела на скамейке с книгой в руках, и вдруг страница волшебно порозовела. Я подняла глаза. Это был закат, но не огненно-красный, сплавляющий все в

один напряженный цвет, а кроткий, как бы позволявший каждому цвету зазвучать отдельно. Я увидела белые, синие, голубые, фисташковые дома, зеленую траву, пламенный, круто взлетающий склон, береговую сторожку с лиловым, остановившимся дымом. Никогда не забуду этого мгновенья, к которому потом прибавился — уже как будто во сне — последний зеленый луч заката, проскользнувший в реке.

Как ни странно, именно это впечатление неизменно вспоминается мне, когда заходит спор о том, различны ли цели природы и искусства.

Кандинский, например, считает, что эти цели «существенно и мирозаконно различны — и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны». Не могу с ним согласиться. Мир сам по себе — картина, и тот, кто обладает редким даром живописного видения этого мира, и есть художник. Все, что он знает об искусстве прошлого, все, что он пережил, глубина его мысли, острота чувств — все подсознательное, иногда им самим не разгаданное — все переходит на полотно.

Кончаю. Ломит виски. Должно быть, жар. Гарсон ждет, чтобы отправить письмо. Целую, целую. Привет Наде.

29. XII. 23. Париж.

Писала тебе вчера с высокой температурой и головной болью. Сегодня мне лучше. Это — просто грипп. Рада была получить твое «театральное» письмо — и смертельно позавидовала твоей поездке в Питер. Местные газеты пишут о нем много горестного — упадок, разрушение и т. д. Вот ты только что оттуда — напиши, правда ли это? Неужели так изменился его прежний величавый про-

филь? Прошлое тянет, и даже Париж не в силах заслонить милые воспоминания. О, как мне не хватает тебя! Когда я брожу по Парижу, неизменно одна, все думается — об этом надо написать Костику, не забыть. А потом, в сутолоке, забываешь. Почему-то я вижу тебя рядом со мной на Place de la Concorde, в дождь, когда в мокрых панелях отражаются электрические огни, а контуры дворцов как будто вырезаны из черной бумаги. На улицах разноцветные огни смешиваются с каким-то странным светом вечернего воздуха, фантастически окрашены лица прохожих, деревья бульваров.

Особенно хорошо перед праздником — все знакомы, как в арлекинаде, целуются, обнимаются. Впрочем, здесь это принято и в будние дни. Французы — веселый народ. Вот на бульваре под большим садовым зонтиком три скрипача и гармонист наигрывают без конца все тот же мотив. В чем дело? Продают ноты и тут же обучают всех желающих новой песенке, а желающих много, толпа! Свернешь в переулок, а там тебя останавливают совсем другие звуки — слепую женщину ведет другая, и они тихими, нежными голосами поют молитвы и собирают медяки. Нищие? Должно быть, так было и в двенадцатом веке.

Я не бываю ни в театрах, ни в концертах — ни времени, ни денег, ни компании. Мои художники предпочитают «Ротонду» и кино, где они могут целоваться со своими девочками. Вот теперь мечтаю увидеться с мужем. Мы с ним тоже неровня, но в наших отношениях я всегда находила радость учить его любить то, что любишь сама.

Завтра встану, надо работать, но не буду выходить. Заглянул Гордеев. Ты пишешь, что едва ли я могу рассчитывать на дружбу между нами. Почему же? Мы живем в разных концах города и видимся только на работе.

Плохо только, что я неосторожно посоветовала ему жениться на его швейцарке — и он немедленно стал добиваться прежней близости между нами, чего я не хочу и боюсь. Здесь, на свободе, я присмотрелась к нему и поняла, что мне глубоко чужда его необузданность, его физиологическая, темная страсть. У него есть хорошие черты. Он прямодушен, смел, если увлекается, так уж напропалую. Но область чувств осталась неразвитой у него, — должно быть, он таким же был и в восемнадцать лет. Не думаю, что в его жизни была хоть одна минута, когда он задумался бы над собой. Все кажется ему ясным, а все неясное он попросту отбрасывает, как не стоящее внимания. Он не сметлив, с заказчиками резок, не умеет устраивать свои дела и в этом отношении противоположность Алексею. Поэтому он никогда не добьется богатства, о котором мечтает. Для этого нужен по меньшей мере талант, а он у него — из вторых рук, его работы всегда кого-то или что-то напоминают.

...Я очень несчастлива, очень: разучилась любить, как любила тебя, без оглядки, без страха. Меня гипнотизирует жалость, я уступаю и начинаю верить, что люблю. Но ты-то знаешь, мой дорогой, кого я люблю!

Меня прерывают... Господи, неужели я снова увижу тебя? Если приедешь, привези мне русскую, деревенскую шаль, белую, с яркими цветами. Можно недорого купить где-нибудь на ярмарке. Обнимаю. Пиши, не жди письма. Как прошел дебют Нади? Передай ей привет.

29. II. 24. Париж.

Спасибо тебе, мой дорогой, за письмо из Петербурга. Не думала я, что когда-нибудь с таким волнением стану рассматривать простой почтовый штемпель! Как под вол-

шебным фонарем вспыхнул зимний Михайловский сад, мы — замерзшие, веселые, я толкаю тебя в сугроб и забрасываю твою шапку. Возвращение из Академии и острое чувство любви к тебе, вечером, подле Исаакия, у матовых, заиндевелых колонн. Черт знает, как было хорошо! Ну ладно! Мне уже скоро тридцать, у меня шесть (!) седых волос...

Ты удивляешься моему «религиозному» настроению. Не знаю, сумею ли я рассказать тебе о нем логично и стройно, для этого необходимо время, а у меня его нет. Для меня нет разницы между творческим и нравственным отношением к жизни, и это вовсе не бесплотное, а, напротив, самое практическое отношение, потому что в нем-то и заложено требование внутренней жизни произведения. Не церковные догматы необходимы мне, а та свобода, которую открыл в себе голодный, бездомный Ван Гог.

Добраться до этого чувства мешает мне не только неустроенная, бродячая жизнь, а невозможность или неумение превратить ее в искусство, как это удалось ему. Эта невозможность связана с неполнотой «божественного» в моей работе, с отсутствием священности призвания. Надо «помнить себя», стало быть — верить.

15. IV. 24. Париж.

Дорогой мой, вызов получить трудно, но все же возможно, при условии, что ты будешь вне Советской России — в Латвии, Польше и т. д. Может быть, теперь станет легче — после того, как в парламенте прошло левое большинство. Вызов разрешают родственникам — придется тебе все-таки со мной породниться. Напиши скорее — собираешься ли? Хлопотать ли?

Ты находишь, что мое «религиозное умонастроение» противоречит моим планам? Нисколько. Напротив, цель моих планов должна согласоваться с ним.

Я намеренно подхожу к вопросу с «практической» стороны, которая ближе для тебя как человека, настроенного материалистически. Мне хотелось бы подойти со всех сторон, но для меня пока это трудно: на стенке у меня висит расписание, которое относится главным образом к духовной жизни («помнить себя») и которое никогда не было выполнено даже наполовину. Практичность уже успела меня соблазнить, я разучилась верить. Между тем жить без высшего осознания жизни, ограничиваясь одной любознательностью, невозможно. Необходимо духовное творчество.

Не помню, где я прочитала поразившую меня старинную французскую легенду «Плясун божьей матери». Некий плясун и акробат, утомленный мирской суетой, удалился в монастырь. Он не умел ни читать, ни писать, ни молиться и очень боялся, что игумен, узнав об этом, выгонит его из монастыря. Спустившись в подземелье, он увидел икону богоматери, освещенную лампадой, и решил услужить ей своим искусством. Со слезами начал он выделывать свои новые искусные номера: он крутился колесом, ходил на руках, плясал, пел и подражал хрюканью свиньи и лаю собаки. И когда он упал на землю без сил, богоматерь сошла с иконы и отерла его лоб своим покрывалом.

Ты догадываешься, почему так тронула меня эта легенда? В сущности, у меня нет ничего, кроме живописи, и мне смертельно хочется отдать ее не за мясо и зелень (которые, кстати, становятся все дороже), а за право сказать себе, что я не могу иначе. Это выглядит смешно, если вспомнить, что у меня еще не было в Париже и трех-

четырех дней для своей, не чужой работы. Но если мне удастся, кончив работу у Гордеева, устроиться самостоятельно... Впрочем, не буду писать тебе об этой маленькой надежде.

Вчера была на выставке Малявина. Правда ли, что он был пастухом в Афонском монастыре и кто-то из наших мастеров вытащил его оттуда, восхитившись его талантом? Одну работу, далеко не лучшую, купил Люксембургский музей. Выставка Пикассо изумила меня — в особенности эти огромные, исполненные графически, а потом раскрашенные портреты. Посылаю тебе вырезку из газеты, беглый обзор.

Как мне приятно так просто писать тебе обо всем, без страха быть непонятой или скучной. Это счастье — иметь такого друга.

20. V. 1924. Париж.

Ты прав, мой дорогой. Конечно, в Париже я увидела импрессионистов совсем другими глазами. Прошло девять лет с тех пор, как я была на Знаменке, в Щукинском собрании, и теперь мне уже трудно представить себе ту оглушенность, с которой я стояла, открыв рот, перед Моне или Ренуаром. Слов нет, когда я возвращаюсь домой в бессолнечные, чуть туманные вечера, начинает казаться, что Париж построен импрессионистами. И все же мне захотелось писать его совсем иначе, чем они, не празднично, а в скромной, сдержанной гамме. Я прочла в одном журнале, что, когда Моне стоял подле умирающей жены, он, к своему ужасу, заметил, что машинально следит, как меняется цвет ее лица, голубые тона сменились желтыми, потом серыми... Это страшно...

В последнее время я увлеклась двумя мастерами, по-

разительно не похожими друг на друга. Это — Матисс и Утрилло. Но есть между ними и сходство, не живописное, разумеется, а скорее психологическое. Каждый по-своему понимает силу законченности, и в этом смысле восторг Матисса перед природой можно сравнить с восторгом Утрилло перед Парижем. Вот когда вспомнился мне старичок фон Рейнгарт, который утверждал, что Матисс нарочно разучился рисовать, для того, чтобы создать собственный оригинальный стиль. Забыть свое умение, а потом вспомнить его по-другому, увидеть самого себя с дистанции времени — это удается немногим.

Об Утрилло — в другой раз. Я не могу на него насмотреться.

Ты спрашиваешь о выставках. В мае и июне их очень много, я думаю, не меньше полутораста, во всех районах Парижа. Они устраиваются обычно в эстампных или художественных магазинах. Было время, вскоре после моего приезда, когда я кружилась в этом вихре, доходя почти до потери сознания. Разнообразие — беспредельное, стремление поразить — настойчивое и в конечном счете — успешное. Многое покупается. Но среди тысяч полотен — почти ни одного, перед которым остановился бы с восторгом, с изумлением. Пишут для денег, для славы, заглядываясь на других и не заглядывая в себя — верный путь к скорому и неизбежному забвению. Подражают кому угодно — от египтян до Модильяни, даже не пытаясь понять тех, кому они возносят молитвы...

Здоровье мое недурно. Как твоя малярия? Неужели она так плохо вылечивается?

12. VI. 24. Париж.

Мой неизменно дорогой, милый и милый, я ужаснулась, хватившись, как долго я тебе не писала. Где ты,

как живешь? Помнишь, я писала тебе об англичанине, которому понравились мои копии мозаики Кахрие-Джами? Он разыскал меня в Париже, отправил фотографии в Лондон и сообщил — это было еще в апреле, — что музей «Виктория» покупает четыре работы. Я рассчитывала на эти деньги еще и потому, что хотела послать тебе на дорогу, дополнив твои сбережения. Но дело задержалось, потому что профессор, которому поручена экспертиза, уехал, а я тем временем снова оказалась в рабстве. Почти неделю перебивалась с хлеба на воду, и кончилось тем, что Георгий переехал ко мне — на два дня, как он сказал. Пришлось уступить (от усталости), и это были мучительные два месяца, а не два дня, потому что я снова оказалась между ним и мужем, которого я жду с нежностью и волнением. Ну что ты скажешь об этом скорбном триптихе: в середине — Елизавета великомученица и великомучительница, по одну сторону — невинно страдающий праведник Алексей, а по другую — грешник Георгий, и он же (иногда) Победоносец. Прости мне эту невеселую шутку.

Наконец я вырвалась, получив работу, переехала в другой отель и вот пишу тебе — первое преимущество свободы.

Была я у Эберзольта и Диля, встретили суховато. У Диля выходит труд о Кахрие-Джами. Он — худенький, почивший на лаврах. Зато у Милле (который уехал на все лето) познакомилась с его ученицей и просидела полдня, перелистывая собрание альбомов византийской и русской иконографии. Я не знала, что Милле читает в Сорбонне лекции, которые я непременно буду посещать — это общедоступно.

Гарсон ждет, чтобы бросить письмо. Кончаю. Пришли

мне какие-нибудь открытки казанского кремля. Да и Москвы. Хоть самые простые, без красок.

20. VIII. 24. Париж.

Ваша светлость, я Вас жду с нетерпением, которое ничуть не постарело, по крайней мере в сравнении со мной. Была сегодня в полиции, но не могла выяснить, какой документ тебе нужен. В советском консульстве мне сказали, что, если ты получаешь командировку, визу тебе поставят без полицейского удостоверения, в Москве. Завтра пойду в Министерство иностранных дел — попробую узнать, что это за документ и как его получить.

Деньги, мой родной, я получила и бесконечно тебе благодарна, как раз нечем было заплатить за квартиру. А вчера — новая удача. Из Лондона прислали одиннадцать фунтов за мои маленькие «Византии». Лето было трудное. Без помощи Гордеева мне долго не удавалось найти заказ, а потом пришлось работать с утра до ночи, чтобы заплатить долги. Расписывала ресторан в японском стиле. Вчера впервые — подумай только! — поехала в Версаль. Было преображение, и парижская толпа шумела на аллеях, напоминая нашу «Швейцарию» в Казани. Надо будет собраться туда как-нибудь в будни, на этюды. Правда ли, что Петров-Водкин собирается в Париж? Хочется показать ему мои работы. Боже мой, ведь и ты не видел их тысячу лет!

Это письмо кончалось упоминанием о химерах Нотр-Дам. К нему были приложены открытки, изображающие этих удрученных, самолюбивых, настороженных полузверей-полуптиц.

В другом, веселом письме Лиза рассказывала о Бло-

шином рынке, напоминавшем ей классическую Хитровку: «Вот у женщины на руках прелестный фокс, и лает, и перебирает лапками совсем как фокс — не сразу и догадаешься, что сделан из тряпок. Вот картонные бойцы сражаются не на жизнь, а на смерть, квакают лягушки, крякают живые и искусственные утки, а продажа всей этой живности из папье-маше идет под шутки, присказки, пение и оглушительную болтовню, которую нигде больше, кажется, и не услышишь».

На этой толкучке Лиза купила готовальню, несколько горшков для натюрмортов и акварель неизвестного художника, о которой отозвалась с восхищением. Легко предположить, что покупки были сделаны за счет обеда — недаром же упоминает она о закуске за пять сантимов: «Берут вилку и запускают ее наудачу в чан. Вытащить можно что угодно: рыбу или овощи, кусок колбасы или сосиску. А потом можно и закурить: окурки сигар и папирос расположены по сортам и — соответственно — по ценам».

3. II. 25.

Милый друг, я еще провинциалка в Париже. Тебе, должно быть, покажется странным, если я скажу, что еще ни разу не была в театре. Дешевые билеты надо доставать заранее, а у меня нет времени и нет никого, кто позаботился бы обо мне в этом отношении. Вот надеюсь на твой приезд — так хочется многое увидеть вместе!

Теперь, как ты просил, о живописи. В моде — Пикассо, Дерен, Брак, с одними носятся, другим подражают. Они давно на сцене — еще в 1913 году почти все выставлялись в нашем «Бубновом валете». Каждый по-своему пытается открыть в искусстве новое с помощью старого:

одни идут от фрески, другие — от примитива, а кто — и просто от вывески. Последние — интереснее других. Что касается Матисса, Гогена и даже Сезанна — они в частных руках и почти недоступны. Вообще же говоря, на парижском мировом рынке живопись — такой же товар, как, скажем, картофельная мука или мясо. Все дело в моде, а мода устраивается так: некий marchand (купец) заключает контракт с молодым художником, обязываясь покупать все или некоторые его картины по установленной (обычно ничтожной) цене. Художник, со своей стороны, в первом случае ничего не продает на сторону, а во втором — предоставляет торговцу, marchand'у, «право первого взгляда». (Кстати сказать, мне представлялась такая возможность, но Гордеев отсоветовал, возмутившись грошовой оценкой.) Когда marchand видит, что товару достаточно, он начинает рекламировать художника, устраивает выставки — таким образом создается имя и мода. Впрочем, гораздо чаще художник до конца дней нищенствует в ожидании славы.

В «Ротонде» на днях открылась выставка тридцати трех русских художников: Ларионов, Борис Григорьев и Гончарова приглашены для рекламы, а остальные — публика, от которой нужно держаться подальше. Бездельники, которые целыми днями торчат в «Ротонде», потому что это единственное место, где можно поживиться на чужой счет. Часами сидит такой индивидуум за пустой чашкой кофе, поглядывая по сторонам, кто сжалится над ним и «выкупит», то есть заплатит за кофе. Если ты не один и уже известно, что у тебя можно «стрельнуть», — к тебе подходят и просят «на слово». Опытный человек отказывает. «Тогда на полслова!» Даешь, в конце концов, франк — довольствуется и этим. На жаргоне «Ро-

тонды», «слово» в прошлом году стоило десять франков, «полслова» — пять. Тошно!

Я давно не видела работ Гончаровой и теперь снова почувствовала в ней то, чего мне самой всегда не хватало: слитность жизни и труда, когда невозможно отделить одно от другого. Зоркость у нее детская, которую почти никому сохранить не удается. А ей удалось. Но рядом с этими детскими, широко открытыми глазами (в двух холстах) — опущенный, как у монахини, взгляд.

Мы горечь своей жизни на чужой стороне чувствуем ежедневно и ежечасно. В лучшем случае — живем «мимо». А у нее в этих опущенных глазах — трагедия разлуки. И эту трагедию она пишет очень по-русски. Техника у нее твердая, дышащая стариной, и она сознательно предпочитает ее французской манере. Мне кажется несправедливым, что ее неизменно ставят рядом с Ларионовым, хотя сходство есть, как у супругов, которые от долгой совместной жизни становятся похожи. Ларионов — крупнее, острее. Но Гончарова мне ближе. И все-таки учиться у нее я бы не могла. Думаю, что у нее и нельзя ничему научиться. В ней все-таки нет того, что отличает бесспорных мастеров: первоначальности, первозданности, новизны, принадлежащей только ей и никому другому...

Алексей отложил свой приезд. Дела! Жаль. Впрочем, я уже «сносила» эту встречу, как, бывало, снашивала в уме платье, которое не могла купить.

Живу одна и счастлива сознанием своего одиночества и свободы, хотя живется дьявольски трудно. Женщине не только тяжело, но почти невозможно достать работу в Париже.

P. S. Спасибо за фотографии. У Нади очень милое, симпатичное лицо (я им довольна).

27. IV. 25. Париж.

Милый друг, я получила письма и фотографии, но не было ни минуты, чтобы ответить тебе. Двадцатого была в министерстве. Когда твои бумаги придут, обещают поторопить дело и известить меня о результате. Но я не верю им и в конце недели поеду опять.

Наша артель (гордеевская) расписывает сейчас ресторан-кабаре в русском стиле. Посетители будут увеселяться русскими же артистами, и все это очень обидно и горько. Вчера я случайно попала на репетицию: некая Лиза Волгина играла на балалайке под аккомпанемент рояля. Но как играла! Какой характер! Сколько музыкальности! Мы разговорились: она выступала на концертах со своими композициями, а теперь попала сюда — ночью играет перед иностранцами, днем спит. Пропадет, без сомнения, и отлично знает, что пропадет.

На Монмартре — кабаки с русскими названиями: «Тройка», «Домик», «Самовар», «Добро пожаловать» и т. д. Как подумаешь, что все эти ночные заведения расписаны русскими художниками, да еще какими, — жить не хочется! Или хочется, но не очень...

Милый мой, кончаю через две недели. Ночью, когда я сидела за этим письмом, за мной прибежал один художник из нашей артели и сказал, что у Гордеева тяжелый сердечный припадок. Две недели я провела неотлучно при нем, замучилась и не была, разумеется, в министерстве, как тебе обещала. Надеюсь поехать завтра, если ему станет лучше. Сейчас он спокойно спит, а я пользуюсь этим, чтобы закончить письмо.

Миленький, где я, что случилось со мной? Почему я здесь, а не с тобой, в Петербурге или Казани? Вчера зашел скульптор Бернштейн, только что приехавший из

Советского Союза, и до поздней ночи рассказывал о московских художниках (многие имена я услышала впервые), о выставках Кончаловского, конструктивистов, Вхутемаса — это, оказывается, название Высших художественных курсов, на которых обучается около полутора тысяч человек, главным образом с фабрик и из деревень, как сейчас вообще во всех высших учебных заведениях. Особенно интересно рассказал он о Татлине с его «Проектом памятника Третьему Интернационалу». Он считает, что конструкции Татлина оказали большое влияние на театр. И снова о выставках Машкова, Лентулова, Рождественского, Грабаря. В Москве ждут Пикассо, приезд которого, по мнению Бернштейна, послужит сигналом к ожесточенной схватке между ОСТ (Общество станковистов) и АХРР (Ассоциацией Художников Революционной России). Недавно эта Ассоциация устроила выставку «Жизнь и быт народов СССР», которую жестоко ругали в журнале «Печать и революция», а Луначарский очень хвалил.

Рассказывая, Бернштейн упомянул о Цекубу, а когда я спросила, что это значит, объяснил, что в Советском Союзе существует Центральная комиссия по улучшению быта ученых, на даче которой отдыхают бесплатно ученые, врачи, писатели и художники. Он сам прошлым летом провел под Москвой целый месяц в таком санатории. «Питание приличное, полный покой и отвлечение от всех мирских забот».

«Но на монастырь это все-таки мало похоже, — смеясь, прибавил он, — по причине приблизительно равного количества представителей сильного и слабого пола».

Я слушала с изумлением, Георгий — с недоверием. Не знаю, может быть, Бернштейн талантливо рассказывал,

но у меня осталось впечатление, что в России происходит сейчас нечто очень важное, не только в искусстве, но и в образе жизни.

Пиши, родной. Меня смертельно пугает мысль, что ты вдруг перестанешь писать.

17. V. 25.

Пошла сегодня в Лувр, хотела посмотреть восемнадцатый век, и вот уже четыре часа, как не могу выбраться отсюда. Началась гроза, дождь льет и льет, а я в легком платье, потому что было жаркое утро. Насмотрелась вволю! Правда, немного голодно, но уж так хорошо! Брожу и думаю о тебе. (Завтра снова пойду в министерство. Черти!)

Гордеев поправился, я осталась с ним. Да! «Нам живется ничаво, между прочим, чижало!» Обнимаю. Жду.

6. VII. 25. Мениль.

Молчала по многим причинам, а вернее, без всяких причин — просто не могла заставить себя взяться за перо.

Устала я, милый мой! Все иначе, чем думалось, мечталось. Моя дерзкая, себялюбивая жизнь не научила меня ограничивать себя (внутренне), урезывать, применяться. Георгий любит меня, но ему надо еще и «прощать» меня, а я если и виновата, так перед собой, да и то виниться нет ни времени, ни охоты.

Живем мы сейчас в маленькой деревушке, два часа от Парижа, среди пашен, полей и лугов. Пахнет травой, покоем. Много земляники. Хожу в лес, слушаю тишину и стараюсь угомонить сердце. Хочется окрепнуть, я очень подорвала здоровье. Георгий, кажется, скоро получит заказ — очень кстати! Надо подольше пожить здесь или

где-нибудь у моря. В Париже можно задохнуться от жары.

Я тоже получила твой «бекар»[1] из министерства, это значит, что мы увидимся не скоро. Может быть, никогда! В советском консульстве меня встретили вежливо, но ничего не обещали. Наверное, для получения визы нужна солидная протекция или счастливый случай.

Давно я не видела тебя во сне, а вчера заказала себе — и увидела. Ты шел по дорожке во дворе Зилантова монастыря, задумчивый, со шляпой в руке, и, увидев меня, приложил палец к губам. Почему-то нельзя было громко разговаривать, и мы, стоя у знакомой калитки, еле слышно перекинулись двумя-тремя словами.

Вот так и получилось у нас: перекидываемся время от времени вполголоса, чтобы никто не услышал. Георгий втайне ревнует к тебе, но молчит, зная, что лучше не трогать мою «святая святых». Не забывай! Целую нежно.

Ты пишешь, что мой портрет стоит у тебя на столе и что я кажусь тебе подчас чужой, почти незнакомой. Это случается и со мной, по утрам, перед зеркалом, после бессонной ночи.

12. VIII. 25.

Милый друг, я трижды перечитала твое письмо (сильно опоздавшее благодаря почтовой забастовке), прежде чем поняла, что ты едешь, едешь, едешь и что мы, стало быть, увидимся осенью — или даже летом... Что за прелесть этот академик Шевандье и как умно ты поступил, послав ему свои работы! Теперь вот что: встретить тебя в Париже я не могу, Георгий не отпустит меня, а ссо-

---

[1] Отказ.

риться с ним в день твоего приезда... Словом, мне кажется, что разумнее всего было бы провести спокойно в деревне несколько дней, а потом поехать в Париж. От нас до моря полтора-два часа, и мы можем заглянуть разок-другой в Дьепп, там хорошо на пляже. Важно, чтобы сразу же появился тон дружеский и «все в прошлом», а уж тон сделает музыку, я об этом позабочусь. Плохо, что Георгий не считается с неловкостями, а я перед его грубостью теряюсь и цепенею. Вот тебе план дороги: с вокзала St.-Lazare — линия Paris — Dieppe — и ты доедешь до Chars — это пятая или шестая остановка. Там пересядешь на паровичок до Bouconvilliers, а оттуда надо идти пешком около шести километров. Я бы встретила тебя на лошади, если бы точно знала, когда ты приедешь. Адрес: Mesnil Danval (читается Мениль), департамент Oise. От станции ты пойдешь по шоссе (перпендикулярно паровичку) до маленького городка Lurville, а потом повернешь налево, и проселочная дорога доведет до нашей деревни. Спроси, где живут русские художники, — покажут.

У меня сердце холодеет от бешенства, что я не могу ни встретить тебя, ни остаться с тобой в Париже. Но я придумаю что-нибудь или, если не придумаю, все равно — приеду.

В ПАРИЖЕ

1

Константин Павлович по-прежнему жил в Палашовском переулке, в квартире с падающим хозяином, и по-прежнему одновременно с преподаванием занимался одной из самых общих областей математики, в которой

среди видных ученых ему принадлежало одно из первых мест.

Он ушел из университета в МВТУ, где ему предложили кафедру, и был рад, что ушел, потому что, прославившись (в школе Грузинова) своим умением сглаживать ссоры и восстанавливать распавшиеся отношения, невольно отдавал этой стороне жизни больше времени, чем ему хотелось.

Первое время он жил одиноко в Москве. Потом появились знакомства. В Лесотехническом институте он прочитал доклад о своих работах по приглашению знаменитого Арденса и стал, хотя и редко, бывать в его доме. Это было знакомство, которым он особенно дорожил.

Художественные выставки он почти не пропускал — это было влияние Лизы — и постепенно стал разбираться в современной живописи, хотя и любил говорить, что самые сложные математические идеи — ничто в сравнении с туманными теориями кубизма или супрематизма. «Ты не математик, а настоящий профессор изящных искусств», — однажды написала ему Лиза. Иные выставки он посещал ради нее.

Времени было мало, но Карновский умел не расставаться с работой ни на выставке, ни в театре. Догадка, которая не давалась полгода, пришла ему в голову на «Принцессе Брамбилле» в Камерном театре, который он очень любил. Он понял потом, что все приятное, неожиданное, праздничное не мешает, а помогает работе, как бы ни была она далека от того, что происходит перед глазами.

Он много ездил. Летом 1922 года он провел несколько дней в Петрограде. «Люблю его, как люблю свою

юность, прямолинейную, даже сухую, но озаренную», — писал он Лизе.

Крым и Кавказ — это были короткие, недальние поездки. Он побывал и на Алтае, и в Туркестане. «Тебе, человеку, сидящему сиднем на печи, всегда казалась странной моя способность внезапно срываться с места и лететь куда глаза глядят, — писал он Лаврову, оставшемуся в Казани. — Оствальд в своей известной книге делит ученых на классиков и романтиков. Так вот мы с тобой, как это ни странно, обменялись местами. Теперь ты — классик, по которому Казань скоро будет проверять часы, а я — романтик, который открыл (для самого себя), что ему всегда стоило огромных усилий повторять предшествующий день».

Были и другие поездки — на Урал, на Дальний Восток, связанные с возникновением новых вузов: в Наркомпросе не забыли о том, в каких условиях Константину Павловичу удалось в двадцатом году организовать Казанский политехнический институт.

Среди частых, ежегодных поездок была одна, изменившая жизнь, сделав ее теплее, богаче. Они с Лавровым провели десять дней в Теберде, а потом решено было через Клухорский перевал спуститься к Сухуму. Но Карновский «переходил ногу», разболелось колено, и пришлось сесть, впервые в жизни, на лошадь. Наставление, которое он получил от старого горца, владельца лошади (они условились встретиться в Цебельде) было простое: «Чего ты не знай, конь знай. Чего конь не хотел, ты не хотел. Не конь тебя слушай, а ты коня слушай. Хорошо будет».

Горец велел идти рысью, не спеша, но напрасно Карновский пытался приладиться к этому движению, при котором лошадь, как ей и полагается, поднимает сперва

левую переднюю, а за ней правую заднюю ногу. Не прошло и часа, как остро заныла спина, а в больном колене застучали какие-то молоточки. Измученный, он спешился, напился из родника и немного побродил, прихрамывая, по сонной рыже-красной роще. Что за странность? Место было ничем не примечательное, глухое. Откуда же взялись вырезанные здесь и там на деревьях буквы? Или это были естественные глубокие борозды в темно-бурой коре?

Вскоре он был уже на дороге, которая вилась по-над рекой Кадор, блестевшей, как узкий кривой нож, на дне ущелья. Конь шел по краю, и каждый раз, когда камешки сыпались из-под его копыт, у Карновского невольно ёкало сердце.

Вдруг послышалось впереди движение, шум, ленивый понукающий голос, и за поворотом показался осел с перекинутыми через спину двумя громадными разноцветными мешками, а за ослом — мальчишка лет пятнадцати в грязной рубахе и черной шапочке, с хворостиной в руке. Карновский поздоровался, мальчик приветливо ответил на ломаном русском языке. Он ловко снял мешки, потянул упиравшегося осла — и остановился. Он чего-то ждал, и Карновский с ужасом понял, что он должен снова спешиться и провести лошадь в поводу, чтобы разойтись на узкой тропе.

— Нога больной? — Мальчик протянул ему крепкую, как железо, маленькую руку, показал высокий камень, на который, слезая, удобно было поставить ногу. Карновский полез за кошельком и поразился гордости, с которой мальчик отвел его руку.

— Как тебя зовут?

— Джамиль зовут.

На каменистой тропе Карновский выцарапал несколько букв.

— Буквы, понимаешь? На деревьях? Кто писал?

Просияв, мальчик ткнул себя пальцем в грудь.

«Почему не на бумаге»? — «Бумага нет». — «Почему не карандашом?» — «Карандаш кончал».

Разговаривая больше жестами, чем словами, Карновский провел с ним полчаса — ему чем-то понравился этот быстроглазый мальчик с узким красивым лицом. Куда-то он хотел поехать, где-то учиться. Наконец Карновский понял, что Джамиль хочет поехать в Нальчик и поступить на рабфак.

— Ну, это мы попробуем устроить.

Он вырвал из блокнота листок, записал свой адрес и через полгода получил от Джамиля вполне грамотное письмо, к которому было приложено заявление.

Один из учеников Карновского работал в Нальчике, и устроить Джамиля на рабфак оказалось делом несложным. Он приехал года через три, уже юношей, в Москву, и Константин Павлович с энергией, которая его самого удивила, принялся готовить его в МВТУ.

Способности у юноши оказались средние, но работоспособность такая, что приходилось почти силой отрывать его от занятий.

Случалось, что Джамиль жил у него в Палашовском неделю-другую. По воскресеньям они вместе ездили на лыжную базу. «А сынок-то вас не дождался, чуть засветло ушел», — однажды сказала Карновскому женщина, выдававшая лыжи и пьексы.

Может быть, он был одинок? Может быть, он потому и срывался с места и летел куда глаза глядят, что был все-таки очень одинок в своей размеренной, разумноустроенной жизни?

...Все уладилось, все стало на свое место. Мать так и не поправилась в полной мере, он устроил ее в Ядрин, на покой, неподалеку от своих друзей, которые присматривали за ней. Сестры остались в девушках — и, кажется, не жалели об этом. Одна была медицинской сестрой, другая кончила Ветеринарный институт и работала под Казанью.

Все женщины, с которыми Карновский был близок, хотели выйти за него замуж — и огорчались, догадываясь (или не догадываясь), почему это невозможно. Огорчалась и Надя Медведева, умная и хорошенькая актриса одной из московских студий. Она-то как раз догадывалась. «Вы боитесь, что вас могут бросить, как женщину?» — однажды весело спросила она. Карновский не ответил.

В Крым он ездил один, а на Кавказ они поехали вместе.

О Лизе он думал с той грустной нежностью, которая давно утвердилась в нем за восемь лет, прошедших после их последней встречи. Эта разлука, счастливо украсившаяся перепиской, теперь стала частью его удавшейся, устроившейся жизни. Молодые, свободные, сбивающие с ног свидания, ссоры и примирения, вся история их любви превратилась в письма — трогательные, дружеские, поддерживавшие все разгоравшийся интерес Константина Павловича к живописи, к искусству, но уже ничего не изменявшие в нем. Все сложилось, смягчилось, и хотя он волновался, представляя себе их встречу в Париже, это было умиленно-нежное волнение воспоминаний.

2

Еще в Москве он обдумал план своего, к сожалению, недолгого пребывания в Париже. Дела не должны были

помешать посещению музеев, выставок и, если хватит денег, театра. Ему давно хотелось побывать в «Comédie Française». Денег было мало.

Приятель, недавно вернувшийся из заграничной поездки, рекомендовал ему дешевый отель «Эксцельсиор», недалеко от Гранд-Опера, и он снял в этом грязноватом отеле комнату на третьем этаже, в глубине полутемного, странно извивающегося коридора.

Он остановился в нерешительности, переступив порог этой комнаты, куда быстрый и тоже грязноватый гарсон мгновенно поставил два чемодана. Мебель была претенциозная, старая, с вытертой позолотой, портьеры тяжелые, пыльные. Постель, покрытая желтым выгоревшим покрывалом, показалась ему особенно подозрительной, может быть, потому, что, несмотря на сравнительно ранний час, он заметил нескольких проституток, стоявших у подъезда отеля. Он брезгливо отвернул покрывало — нет, белье, против ожидания, оказалось свежим.

Еще в поезде Константин Павлович решил, что не поедет к Лизе наудачу, с тем чтобы идти шесть или семь километров пешком с риском заблудиться в незнакомых местах, а напишет из Парижа с просьбой встретить его, если это возможно. Но прежде надо было позвонить Шевандье, и Константин Павлович позвонил, немного боясь за свой французский язык — он недурно говорил, но плохо понимал, в особенности по телефону. Но все обошлось. Шевандье назначил встречу на следующий день, и, написав Лизе открытку, Константин Павлович кинулся бродить по Парижу.

Он вернулся ночью, веселый, с горящими, гудящими ногами. В маленькой ванне можно было вымыться только сидя, и, раздеваясь, он подумал, что именно в такой ванне Шарлотта Корде убила Марата.

Шевандье, коротенький, пузатый, с большой головой, с пронзительным голосом, принял его на следующий день. Нужно было внутренне подготовиться к этому важному разговору, и Константин Павлович не только подготовился, но, как всегда в такие минуты, как бы увидел себя со стороны — белокурого, в новом, хорошо сидевшем костюме, крепкого, ничуть не усталого после короткого, трехчасового сна. Разговор шел о проблеме броуновского движения, которой занимался Константин Павлович, и Шевандье буркнул нечто одобрительное по поводу его статьи, а потом сказал, усмехнувшись, что был приятно поражен, убедившись, что русские еще не забыли таблицу умножения. Трудно было вообразить, что этот колючий старик, в бесформенных штанах и бархатном разбухшем пиджаке, написал трактат о чувстве математической красоты, который Константин Павлович знал чуть ли не наизусть и любил цитировать в своих лекциях. Прощаясь, он упомянул об этом трактате, и на старом лице Шевандье, с кривой бороденкой и сварливым носом, мелькнула слабая тень удовлетворения.

На другое утро Константин Павлович получил телеграмму от Лизы и пятичасовым поездом поехал в Мениль. Пыхтящий паровичок еле тащил старомодные высокие, на трех парах колес, вагоны, и он еще с площадки увидел ее на станции, а рядом — Гордеева, высокого, по-цыгански черного, красивого, в белой рубашке с закатанными рукавами.

Первые минуты неловкости прошли быстро, может быть, потому, что естественное, радостное оживление Лизы, ее чуть подчеркнутая свобода от ревнивой настороженности Гордеева передались Константину Павловичу. Она словно подсказала ему эту естественность и свободу. Они встретились дружески-нежно, он поцеловал

ее сильную узкую руку, она в ответ притянула его к себе и поцеловала.

— Нет, я знаю, что постарела, — сказала она с молодым блеском больших глаз, когда они шли к стоявшей у станции двуколке.

Блестевшие подобранные волосы были округло видны из-под широких полей деревенской шляпы, глубокий вырез платья открывал треугольник загара над белой полоской пополневшей груди.

И все сразу же пошло бы отлично, если бы Гордеев, сидевший напротив в легкой двуколке, не старался быть любезным со старым другом Лизы, как он, по-видимому, обещал ей. Он то шутил — не слишком удачно, то, слушая разговор о незнакомых ему событиях и людях, смотрел на Константина Павловича слишком прямо и твердо.

Приехали в деревню, удивительно не похожую на русскую своими каменными домами с окнами во двор, остановились у последнего дома с голым крыльцом и наружной деревянной лестницей, которая вела на чердак. Вошли в полупустую комнату с большим камином, с двумя кроватями и простым деревянным столом, с подрамниками и составленными холстами в углах и вдоль стен.

Всю дорогу и теперь, когда они ели буйабес — вкусный рыбный суп, который Лиза приготовила с утра, а теперь разогрела, — она расспрашивала Константина Павловича — торопливо, беспорядочно, нервно:

— Что такое теперь Петроград? Неужели правда, что он так обветшал и запущен?

Константин Павлович сказал, что Ленинград так же хорош, как прежде. Бестужевские слили с университетом, а в здании курсов теперь рабфак.

Лиза спросила о Гориных, которых он по ее просьбе разыскал в Ленинграде. Дмитрий потолстел, почтенный

профессор, в усах и бородке. Очень обрадовался, узнав, что Лиза жива и здорова. Спросил адрес, сказал, что непременно напишет, а если поедет в Париж — непременно зайдет. Леночка вышла замуж, тоже потолстела и учится петь.

— Она милая и добрая, но, кажется, глупая? — сомневаясь, спросил Константин Павлович.

Лиза засмеялась:

— Может быть. Я не догадывалась тогда. Что в живописи?

Но прежде чем сказать о живописи, поговорили о не понравившемся Лизе «Поликушке» в кино, с участием Москвина, потом о необычайном распространении радио. В Москве на каждой улице — громкоговорители, а вечера все проводят с наушниками на голове.

Они разговаривали, не считаясь с молчаливостью Гордеева, но в их естественном, радостном, оживленном разговоре все же оставались две несливающиеся струи. Можно было обойти Гордеева, но нельзя было обойти возникшее между ними ощущение, что все пришедшее с Карновским *оттуда* уже не принадлежало Лизе, а все составлявшее ее жизнь было для него чужим и далеким. Но он чувствовал и другое: он чувствовал в Лизе какую-то совсем не свойственную ей робость перед тем, что пришло с ним *оттуда.*

Заговорили о живописи — и Гордеев сразу оживился и даже стал медвежевато мил, в особенности когда этот интеллигентный, с платочком в наружном кармане пиджака господин из Москвы (на этот раз Константин Павлович увидел себя его глазами) похвалил его деревянную скульптуру. Но она была действительно хороша — рыбаки и рыбачки в танцующих позах, с анатомически точными и, одновременно, сказочными телами. Иконопис-

ная неподвижность Петрова-Водкина угадывалась в диптихе двух юношей, вырезанных на фоне овального медальона. Не упоминая об этом сходстве, Константин Павлович рассказал о своем знакомстве с Петровым-Водкиным: они познакомились случайно, в поезде из Ленинграда в Москву.

— Очень милый, словоохотливый и с первого взгляда простоватый, а вглядишься — куда там! Очень обрадовался, узнав, что мне нравятся его работы. Теория у него такая: трехцветка. Каждому искусству свойственна собственная палитра: русскому, например, — красный, синий и зеленый цвета. Еврейскому, если не ошибаюсь, — коричневый, лиловый и желтый. Я подумал — и предложил ему расположить радугу на круге по секторам, а потом взять вилку о трех остриях и ставить ее таким образом, чтоб получалась трехцветка. Он задумался: «А зачем?» — «Ну как же! Для определения принадлежности к национальному искусству».

— Рассердился? — спросила Лиза.

— Нет. Засмеялся. А потом подумал и говорит: «Интересно».

Потом небрежно, но волнуясь, Лиза стала показывать свои холсты, рисунки, этюды, и, бог знает почему, Константин Павлович почувствовал, что о ее работе надо говорить осторожно, не касаясь давнишнего и болезненного спора между Гордеевым и ею. С первого взгляда было видно, что как художники они не могли нравиться друг другу. У Гордеева талант был не открывающий, а напоминающий, но в самой широте этого напоминания («от русской иконописи до ассирийских рельефов», — подумал Константин Павлович) чувствовалась неуверенность, странно противоречившая тщательности отделки.

Работа Лизы была связана, как и ожидал Констан-

тин Павлович, с Византией, но Византия не повторялась, а превращалась в ее холстах — и остро, неузнаваемо превращалась! Старый черный араб с неподвижностью столпника сидел в дупле векового дуба, белый нимб чалмы светился над ним. Акварели были таинственно-нежны — стремительная путаница малиновых, желтых, черных пятен на неподвижном золотом фоне залива.

Это были константинопольские работы. Но в Париже, по-видимому, началось совсем другое — интерьеры, написанные более твердой, мужской рукой, натюрморты, в густых, сильных, цельных тонах. Один холст показался Константину Павловичу необыкновенным. Старинное, в раме красного дерева, зеркало было как бы вздыблено в отчаяньи — вздыблено и повернуто к небу. Оно стояло в саду, в мозаике разноцветных солнечных пятен, но оно было полно пустотой. Нужно было взлететь, чтобы в него поглядеться. Лишь две плоскости, розовая и серая, отражались в нем, странно связываясь с темно-серебристым фоном стекла. Холст был похож (обменявшись беглым взглядом, они оба подумали об этом) на письма Лизы к Константину Павловичу. В сущности, это и было письмо, проникнутое грустным изумлением перед «загадочной, нелепой, благословенной штукой, которая называется жизнью», как она ему однажды написала.

3

Все было сказано, все переговорено. Ничего не было сказано и ничего не переговорено, потому что остаток дня и весь следующий день, когда они бродили по окрестностям, был битком набит невозможностью сказать друг другу хоть два слова наедине — Гордеев не оставлял их ни на минуту. Обедали в деревенском трактире с огром-

ным камином, в котором можно было спать — да и спала хозяйка, когда они пришли. Фотографировали друг друга, пастушку с кокетливым шарфиком на шее, коров в соломенных шляпах, странствующих торговцев с их детьми, женами и товарами, выставленными на прилавках перед высокими фургонами-домами. Отдыхали в лесу, перегороженном через каждые двести — триста метров, что к удивлению Константина Павловича, не мешало охоте, и Гордеев даже рассказал по этому поводу довольно занятную историю. Говорили о Мейерхольде и Станиславском, о литературе, о том, что должно было, кажется, интересовать всех троих, но почему-то касалось только Константина Павловича и Лизы.

Теперь он уже не видел себя со стороны, как это было у Шевандье, когда обдуманный душевный строй руководил им и подсказывал, что он должен сделать в следующую минуту. Теперь он прислушивался к себе неуверенно, с беспокойством. Что-то как бы стронулось в нем, и он даже не знал — когда. Может быть, утром? Одеваясь, он увидел в окно пробежавшую по двору Лизу, непричесанную, в какой-то оранжевой распашонке-халате, легкую, с мелькнувшими стройными голыми ногами.

Потом поехали в той же двуколке к паровичку, на Bouconvilliers, а потом в Париж. Гордеев неуклюже шутил: «Здесь не Советская Россия, и чужая собственность строго охраняется от покушений». Чужая собственность была Лиза.

Московский душевный строй еще стучал, как метроном, и Константин Павлович подумал, что, может быть, он подчас не слышит его, потому что сердится на плоские гордеевские шутки. Но он не слышал его, потому что уже не мог не думать о том невозможном, о чем —

он это знал — думала и Лиза. «Можно?» — спросил он накануне, когда ему захотелось взглянуть на холст, стоявший лицом к стене. «Все можно», — ответила она, улыбаясь, и он внезапно внутренне задохнулся. Это было «все можно» их первого свидания в Петербурге на рождественских каникулах в 1914 году, «все можно», принадлежавшее только им одним, особенное, памятное на всю жизнь, драгоценное своей неожиданностью и прямотой.

Но не только «все можно», а ничего было нельзя, даже поговорить с нею без Гордеева пятнадцать минут.

Константин Павлович чувствовал, что Лиза раздражена и, так же как он, озабочена тем, чтобы еще больше не рассердиться. Но надо было не только не сердиться, а сделать что-нибудь, чтобы расположить Гордеева к себе. Зачем? Он не знал. В какой-то немыслимой, сводящей с ума надежде.

Париж. Белокафельные своды метро, в котором «человеческое сырье обрабатывается при высокой температуре и сильном атмосферном давлении», как с отвращением заметила Лиза. Толпа, гудящая, раскрывающая зонтики, торопящаяся из банного воздуха метро на утреннюю свежесть бульвара. Мастерская гордеевской артели — просторный сарай с антресолями в глубине двора, за старыми домами, образовавшими тупичок в зеленом узком переулке. Все самодельное: скамейки, табуреты, даже крутая, без перил, лестница, приставленная к антресолям. Кленовые чурки и плахи — заготовки для деревянной скульптуры, глиняные мисочки с засохшей краской, подрамники, ящики, кисти, холсты. Гордеев, работавший над четырехметровым панно для квартиры богатого американца, показал набросок на картоне: атлет, натягивая лук, целился в убегающего бизона, упрямо

склонившего голову с оскорбленными человеческими глазами. Набросок был хорош. Константин Павлович похвалил его, и цыганское, нервно-напряженное лицо Гордеева смугло покраснело от удовольствия.

Все шло, как должно, как предполагалось, но одновременно все было как в детской игре, когда надо найти спрятанный предмет с завязанными глазами и кругом кричат: «Холодно, холодно, потеплее, горячо, совсем горячо!» Давно уже было совсем горячо, давно уже серые глаза Лизы стали зелеными, как это бывало всегда, когда исчезало все вокруг на свете, кроме них, — как исчез и этот атлет с бизоном, о котором Константин Павлович только что говорил не торопясь, искренне и серьезно.

Русские художники из гордеевской артели пришли и, устроившись на дворе, у сарая, стали быстро, ловко заниматься очень странным, с точки зрения Константина Павловича, делом: с открыток Луврской галереи они делали приблизительные, грубые копии — как выяснилось, для какого-то фильма о том, как американцы изучают Париж. Но и художники, один из которых грустно и весело спросил Константина Павловича: «Ну, как вам нравится наше птичье-небесное существование?» — были только воплощенным отрезком времени, которое проходило бесцельно, бессмысленно, напрасно, потому что и за эти новые полчаса ничего не произошло между ним и Лизой.

Потом отправились в «Ротонду» — выпить кофе и показать Константину Павловичу знаменитых людей. И пошли, и показали: худощавый молодой человек, чуть сгорбленный, без шляпы, с густой шевелюрой, уходил из кафе с высокой, гибкой женщиной в модной белой шляпе-колпаке и в чем-то свободном поверх легкого платья. Это были Эренбург с женой.

Потом показали кого-то еще в мелькании подходивших и здоровавшихся с Гордеевым людей.

Все дрожало, как в нагретом, струящемся воздухе, и сквозь этот ускользающий, вместе с временем, воздух он видел и чувствовал только Лизу, ее лицо с знакомым выражением отчаяния и самообладания, ее глаза, не смотревшие и смотревшие на него. Она говорила так же, как он, слыша и не слыша себя. И вдруг все остановилось, все замерло, все заняло свое единственное, естественное место.

— Вам, должно быть, хочется посидеть вдвоем, вспомнить старое, — нахмурившись, сумрачно, недобро сказал Гордеев. — Посидите, а я пойду. У меня есть дело.

Он ушел, и они остались вдвоем за столиком, недалеко от входа.

— Вот и подарок.

— Это подарок?

— Да. Ему трудно. Он любит меня.

— А ты?

— А я — тебя. Мне нужно вернуть тебе письма.

— Почему?

— Потому что я боюсь, что Георгий может их сжечь. Там слишком много поцелуев. Меньше, чем мне хотелось бы. Но много.

Отец Лизы сжег письма Константина Павловича, когда она, окончив гимназию, приехала к отцу погостить на Воткинский завод.

— Я приду. Я знаю твой отель.

— Когда?

— Вечером. На десять минут.

— На десять минут?

— Да. Это — Париж. Не Казань.

— Да. Не домик ветеринара на улице «Продолжение второй горы».

— Да. И не шалаш из бузины, которую мы наломали в пять минут в парке за Новиковой дачей.

— И не Ялта. Я писал тебе, что в прошлом году был в Ялте.

— Ну, как ты?

— Как видишь. Постарел?

— На восемь лет. Георгий видит нас в зеркале. Не оборачивайся. Это не беда. Я знала, что он не уйдет.

Гордеев сидел в глубине кафе, там, где столики были разделены легкими стойками, на которые посетители бросали пальто.

— Он не умеет читать по губам?

— Нет. Кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения.

— Я тебя люблю.

— Очень?

Он знал это поддразнивающее «очень?», от которого остро и нежно дрогнуло сердце.

— Как твоя математика?

— Все хорошо.

— Вот видишь. И без меня даже лучше?

— Не знаю. Помнишь, ты как-то сказала, что на свете нет несчастной любви?

— Не забыл?

— Ничего не забыл. И никогда не забуду.

Гордеев встал. Когда он подошел, они говорили о том, что из одежды — и за сколько — может купить Константин Павлович в Париже.

Самое трудное было — вспомнить себя до этого разговора, до муки ожидания, которая началась сразу, волшебно отзываясь где-то в глубине души и заставляя Кон-

стантина Павловича сдерживать пробегающую острую дрожь.

Они вышли из кафе и пешком отправились в Лувр через Люксембургский сад, где он сфотографировал своим маленьким аппаратом дворец, бассейн с парусными лодочками, аббата с книгой в руках, сидевшего на сдвоенной скамейке спиной к хорошенькой девушке, которая ждала кого-то, волнуясь. Потом дали крюк, чтобы показать Константину Павловичу маленькую, живописную, чем-то знаменитую улочку, выходившую на бульвар Сен-Жермен. И все это было не Люксембургским садом, не бассейном, не улочкой, название которой он сразу же забыл, а необходимостью, которая должна была заполнить этот вдруг затянувшийся день.

Потом был Лувр, где они два часа бродили по залам восемнадцатого века (было решено, что Константин Павлович для начала должен посмотреть немногое, зато внимательно и неторопливо), разговаривая о Шардене, о Левицком, единственном русском в этом отделе, о ком-то еще и еще. Потом покупали открытки, обедали. Наконец в шестом часу он вернулся в свой отель — с чувством счастливой свободы от Гордеева, от Лувра, от Парижа, от всего, что мешало ему ждать вечера и беспокойно, радостно наслаждаться этим ожиданием.

Она не могла прийти раньше десяти или даже одиннадцати, и он решил принять ванну и уснуть, но прежде простоял добрый час у окна. Газетный киоск с прилавком, на котором лежали стопками, прихваченные проволокой, газеты и журналы, был виден под столбом газового света. Вот длинный сухой старик в широкополой шляпе, толкавший перед собой детскую коляску с откинутым верхом, в которой тоже лежали газеты и журналы, остановился у киоска, толстая владелица, в перехвачен-

ном длинном балахоне, вышла к нему, и начался длинный разговор, бесшумный и выразительный, как в пантомиме. Вот велосипедист, в кепке с утиным козырьком, подкатил, взял газету, не слезая с машины, бросил монетку и помчался дальше, навстречу дождю, который вдруг стал виден в газовом свете, сверкающий, брильянтовый и добрый, как добры и необыкновенны были все эти проходившие, пробегавшие, останавливающиеся у киоска люди.

Константин Павлович принял ванну, вернувшись в пижаме, радостно усталый и уже почему-то твердо знающий, что Лиза скоро придет, сбросил неприятное шелковое покрывало с кровати, лег и сразу уснул — или не уснул, а как будто на бегу прислонился к чему-то мягкому и, вздохнув, на минуту закрыл глаза. Он вспомнил себя в Ядрине, у окна, из которого был виден неяркий июльский день, скошенная трава на небольшом дворе, огород с подсолнухами. Небо — в длинных, отливающих тусклым серебром облаках. Под окном — мальва и маки. «Как легко мне представить тебя в этой обстановке и как трудно, несмотря на все твои яркие описания, в Париже», — он говорил или писал это Лизе, хотя она была где-то здесь, потому что еще вчера они всей компанией ходили в лес на ночевку, и было весело раскладывать костер на высоком берегу Урги, и варить суп, и петь, и уснуть на колком и мягком ельнике, дыша горьковатым запахом дымка и хвои.

Он открыл глаза прежде, чем она постучала, лишь услышав или вообразив, что слышит ее торопливые, мягкие шаги в коридоре. Она вошла, и все в этом тусклом, некрасивом номере сразу наполнилось ею, свежестью ее загорелого, разрумянившегося от быстрого движения лица, шелестом мокрого блестящего плаща, который она

скинула и стояла, смеясь, держа его одной рукой на весу, а другой убирая со лба упавшую потемневшую прядь волос. Он взял плащ и повесил его на дверцу шкафа, которая вдруг почему-то медленно открылась сама, как во сне, который, может быть, еще продолжался.

Слабый газовый уличный свет или синевато-розовый — вечернего неба установился в комнате, когда Константин Павлович повернул выключатель. Она сказала что-то о Гордееве, но не было ни Гордеева, ни Парижа, ни невозможности увидеть ее на следующий день — утром она возвращалась в Мениль. Было только поднимавшееся ввысь, нарастающее по вертикали возвращение после восьмилетней разлуки. Все, что сдерживало и останавливало его, все, что заставляло его холодно распоряжаться собой, ушло, растаяло, отмучилось, отступило. Теперь он не то что распоряжался собой, а с разбегу уходил в эту уносившую его и бог знает что делавшую с ним силу. Как он разгуливал, вырвавшись на волю, как качало возок, и мутный месяц нырял среди косматых подсвеченных туч! Как сплелись, соединились в одно их воспоминания — и тот морозный вечер у Исаакия, и волжский пароход, который все равно как назывался, и исчезновенье существования, и острое желание, которое не надо торопить, потому что оно возвращалось само собой, все разгораясь.

Он открыл глаза. Ее волосы были перекинуты через его руку, слабый запах хвои от этих волос, от ее изумленного, недоуменного дыхания кружил ему голову в темноте, в полосках света, ложившегося на постель через полузадернутую занавеску. Какие-то стихи, которые еще днем она вспомнила в Лувре, перекинулись к нему вместе с прояснившимся сознанием. Он пробормотал их, она

подхватила, смеясь, и стала просить отпустить ее и снова сказала что-то о Гордееве.

— Ты меня погубишь.

Но он и себя погубил, и знал это, потому что то, что происходило сейчас между ними, никогда не бывало прежде и не могло прежде быть никогда. Что́ разлука и неполнота счастья прежних встреч перед тем, как нежно и сильно он наконец сжимал в руках ее голову, перед этим жаром степи, по которой гулял морозно посвистывающий ветер.

— ...И снова будут письма. Лавров как-то сказал мне, что, когда ты берешь в руки перо, ты становишься совсем другим человеком. Я запомнила, потому что это тоже было в Казани...

— Да. А ты не становишься.

— Он сказал тогда, у нас все не ладится, потому что мы никак не можем вглядеться друг в друга.

— Это правда. У нас не хватало времени.

— Еще бы! Ты всегда торопился.

— Теперь пришла твоя очередь.

— Это совсем другое. Я — к мужу, а ты торопился к себе. Мне всю жизнь приходилось ждать. Я ждала, ждала, ждала. Потом были встречи, которые были *невстречи*. И снова разлуки. О разлуках я могла бы, кажется, написать целую книгу. Они ведь очень разные: замораживающие, когда вспоминались только эти *невстречи*. Бабьи, когда смертельно хотелось, чтобы ты был здесь, рядом, как сейчас, сию же минуту. Похоронные, когда совсем, навсегда теряешь надежду. В Ялте разлука была как во сне, от которого никак не можешь проснуть-

ся. Но после встречи с Вардгесом Яковлевичем я очнулась. И снова стала ждать, ждать, ждать.

— А потом, из Стамбула, написала, что больше не любишь?

— Да. Встретила Алексея, и оказалось, что я ему очень нужна. Я его пожалела. А ведь пожалеть — это и значит полюбить. Деревенские бабы так и говорят: «Она его жалеет», — значит, любит. И потом — у меня никогда не было «дома». А это был какой ни на есть, а все-таки «дом». «Дом» — это ведь не хозяйство, не «совместное квартирование», как ты говорил, даже не дети. «Дом» — это когда друг от друга ничего не скрывают. Ведь сегодня у нас с тобой — «дом».

— Наконец!

— Да. Мне всегда казалось, что ты от меня что-то скрываешь, и невольно думалось: «Это то, что должно оттолкнуть его от меня». А тот же Лавров однажды рассказал мне, что ты куда-то ехал с матерью, еще гимназистом, и она заболела в дороге, ты всю ночь держал ее на руках. В письме, которое я оставила тебе в Казани, я написала, что ты принадлежишь им, а не мне. И что так будет всегда. Ну, как Лавров?

— Он был влюблен в тебя.

— Я догадывалась.

— Он тяжело болел. Сыпной тиф в двадцатом году, очень тяжелый. Он теперь на моей кафедре, в Политехническом. Мы видимся, переписываемся. Жена, дети.

— Да. Ах, как мне все мешало, как мне все мешало в Казани! И как запомнилось! Странно, ведь это было очень давно.

— Вчера.

— Девочки кроили кальсоны, а на окне в столовой стоял пенэкспеллер, от ломоты и ревматизма. Твой брат

все время молчал за обедом, а потом сказал о купцах: «Подлецы первой гильдии». В тот день — может, помнишь — я купила книгу Морозова об Апокалипсисе — так и вожу ее повсюду с собой. И часто читаю. Там что-то наше. На вокзале газетчики кричали: «Родзянко! Родзянко!» Татарин стоял на коленях в углу, молился, кланялся.

Она плакала. Карновский поцеловал ее.

— И Дмитрий мешал, ведь он ждал меня в Петрограде. Все хотели жениться на мне. Кроме тебя. В Казани у тебя была Мариша. А теперь Надя Медведева. Она красивая?

— Приятная.

— И любит тебя?

— Кажется, да.

Они долго молчали.

— Значит, вернешься? — спросил Карновский.

— К тебе?

— К себе. Это и значит — ко мне.

— И снова будут смотрины?

Карновский засмеялся.

— Когда я уезжала из Казани, мне казалось, что всё у меня — там, не знаю где, в Париже. Теперь у тебя всё в Москве, а здесь — только я. Немного... Значит, вернуться?

— Да.

— Как?

— Еще не знаю. Я снова приеду. Теперь это стало нетрудно. Все еще будет хорошо. Милая, родная моя, все еще будет хорошо.

— Пора вставать. Что я скажу Георгию? А ты не думаешь, что мне будет трудно в России? Я прочла много книг, есть прекрасные. Я видела «Турандот». Но когда

я читаю другие книги, не прекрасные, я начинаю думать, что мои холсты будут казаться там странными или даже «иностранными». И что в Париже до меня никому нет дела, а у вас. . . Может быть, я ошибаюсь.

— Если бы тебе предложили выбор — ты осталась бы здесь?

— Ни одного дня.

— Так о чем говорить?

— А Надя Медведева?

25. VIII. 25. Мениль.

Ежик, твой крестник, бродит по дому ночами, стучит лапками, а я все думаю, думаю. Что же случилось? Почему все вдруг сорвалось, распалось? Почему? Может быть, потому, что наша встреча заставила меня взглянуть прямо в глаза моей переломанной жизни? Ради веры в призвание, надежды, мечты я с мукой добралась до Парижа. Я думала, что счастье без живописи для меня невозможно, а живописи не было бы, если бы я осталась с тобой. Но ее нет и сейчас — я и ее и тебя потеряла. Чем оказался для меня долгожданный Париж: случайной работой, полуголодной жизнью, росписью ночных кабаре в русском и японском стиле, Гордеевым, «Ротондой»?

Ежик стучит лапками. Очень тихо. Светает, сквозь шторы уже просится утро. Я пишу тебе в постели. Жаркая ночь, Георгий спит на дворе.

Может быть, для моей живописи нужно, чтобы я не находила себе места и терзалась невозможностью видеть тебя? Мне жизненно важно было убедиться в том, что ты меня любишь. Это звучит смешно, если вспомнить, как давно мы близки, но как бы мы ни были безоглядно

близки, сомнение никогда не оставляло меня. И вот я думаю, как все было бы у нас, если бы это — мое возвращение — стало возможным? Кем стала бы я для тебя? Как-то в Ялте, которую я часто вспоминаю, мы с Вардгесом Яковлевичем пошли в домик Чехова. С каким трепетом рассматривала я его вещи! Мне казалось, что он жив и только уехал на время из дома. Ты не писал мне, что был в чеховском домике. Но конечно же был! Так вот, Вардгес Яковлевич рассказал мне тогда историю Лики Мизиновой. Он услышал ее от сестры Чехова Марии Павловны, у которой часто бывал. Я слушала с жадностью — ведь мы, женщины, всюду ищем свое.

Почему я вспомнила этот разговор, Ялту, чеховский домик? Не знаю. Была простая и необыкновенная жизнь, была и ушла любовь. Кто захочет, тот и войдет в кабинет, в спальню — совсем девичью, простенькую, белую. Я — в отчаянии, мой дорогой. Может быть, мне не посылать тебе это письмо? Заколдованный круг!

25. IX. 25. Париж.

Мой родной, дело совсем не в том, что мне негде хранить твои письма. Таскала бы в сумке, перечитывая в минуты тоски, а потом спрятала бы в укромное местечко. Дело в том, что после каждого твоего письма я хожу сама не своя, улыбаясь некстати и чувствуя себя, как в детстве, когда времени сколько угодно и кажется странным, что может кончиться счастливый медлительный день. Я не только бросила срочную работу (которая даст мне возможность приняться наконец за «свое»), но начинаю искать в небе ангелов с распростертыми крыльями.

Репродукции Гордеева еще не вышли из печати, по-

чему-то задерживаются, вероятно из-за дороговизны. После твоего отъезда он перестал писать мой портрет, долго молчал, потом вдруг вспыхнул — последовала сцена, отвратительная по своей бессмысленности и повторяющаяся, как во сне. Жить с ним трудно, я втихомолку снова решила расстаться, и на этот раз — надеюсь — бесповоротно. Надежда эта связана с другой, о которой еще рано говорить. Ты догадываешься? Возвращение.

В прошлый раз я забыла вложить в письмо стихи Ларисы Нестроевой, которые прислала Маша Снегова мне из Праги. Вот если бы эти звуковые (смысловые) волны перевести в световые (цветовые) — что за праздник получился бы на холсте. Да куда мне! Не по Сеньке шапка!

Говорят, Нестроева скоро приезжает в Париж. Пойду на ее вечер и постараюсь — мечтаю — познакомиться с ней.

Как твои материальные дела? Как здоровье? Как живется в Москве? Здесь цены на все поднимаются. Куда думаешь поехать на святки? Уж не в Петроград ли? Если — да, не забудь навестить наши места — Михайловский сад, набережную у сфинксов.

Почему ты не рассказал мне о своем горском мальчике? Ты ведь знаешь, что мне дорого все, что связано с тобой. Впрочем, у нас не было времени. История — удивительная. Тебе, должно быть, покажется странным, что я ревную тебя к нему? К Наде Медведевой — нет, а к нему — да. Мы с тобой в чем-то стали теперь неравны. Пришли мне его фотографию.

Последние дни в Мениле было у меня огорчение: ежика, твоего крестника, не уберегла. Георгий сердился, когда он гулко бегал по ночам, постукивая лапками, а мне

сладко думалось о тебе. Ушел, точно знал, что мы уезжаем и все равно скоро придется расстаться.

Кажется, мы с тобой еще никогда не переписывались до востребования? Так вот: пиши-ка мне Poste Restante, Bureau, 102, Boulev. Pasteur.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

17. VIII. 1926.

Милый друг, мы в Бонифачо, на Корсике, — вне времени и пространства. Дожили до того, что остается, кажется, сделаться чемпионами мира по плаванию: морем до Марселя, а оттуда — по шпалам. Или — что вероятнее — придется оставить Георгия заложником (в лавочке — долги), а самой ехать в Париж раздобывать деньгу. Не хочется смертельно. Я работаю, захлебываясь, уговаривая себя не спешить, передохнуть. Точно сам св. Пафнутий (покровитель художников) ткнул меня в то, что я давно должна была увидеть, понять, написать. Что-то вдруг открылось, распахнулось во мне. Объяснить это сейчас невозможно. Может быть, потом, когда остановлюсь, оглянусь.

Бонифачо — городок удивительный. Живут здесь люди, для которых именно это важнее всего, то есть что они — люди. А что они — рыбаки, виноделы, кожевники — тоже, разумеется, важно, но не так, поменьше. Между собою все они — родственники. Работать им некогда — то крестины, то похороны, то свадьбы. Праздников — немного меньше, чем дней в году. Называют они себя: «рантье без ренты», — с юмором, который понимают и ценят. Женщины носят красивые красные кувшины на

головах, не придерживая — по-итальянски. Носят грациозно — откинутость стана придает им гордую осанку. Многие в трауре: по близким родственникам здесь ходят в трауре пять-шесть лет. Впрочем, и национальный костюм у них — черного цвета. Много хорошеньких, но нравы очень строгие, по-своему домостроевские. Если девушка просватана, а жених скрылся — кончено! Никогда и никто ее не возьмет. Но стоит ему показаться на горизонте — женят насильно или убьют.

Здесь принята до сих пор vendetta, о ее героях рассказывают фантастические истории. Жандармы смотрят на бандитов сквозь пальцы, а «континент», то есть Франция, даже фабрикует для них специальные ножи: с одной стороны вдоль лезвия — «vendetta Corsa», а с другой — «Che la mia ferita sia mortale» [1].

Прибавь к этим впечатлениям море, в которое бонифачийцы «вписаны», как будто они и не могут существовать вне его синевы, соли, свежести, и ты поймешь, как не хочется мне уезжать отсюда.

Пишу тебе у окна, а через стекло меня смело рассматривает ласка. Каждый день она приходит за своим обедом, который мы ей оставляем неподалеку. Живем мы в километре от Бонифачо, на скале (где стоит крестик). Прямого спуска к морю нет, приходится обходить полкилометра. С нами — Джакомо, друг Георгия, тот самый грустный, рассеянный бородач, русский художник с иностранной фамилией, который интересовался твоим мнением о нашей «птичье-небесной жизни». Кстати, эта формула как нельзя лучше подходит к нынешнему образу существования: мы живем робинзонами, в крошечном домике, без мебели, спим на ящиках и соломе. Зато из

[1] Да будет моя рана смертельна (*итал.*).

окон видна Сардиния. Георгий собирается промышлять рыбной ловлей. Вчера, например, он притащил какую-то красную, похожую на бульдога рыбу, такую занятную по цвету и форме, что я ее писала целый день, пока взревевшие от голода мужчины не заставили меня сварить из нее уху. Так-то, мой дорогой. Все было бы хорошо или по меньшей мере недурно, если бы я не вспоминала чаще, чем следует, о том, что в Париже, на бульваре Пастер, есть bureau № 102, а в этом bureau меня ждут твои письма. Не о любви, а хоть о том, что ты жив и здоров (как твоя малярия?), о живописи, о твоей летней бродяжнической жизни, которая так странно соединяется с зимней, академической, математической.

Не подумываешь ли снова — ох! — приехать в Париж?

Так же, как первые парижские письма Лизы Тураевой, это письмо состояло из открыток с «продолжением», ожививших и дополнивших ее рассказ о Бонифачо и корсиканцах. На развернутой панораме бонифачского побережья был отмечен крестиком маленький домик, стоявший высоко среди скал и еле заметный среди кустарников «маки́». Панорама охватывала лишь часть побережья и кончалась каменной трапецией Цитадели, напоминавшей суровую крепость Вобана в Марсельском порту.

10.IX.1926. Бонифачо.

Объяснить тебе, как я пишу, — трудно. В тех холстах, которые ты видел в Мениле, была определенность, от которой я теперь сознательно отказалась. Тебе понравилось мое «Зеркало», попробуй представить себе, что ты

пришел к пониманию того, что это — зеркало (а не окно или дверь), не путем прямого, непосредственного постижения, а через живопись, через цвет, его движение, композицию и т. д. Корсика — собор, построенный природой. Это страна величественная, готическая, вознесенная к небу. Камень, море и лес в неожиданных, поражающих сочетаниях. Взметенные и навеки застывшие, дикие, покрытые зеленью скалы. Предметность, обязывающая, настоятельная, рвущая холст, — не удивительно, что мне захотелось шагнуть через нее: увидеть ее не в смысловом, а в живописном значении, в отношениях цвета. Ну, как еще объяснить? Из темного грота я вижу море, которое где-то сливается с небом. На этом фоне графически отчетливо вписаны неподвижные рыбачьи лодчонки. Но вижу я не море и небо, а лилово-лазурные тона светящегося полукруга, и в нем, в его глубине, синеватые матово-черные стрелы. Это вовсе не значит, что море и небо навсегда исчезают с холста. Если работа удается, они появляются снова. Но теперь они принадлежат уже мне и никому другому, потому что именно я увидела их такими.

Ты скажешь, что я сошла с ума, стараясь сперва потерять предмет, а потом найти его в переходах цвета? Может быть! Корсиканцы, кажется, уже решили, что я — помешанная, но они любят меня, деликатны и только скорбно покачивают головами. Георгий, у которого нет времени на споры, бесится, но молчит. Единственный человек, которому нравятся мои картины, — бонифачийский дурачок Жозеф, мой самый близкий друг и ежедневный гость. Он высокий, худой, без «фаса», безобидный и удивительно добрый. Его зовут простаком (simple), за глаза подтрунивают. Он болен, рыбной ловлей занимается для удовольствия, живет в семье сестры, где его очень любят.

Завтра еду с Георгием в горы — начало охоты. Хочу воспользоваться экипажем и писать этюды в оливковых садах. Для меня это — печальный день, я совершенно не переношу убийства. Старая тема, но меня она всегда остро волнует. И представь, Георгий — страстный охотник. Я понимаю его страсть (как спорт), но видеть убийство и страдания животных — не в силах. Вся беда в том, что мы многое, очень многое допускаем — лишь бы не видеть!

Днем еще жарко, а утром и вечером уже свежеет. Дни стоят нежные, голубые и бирюзовые. Как только начнутся ветры, особенно мистраль, придется укладывать пожитки. Привет Наде. Очень рада, поздравь ее за меня. Что представляет собой студия, в которой она будет играть? Это — театр?

15. X. 1926.

Так вот что ты называешь «письмами не о любви»? Снова поехать в Крым, пройти от Гурзуфа до Алупки, провести ночь в Верхнем Мисхоре, у старика Бекирова, который еще помнит меня? Найти Олеиз, где я мечтала о Византии? Поехать в Казань и опоздать на торжественное заседание памяти Лобачевского только потому, что тебе захотелось убедиться в том, что еще жива, не вырублена роща за Новиковой дачей? Спасибо тебе, мой родной. Но подумай и обо мне — о той, которая читала тебе «Александрийские песни» Кузмина в этой березовой роще...

Но больше всего я благодарна тебе за фотографию Вардгеса Яковлевича. И где только ты достал ее — ума не приложу. Написал в Эривань? Свел знакомство с какими-то армянскими художниками? Таким молодым, как

на этой фотографии, я его не знала — это, должно быть, девяностые годы? Хотя и догадывалась, что он был очень хорош собой. Какое умное, доброе лицо, не правда ли? Глаза — задумчивые, разрез — плавный, продолговатый, и какие-то победительно-нежные. Даже борода — добрая. А эта трогательная франтоватость, над которой я подшучивала, — белый жилет, изящная шляпа с кантом, брелоки! Он ведь и в голодной, опустошенной Ялте старался принарядиться. Ты не мог сделать мне лучшего подарка.

В наказание посылаю тебе образец «письма не о любви».

Вчера я была на вечере Ларисы Нестроевой. Впечатление сильное, острое. Впечатление неожиданной зависимости от ее поэзии и даже едва ли не от самого факта ее существования. Стихи ее трудно слушать, их надо читать глазами, вдумываясь в каждое слово. Но и не вдумываясь, а только смутно их различая, начинаешь чувствовать, что вся она — невысказанный упрек нам, ушедшим с головой в постылую борьбу за существование. Ушла — должна была уйти в это — и она. Но она не только «в ней», но и «над ней». И в этом «над» — ее сила. Причем это «над» относится не только к нашей распыляющей сознание жизни. Это — «над», заглядывающее вперед, не частное, а самое общее, какое только можно представить. Не умею выразиться яснее. Читает она тихим голосом, сдержанна и внешне спокойна. Смертельно хочу познакомиться с ней, инстинктивно чувствуя, как это важно для меня и для моей работы.

Была на выставке средневекового искусства в Национальной библиотеке. Какие краски, какое великолепие! На выставке — не только манускрипты с их чудом паутинной работы, на стенах — драгоценные фигурные ков-

ры, в витринах — слоновая кость, золото нумизматики, золотые львы и леопарды, золото — червонное, светлое, теплых и холодных тонов. А какая ксилография! Невозможно представить себе, что это — ее детство, первые шаги. Коричнево-красные, желтые, серые краски сохранили свежесть, в этом ты можешь убедиться и сам — посылаю тебе репродукцию одной из лучших ксилографий конца четырнадцатого века. Не кажется ли тебе, что она напоминает Шагала?

P. S. Спасибо за фотографию твоего маленького горца. На ней — ты, человек никогда не садившийся на лошадь, а он — никогда с нее не слезавший. Первое вполне соответствует действительности, если вспомнить твой рассказ о Военно-Сухумской дороге. Второе — догадка, конечно, хотя что-то летящее, подгоняющее, стремительное можно различить в его, еще детском, взгляде. Ты пишешь, что он принадлежит к тем редким натурам, которые добиваются своей цели в девяноста девяти случаях из ста. Дай бог.

22. IV. 1927. Париж.

Вот уже три месяца, как я не работаю, начатые холсты стоят лицом к стене, и отвращение, которое я испытываю к себе, никогда еще не казалось мне таким ощутительным, осязаемым. Вот его бы и написать! Куда там! Ни одной свободной минуты! Расписываю шелковые модные платки, шали, шарфы. Занята с утра до поздней ночи и боюсь только одного: остановиться, оглядеться. Сперва меня пригласили в одну мастерскую пайщицей, а потом надули (тайком продавали мои платки за 200 франков, а мне выплачивали только сто) — и тогда мы с Гордеевым, набравшись смелости, решили открыть мастерскую прикладного искусства. За крошечное ателье

2,5 на 6 метров заплатили 500 франков отступного и столько же за ремонт. Занимаемся мы выжиганием и раскрашиванием зонтичных ручек и выпускаем — ты не поверишь — до 500 ручек в день. В ателье работаем мы с Георгием и еще два художника, а остальные десять (с женами) — дома. Меня зовут «королевой пирографии», и молва обо мне обошла все ателье. Таким образом, моя деятельность получила наконец широкое признание. Сколько времени будет длиться эта мука — не знаю, должно быть, еще месяца два. Я выплатила спешные долги, купила два платья, туфли, пальто — деловая женщина должна прилично одеваться. Короче говоря, я — в отчаянии, мой дорогой! Случается, что я вдруг, задохнувшись, приложив руку к сердцу, останавливаюсь перед страшной мыслью, что слепну, теряю чувство цвета, перестаю *видеть*.

Прибавь к этому еще одну неожиданность, которая могла доставить мне много радости, а принесла только одни огорчения. Алексей (мой первый муж) в Париже. Я узнала об этом от одной незнакомой дамы, в чужом доме, однако, как вскоре выяснилось, совсем не случайно. Алексея она знает очень хорошо (жила с ним в одной квартире в Стамбуле). Он теперь богатый или, по меньшей мере, состоятельный человек. Она пришла в этот дом, чтобы сказать мне, что он будет счастлив поговорить со мною. Я, разумеется, сразу же согласилась — мне самой очень хотелось увидеться с ним, вспомнить Чибукли, расспросить. Но по своей глупой откровенности я рассказала об этом Георгию, и он устроил мне отвратительную, дикую сцену. День и час были уже назначены, но я была вынуждена послать Алексею записку — откровенную, — что мы не можем встретиться, к моему глубокому сожалению.

Надо же было, чтобы через несколько дней, в церкви, у всенощной, мы оказались почти рядом с ним. Я не видела его, было много народу, но Георгий видел. Конечно, он не поверил мне, когда я сказала, что мы не встречались, и ты легко можешь представить себе, что началось в тот же день, едва мы вернулись в нашу опротивевшую мне сараюшку! Нет, надо уходить. Но куда? Куда?

2. V. 1927. Париж.

Да, мне тоже хочется прочитать мемуары Казановы. Что за век! Сейчас к нему большой интерес и в искусстве. Мастеров барокко «открывают» снова — и, как это всегда бывает в подобных случаях, преувеличивают их значение. Первая стена в Лувре (помнишь, в Итальянском зале) считалась скучной, а теперь о мастерах, мимо которых прежде равнодушно проходили, читаются курсы лекций.

Ситроен (автомобильная фирма) отправился в Африку для испытания своих гусеничных машин и взял с собой Александра Яковлева. Вот кому повезло! Мы с ним не встречались с тех пор, как я занималась у него в студии Добужинского, а тут вдруг случайно встретились на одной выставке, и он интересно рассказал о своем путешествии. Экспедиция пересекла Африку, а потом, по восточным провинциям, добралась до Мадагаскара. Он работал урывками, только на остановках. Его модели разбегались во все стороны, заставить туземцев позировать было почти невозможно. И все-таки он привез триста больших рисунков и около сотни этюдов. Писал вождей африканских племен, их жен, детей, домашнюю жизнь, охоту. Его выставка имеет громадный успех. Я по-

шла и была разочарована. Это новость для Парижа, но не для живописи. Он очень многое видел, но почти ничего не «увидел». Впрочем, кажется, так думаю только я.

Умер Рильке, ты, верно, читал? Или у вас об этом не пишут? Иногда мне кажется, что я вижу сон, чем-то значительный в самой своей нелепости, один из тех, которые начинаешь рассказывать — и вдруг останавливаешься, запутываешься, умолкаешь. А иногда я записываю в карнэ какую-нибудь свою мысль (для тебя), а потом не могу разобрать собственные закорючки.

Ездила по делам Георгия в Экс, на родину Золя и Сезанна. Забавный город! И к тому и к другому относятся с отвращением. Золя поставили памятник, и сразу же на постаменте появились — и появляются до сих пор — оскорбительные надписи. В музее — ни одной картины Сезанна. Нет пророка в своем отечестве!

Я могла бы написать тебе о гастролях еврейского театра «Габима», имевшего большой успех в Париже. О том, что для настоящей оценки Энгра, оказывается, был нужен кубизм. О том, что я читаю Марселя Пруста (когда есть время) и твои письма (даже, когда его нет). О том, что я купила старый (13-го года) иллюстрированный каталог выставки икон в Москве. Кстати, не попадется ли тебе каталог за 1912-й?

Вот видишь, как много занятного и поучительного на свете, кроме любви.

К Наде не ревную. Передай ей мой привет, скажи ей, что она для меня — милая сестра. Я хотела послать ей что-нибудь с тобой из Парижа, но ведь было «житие» с одной стороны и расцвет души — с другой. Пришлю при первой возможности. Люблю ее уже и за то, что она не отняла тебя у меня.

В Париже погода ужасная, вечный дождь, а если случится ясный день — жара и духота умопомрачительная. Но город розовый и голубой, все мужчины носят розовые костюмы и шляпы. Дамы подражают Жозефине Беккер — прелестная мулатка!

Мы снова поедем на Корсику — если удастся оставить ателье за собой.

Это прекрасно, что ты так радуешься, помогая своему Джамилю, хотя не могу взять в толк, чем он напомнил тебе младшего брата. Твой брат был русский гимназист (помню его прекрасно, хотя видела только раз), то есть личность вполне определенная в своей грубоватости, беспечности, лохматости, браваде. И особенным отношением к миру, которым гимназист и отличался от реалиста или кадета. А Джамиль, судя по твоим письмам, человек неколеблющийся, отдающий себе приказания. Он принадлежит к своему народу, — кстати, я даже не знаю, кто он? Лезгин? Для меня новое в его истории соединяется со всей той новизной жизни в России, о которой после твоего отъезда осталось все же впечатление «не в фокусе», хотя я многое поняла и узнала.

Бонифачо, 2.V.1927.

О, какой ураган! Как скрипит и дрожит наш домик, открытый со всех сторон, и как страшно показывается серо-черная громада Цитадели на той стороне обрыва. Ты видел «Золотую лихорадку»? Вот такой же ветер рвется в наши окна, стучится в дверь, а на чердаке точно кто-то мечется из угла в угол и гулко хлопает полуоторванной ставней. Холодище, впору хоть надевать шубу. Модель для моего портрета — старый рыбак, красномордый и лукавый, не пришел из-за плохой погоды. Остается только писать себя. Это было бы недурно, если бы не

приходилось довольствоваться маленьким зеркалом. Обещано большое. Тогда мне легче будет смотреть на себя, как на модель. Маленькое зеркало, существующее для того, чтобы подвести глаза или попудриться на ходу, напоминает мне, что я женщина, а посторонние мысли, как известно, вредны для работы. В особенности когда невозможно сделать их непосторонними или даже главными. Это удается немногим. Лариса Нестроева, с которой я наконец познакомилась накануне отъезда, не выходит у меня из головы. «Немногие» — это она. Наши страдания, наш внутренний голос, заглушенный интересами дня, наша работа, до которой так трудно дойти, доползти, добраться, — это тоже Россия. И, может быть, самая страшная, самая безнадежная сторона нашей нищей, цыганской жизни — непонимание или нежелание понять, что мы — тоже Россия. В Нестроевой поражает не только острота умственного зрения, но сила художника, сумевшего превратить в поэзию и это. Да не «и это», а именно это. Поэзия для нее — поступок, это сказывается даже в том, как она читает стихи. И не только поэзия. Она живет в мире поступков, значительных решений, не шажков, а шагов. Либо отказывается — и наотрез, либо признает и тогда, как у Блока, «приветствует звоном щита». Обкатанное, благополучное существование не может превратиться в искусство, потому что надо отдавать жизнь сырьем, перемолотую, не даренную, а выстраданную.

Вот о чем я думала, глядя в маленькое зеркало, работая над своим автопортретом — в шляпе, в повороте труакар, с левой стороной лица, уходящей в бесконечность, в Корсику, в этот ураган, сотрясающий наш жалкий домик. Да, бросить все, и прежде всего Георгия с его искренним, несчастным желанием сделать меня «своим

созданием», то есть собой, уйти, не знаю куда, остаться одной — и работать! Не зарабатывать, а работать. Мне немного надо одной. Авось не умру! А так непременно умру — и очень скоро. Мне и то часто снится, что я умираю от чахотки и пишу тебе об этом, и боюсь, что не успею кончить письмо.

На днях Георгий и Джакомо выпили коньяку больше, чем следовало, и, когда я на что-то пожаловалась, стали подтрунивать над моей печальной судьбой. Смеялась и я. Решено было меня похоронить. Джакомо сочинил эпитафию, Георгий нарисовал эскиз памятника, а я написала завещание, оставив ему не картины, которые ему не нравятся, а свой скелет. Потом мы спели погребальную мессу и устроили отличный колокольный звон с помощью ложки и медного таза. И это было так грустно... себя хоронить. Кончилось это горькими слезами (конечно, моими), как, впрочем, и полагается на похоронах.

Будь здоров, мой дорогой. Я еще жива, как видишь. Мой старый рыбак пришел, несмотря на отвратительную погоду, и рассказал с глубоким сожалением, что жандармы убили героя Корсики, бандита Романетти, короля «маки́» (так называются здесь непроходимые кустарники, которыми покрыты горы). Говорят, что его предал один из ближайших друзей. Ты, конечно, читал «Коломба́» Мериме? Нравы на Корсике не изменились с тех пор. Зимой в нашем домике тоже скрывался бандит. Ему тайком приносили еду. На ставне до сих пор сохранилась предостерегающая карандашная надпись, а у моей постели вся стена закопчена костром, который он разводил в комнате, чтобы дым не был виден над трубой. Привет милой Наде. Как она поживает? Пиши, родной.

Твоя Лиза

14 июля 1927. Бонифачо.

Сегодня, завтра в Париже все танцуют. На площадях оркестры играют фокстроты и шимми. Шоферы, проезжая мимо, вылезают, делают тур-другой и возвращаются к терпеливым седокам. «Взять Бастилию» спешит весь Париж. До 14 июля он делится на богатых и бедных, веселых и угрюмых, злых и добрых, а после 14 июля лишь на «уезжающих и остающихся». Все, кто может уехать, страстно ждут этого дня.

А мы живем здесь язычниками, дикарями. Я сильно загорела, потолстела и даже, говорят, помолодела лет на пяток. Рыбаки наивно ухаживают за мной, и Жорж не ревнует, может быть, потому, что кроме своих панно очень занят охотой. В хорошие дни ходим километров за шесть к фонтану пресной воды (здесь с водой трудно). Дорога утомительная, каменистая. Как-то на днях я устала, меня посадили на осла (который вез хлеб, вино и кастрюли), и мужчины, которые шли сзади, говорили, что это было занятное зрелище: мой силуэт проецировался на зарю с грозными облаками, вокруг шли рыбаки с длинными удилищами — ни дать ни взять Жанна д'Арк с почетным эскортом!

Последнее письмо, которое я получила от тебя перед отъездом на Корсику, было из Нижнего. Конечно, я помню главный дом на ярмарке и ужаснулась, представив себе, что он был почти на сажень под водой. Я читала о необычайном разливе Волги в этом году, но, конечно, и представить себе не могла, что вода залила не только деревни и села, но и такие города, как Астрахань и Нижний.

Из письма Карновского: «. . .А у причала в Нижнем стоял наш с тобой «Владимир Мономах» под другим,

конечно, названием. Так же готовятся к ярмарке, так же продают воблу на берегу, а плашкоутный мост еще не наведен. По вечерам с Откоса видны тихие зори, а позднее — затуманенная даль с коростелями и отдаленным, уже сдержанным рокотом соловья. Ему осталось петь тринадцать дней, тех самых, которые еще так недавно отделяли Русь от Европы. Она отделена теперь не временем, а характером постижения жизни. И я не понимаю, почему люди с жаждой необычайного не рвутся в Россию»...

...А как я завидовала твоей поездке в Вятку, и как умно ты поступил, найдя время среди своих лекций и консультаций съездить на Керженец, в те места, где стояли и еще стоят, как ты пишешь, раскольничьи скиты! Я почему-то думала, что Китеж — в Костромской губернии. Кстати сказать, в прошлом году я видела ваш чудесный «Град Китеж» в Гранд-Опера. Надо обладать талантом и энергией Эмиля Купера, чтобы соединить французский оркестр с русским хором и *без декораций* добиться такого успеха!

Поздравляю тебя с днем рождения и посылаю цветы абсента. Тот горько-сладкий напиток, который готовился из него во времена Верлена, запрещен. От него сохранилось только название. Но здесь его готовят и пьют. Что касается меня, я кладу абсент в постель — здесь царство блох, которые боятся его, как нашей полыни.

Надеюсь, что ты не рассердишься на меня за этот более чем скромный подарок? Я надеялась, что мне удастся закончить свой автопортрет и послать его тебе ко дню твоего рождения. Не удалось, но непременно пошлю — должно быть, уже из Парижа. Привет Наде, как она? Какой умница Джамиль, что не согласился с твоим «треб-

ником любви». Представляешь себе, как выглядел бы этот требник в его ауле? Мне кажется, что у вас с ним есть общие черты — равнодушие к повседневности, которая, по самой своей сущности, не может помешать достижению цели.

18. IX. 27.

Пишу тебе с «необитаемого острова» — не знаю даже его названия. Это — первая наша поездка на лодке с местными рыбаками: иметь или снимать лодку иностранцам запрещено — близка Италия, боятся шпионажа...

Набрав всяких съедобных ракушек, я лежу у моря, прислушиваясь к колокольчикам коз, которые бродят где-то неподалеку по скалам. Лежу и думаю о том, что любовь — это, в сущности, простейший способ познания мира и что подлинную сущность человека видит только тот, кто действительно любит. Кто писал о «музыке души»? Ее-то и слышит тот, кто любит. А все другие слышат в лучшем случае гаммы, а то и уличный шум...

Кончаю вечером, дома. Мужчины вернулись с рыбной ловли, и мне пришлось оторваться от своих размышлений: началось главное событие дня — приготовление ухи. Все горячатся, кричат. Рыбу чистят прямо в воде, внутренности растирают между скал, волны разносят запах, и из-под скал выползают мурены. Огромные, больше метра, со змеиными головками, похожие на удава. Их бьют острогой — и нужно метко попасть, если не хочешь получить ядовитый укус, который долго не заживает. Мурена умирает, извиваясь стремительными, острыми углами. Зрелище невыносимое, и для меня оно не искупается тем, что рыбаки готовят необычайно вкусное блюдо из ее белого, нежного мяса.

Мы проживаем последние деньги и в конце сентября вернемся — без единого су — в Париж.

Я очень рада за тебя, что ты сможешь этим летом съездить в Сибирь, — это, по-моему, не менее интересное путешествие, чем за границу. И я завидую Наде, с тобой очень приятно ездить. Только, пожалуйста, не скупись, пиши мне с дороги чаще и подробнее. Мне не хотелось бы прерывать переписку до осени, как это всегда бывает. Если самому будет некогда, пусть Надя пишет, я буду аккуратно отвечать, только адрес напиши заранее, если можно.

Как вы жили эту зиму? Расскажи мне о театре, в котором играет Надя. Как ее дела? Ты пиши о ней побольше, я всегда рада. Я хотела бы ей написать о здешнем театре, но, к сожалению, почти не бываю, а писать чужие отзывы как-то неинтересно. Собирались сходить на новинку, но не удалось. Сначала много работали, а потом сразу уехали: и устали, и денег не хотелось тратить, чтобы побольше сохранить на лето.

Обнимаю тебя, мой дорогой.

*К этому письму, отправленному из Парижа, был при*ложен автопортрет Лизы, очевидно, тот самый, о котором она писала: «в шляпе, с левой стороной лица, уходящей в бесконечность». Но это была вовсе не расплывающаяся, неопределенная бесконечность. Лицо было размышляющее, с широко открытыми глазами, а слева от него — стремительно бегущие вверх зеленые и розовые пятна: буря, ворвавшаяся в кустарники, пригибающая деревья. Неподвижно тупой оставалась только серосолдатская граненая корма Цитадели.

25. XII. 27. Париж.

Плохи мои дела, родной. Я почти бросила работу в надежде, что «ателье» обеспечит нас хоть на полгода. Увы, его пришлось закрыть. За границей не хуже нас научились расписывать шали и зонтичные ручки. Покупают теперь только образцы. Англичане и американцы сбежали из Парижа — дороговизна, кризис, «благодетелям» не до искусства. Хорошо, что у нас было кое-что зимнее, а то обносились на Корсике, купить не на что, а между тем в Париже настоящий русский мороз. Сегодня на улицах — веселые, спешащие на праздничный вечер люди с игрушками и цветами в руках. А мы торчим в своей тараканьей щели, где даже нашему коту Прокофию некуда протянуть хвост, и никаких тебе праздников, никаких игрушек. Вот сижу я сейчас с ногами на кровати и пишу тебе, а Георгий и Джакомо свистят дуэтом, выглаживая стеклянными шкурками свое панно, — вообрази эту приятную музыку! Вчера, впрочем, был хороший вечер: читали «Конька-Горбунка» и пели студенческие песни.

Но все это кончится когда-нибудь — не привыкать стать! Может быть, и скоро!

А теперь о другом. Помнишь ли ты мое письмо, кажется, апрельское, о вечере Ларисы Нестроевой? Я писала тебе тогда, что хочу поближе познакомиться с нею. Это осуществилось при довольно странных обстоятельствах.

Еще в Стамбуле я познакомилась с Машей Снеговой, художницей, приятной, хорошенькой, но пустоватой женщиной, — помнится, я писала тебе о ней. Она прожила несколько лет в Праге, потом переехала в Париж. Мы встречались хотя и редко, но сердечно, не потому, что нас связывали общие интересы, а потому, что обе нуждались

в женской дружбе. История у нее — не веселее моей. Она была влюблена в одного молодого человека (русского), замучившего ее своими «ни да, ни нет». Объяснялась эта нерешительность просто: он был близок с Ларисой Нестроевой. Не берусь судить об этих отношениях. Но раз уж они были, значит, и в нем что-то *было*. Но вот с месяц назад все решилось. Свадьбу устроили по старинке, со всеми обрядами и даже с посыпанием молодых овсом. Я, признаться, не удержалась от слез, увидев подругу в подвенечном платье, измученную и все-таки хорошенькую. А через несколько дней она прибежала ко мне в горьких слезах. Что же произошло? Нестроева вместо свадебного подарка принесла Маше переписанное собственноручно стихотворение, которое посвящено истории ее любви. Да какое там посвящено — пронизано, проникнуто, распято!

Я утешала Машу, но, скажу откровенно, была восхищена этим, ни на что на свете не похожим, королевским, шекспировским шагом. Стихи необыкновенные, ударившие меня прямо в сердце, написанные — господи боже ты мой! — о нас, Костенька, о нас! Мы условились не писать о любви, так вот, как будто подслушав этот запрет, она о ней для нас написала. Как на Синай возвела она безвестность нашей любви, гордость этой безвестности, разлуку, которая не разлучает, а оборачивается неразрывностью, невозможностью расстаться.

Давно уже все у Маши уладилось, она снова приходила ко мне, веселая, и моя жизнь идет, как прежде, — с безденежьем, с муками работы, а я все не могу расстаться с этими стихами, которые не только выучила наизусть, но храню вместе с твоими письмами, потому что это и есть твои и мои, наши письма.

Теперь о встрече: ты знаешь, что я свободна в обра-

щении и, вообще, неробкого десятка, а тут как на экзамен пошла, волновалась ужасно. Я ведь не очень понимала, зачем иду, но после десятиминутного разговора обе мы уже знали, что эта встреча была мне нужна, как... должно быть, как хлеб.

Ты помнишь, Костенька, я всегда завидовала твоей удивительной способности прочитать страницу одним взглядом. Именно так, с первого взгляда, она меня прочитала. Тогда, на своем вечере, она была другая, приказывающая себе быть сдержанной, не отпускающая себя от себя, если можно так выразиться. И теперь сдержанна, но совсем по-иному. Ну, как передать тебе впечатление? Одета более чем скромно, платье немодное, поношенное, но все пригнано, подтянуто. Впечатление внутренней собранности вспыхивает сразу же после крепкого рукопожатия, а потом поддерживается каждым движением и словом. Фигура — прямо-таки египетская: плечи широкие, талия тонкая. Кажется неженственной, в светлых глазах прячется (а когда не надо прятаться, должно быть, ослепляет) умная женская сила. Еще одно впечатление: не спускается к собеседнику, а поднимает его до себя. Ну, а если не дал бог собеседнику крыльев, тогда просто — вежливость, естественная для полузнакомства.

Она живет в Медоне, в пятнадцати минутах поездом от Парижа, полдомика с маленьким садом, у нее двое детей: мальчик, наверное, годика два, кругломорденький, в локонах, синеглазый, и девочка лет семи, красивая, с твердым, недетским лицом. Она пришла потом. Я застала Ларису Ивановну в домашних заботах, и сперва мне показалось, что она недовольна. Но как раз эти заботы и помогли моему смущению и первым неловким минутам. Она не могла поздороваться, обваливала мелкую рыбу в муке и жарила — и я, недолго думая, засучила

рукава и принялась ей помогать. И наш разговор, как ни странно, начался с этой рыбы. Все утра пропадают, четыре раза в неделю рынок, нельзя пропускать и т. д. Она сказала, что «рыба», то есть дом, хозяйство, дети ничуть не мешают ей думать, но чувствовать — нет! Нельзя чувствовать, когда у тебя клейкие руки, масло брызжет, когда ежеминутно прислушиваешься — не плачет ли Саша, и беспокоишься, почему так долго не возвращается Катенька, которая пошла за «coeur de cheval». Я сама постоянно покупаю «foie» или «coeur de cheval» [1], три с половиной франка за фунт, потому что конина вдвое дороже.

Мы заговорили о Катеньке. Лариса Ивановна сказала, что хочет отдать ее не в обычную школу, а в школу рисования Добужинского и Билибина. Я упомянула, что сама училась у Добужинского, и как-то незаметно растаяла первая неловкость. А потом мы уже говорили... Да бог весть, о чем мы только не говорили! Я почувствовала, что понравилась ей, иначе она не была бы со мной так откровенна. Или поняла мое одиночество? Или сама одинока? Но о том, как я пыталась сравнить наши жизни, — после.

Конечно, Лариса Ивановна догадалась, что я не только прочитала стихи, которые она подарила Машеньке, но и пришла-то потому, что прочитала! Мы говорили о поэзии, о живописи, о том, что жизнь, которая не дает художнику стать художником, — это и есть его биография. Она не жаловалась, но вдруг как-то мельком сказала, что в Париже и надо жить Парижем, а иначе он бессмыслен; она живет здесь уже скоро год, а Notre Dame еще не видела. Я кое-что знала о том, как ее при-

[1] Лошадиные печень и сердце *(франц.)*.

няли в эмигрантских кругах, и не решалась об этом заговорить, но она сама спокойно сказала: за редким исключением ее здесь ненавидят, всячески обходят и т. д. И, между прочим, не только потому, что ее муж — евразиец (есть такое направление в политике, о котором ты, может быть, слышал) и его считают коммунистом и т. д., но и по ее собственной вине. «Я своего никому ничего дать не могу — ни времени, ни тишины, ни уединения. А ведь долг платежом красен. Да, впрочем, — прибавила она, — мне здесь и показаться не в чем. Платье, в котором я выступала, — чужое, одолженное. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что».

У меня сохранились «пирографические» связи, и я обещала ей достать платье — и это действительно удалось, кстати, при помощи той же доброй Маши, которую муж уверил, что стихи не имеют к нему ни малейшего отношения.

И вот теперь я невольно сравниваю наши судьбы, так непохожие, но в чем-то очень важном перекликающиеся, и это «ау!» — то далеко, то близко. Слов нет, куда мне до нее! И все же она была неправа, когда сказала: «Здесь я никому не нужна!» Нет, нужна, потому что у нее есть дом, и дети, и муж, который играет в кинематографе фигурантом за 40 франков в день и с которым она полчаса разговаривает перед сном. А у меня нет дома. И если мы обе «живем начерно», как она сказала, так ее черновик, переписанный набело, — поэзия и, может быть, великая. А мой... Да что толковать!

Я ушла потрясенная еще и потому, что хотя мы не говорили обо мне, но она своим магическим чутьем поняла, как важна для меня ее помощь. Я уже собралась уходить, когда она вдруг сказала с серьезной улыбкой: «Это странным вам, наверно, покажется, но я всегда ду-

мала, что дать можно только богатому, а помочь только сильному».

Вот видишь, какое длинное письмо я написала тебе под аккомпанемент фальшивого свиста двух мужчин, которых пора кормить — правда, не рождественским гусем, а все той же кониной, которую я вчера взяла у нашего лавочника в долг. Но ты не подумай, здесь это принято, конину даже рекомендуют врачи.

Ну, пиши мне больше и чаще. Что слышно о твоей командировке в Париж? Я часто думаю о тебе. И так хорошо, что ты существуешь, там, далеко в снегах. Привет Наде. Пиши.

4.V.1928.

В Бонифачо нас встретили шествием, как Линдберга. Но было много хлопот с поисками нового дома. Подле старого, в котором теперь «un bordel» [1], сидят и играют на своих дудочках (совсем как заклинатели змей) арабские солдаты. Мы сняли хорошенький домик, тоже на обрыве, над портом, среди виноградников и библейских олив. Плохо, что камин только в одной комнате — там, где работают панно, а для моей живописи нет места. До базара и воды — далеко, и пришлось купить ослицу по имени Блонда (хотя она — брюнетка). Езжу на базар амазонкой, изумляя местных дам, которые не ходят на базар. Даже в самых простых семьях ходит муж, а жены, разодетые, только в церковь, а потом прогуливаются по шоссе. Ни одна из них вообще никогда не сядет на осла, разве что за обещание войти в царство небесное! А я через два дня в третий тащусь, нагруженная бутылками и мешками, и только знай покрикиваю

[1] Публичный дом (*франц.*).

на свою неторопливую, как все бонифачийцы, Блонду (которую мы немедленно переименовали в Машку). Вид — очень pittoresque[1].

Вчера я нашла в лавочке мясника «Метаморфозы» Овидия на итальянском языке без начала и конца — в них завертывали котлеты. Я взяла и читаю по вечерам. Здесь до сих пор сильна итальянская культура. Я знаю одного каретника, который читает в подлиннике Данте. С ним мы, кстати сказать, подружились. Ведь я в свой первый ялтинский приезд снимала комнату в доме каретного мастера и теперь прочитала знатоку Данте целую лекцию о крымских экипажах. В особенности он заинтересовался «корзинами». Это были четырехместные коляски с плетенными из прутьев (в виде корзины) сиденьями. Я даже нарисовала ему по памяти этот экипаж, прикрытый прямоугольным большим зонтом с красной или зеленой подкладкой и бахромой по краям. Милая Ялта!

Посылаю тебе мои фото. Ты можешь сжечь их, тем более, что они далеки от совершенства. Но мне хочется, чтобы ты видел, как я постарела, подурнела. Это — тоже твое, как все, что происходит со мной.

30.V.28.

Пишу тебе из маленькой деревушки в центре Корсики. Поехала за ореховым деревом для скульптуры, здесь оно почти втрое дешевле, чем в Париже, — и ошалела от здешней палитры, бесконечно более разнообразной, чем краски бонифачийского побережья. Домики тесно прижались к белой стройно-суровой колокольне, а вокруг — самоцветные горы: какие цвета, какое богатство!

---

[1] Живописный *(франц.)*.

Деревня высоко в горах, прохлада по вечерам дает приятную зябкость. Я приехала сюда с знакомой дамой-корсиканкой к ее родным, которые и меня приняли, как родную. Если случится, что ты явишься в Париж прежде нас, сообщи мне об этом немедленно по ее адресу: «Бонифачо, Аркады, m-me Лючия Санпьетро». Она — благородный человек, и я ей доверяю всецело.

Брожу с красками, вспоминаю любимую оливковую рощу в Олеизе. Здесь оливки — главная статья дохода (еще пробковый дуб и ловля лангустов). Дорога вьется, и за каждым поворотом открывается новое живописное чудо. А какое спокойствие! Какой свет и воздух! В деревне приходится даже пальто надевать, а спустишься в долину — уже жарко, персики, виноград. И повсюду — форелевые речки, холодная, вкусная родниковая вода. У каждого домика — навес из винограда: синие и розовые гроздья декоративно спадают на серый камень крылец.

И люди здесь удивительно симпатичные, приветливые, гостеприимные. Много бывших дворян, обедневших и живущих, как простые крестьяне. Давно не встречала я такого доброжелательства, внимания, благородства! Кормят меня на убой, и я уже начинаю жалеть, что послала тебе фотографии, на которых выгляжу постаревшей и подурневшей.

Значит, напиши мне через Лючию, а одновременно пошли дружеское письмо, спокойное, с приветами Георгию — на наш, разумеется, адрес. Не перестаю молить бога, чтобы ты приехал осенью, когда мы уже будем в Париже.

10.VI.28. Париж.

Здравствуй, милый друг Лиза. Сегодня третий день, как я в Париже. Получил твое письмо, но не успел

ответить, так как была обычная суета перед отъездом. Устроился дешево и удобно в центре Латинского квартала. Одна беда — не с кем слова молвить по-французски. В маленьком пансионе, где в антресолях я снял комнату, живут русские, латыши, шведы — это крошечный Вавилон с крошечным хозяином, который ежедневно, в пять часов утра, начинает оглушительно объясняться с супругой, дочерью и щенком (по-еврейски). Моя командировка — до первого сентября, я должен вернуться к учебному году, следовательно, мы не увидимся, и я глубоко сожалею об этом. Одиночество мое разделяет Аристархов, один из моих математиков, добрый, но странный человек с голосом, раздирающим уши. Сегодня мы три часа подбирали ему костюм — и не подобрали. Французы на таких Святогоров не шьют.

День свой располагаю так, чтобы вечером не заниматься, а бродить — ты ведь знаешь, это мое любимое занятие. Хочется читать по-французски, но положительно не успеваю. Марселя Пруста намеренно не читал дома по-русски, а здесь говорят, что мне не одолеть его по-французски. В Лувре еще не был, на частных выставках — тоже, кроме выставки хризантем, да и то случайно заглянул, возвращаясь из Сорбонны.

Каждое утро гарсон, принося кофе, сообщает, что «похолодало», хотя с утра стоит невыносимая жара. В воскресенье я был в Булонском лесу. Молодые люди играют в теннис, на конной дорожке — всадники в традиционных костюмах для верховой езды.

Мой доклад в Сорбонне состоится в конце августа. Кланяйся Георгию Дмитриевичу. Не теряю надежды на ваш приезд.

Твой Костя

10.VI.28. Париж.

Осталась ли ты довольна моим «дружеским» письмом, которое должно успокоить твоего мужа? Я занимался французским языком перед отъездом и писал это письмо, вспоминая свои грамматические упражнения. Надеюсь, что все главные и придаточные предложения — на месте? Это не просто оскорбительно — то, что мы должны притворяться, чтобы увидеть друг друга. Это постыдно, и я не понимаю, я просто в толк не возьму, как ты можешь так жить! Связанная по рукам и ногам, в ежедневной и ежечасной лжи, при одной мысли о которой мне становится тошно.

Я еще понял бы это добровольное рабство ради детей, ради близких, для которых важно, чтобы в доме был «мир». Но ты же сама писала мне тысячу раз, что нет у тебя никакого «дома». Прятаться, не принадлежать себе, насиловать свои желания — да я не мог бы прожить так и двух дней! Это не жизнь, а медленное самоубийство души. И это ты, ты! Со своим свободолюбием, беспечностью, независимостью! Да куда же делось все это? Почему, за что ты должна каждую минуту чувствовать себя без вины виноватой? Откуда у тебя берутся силы, чтобы переносить это напряжение, эту игру в семейную жизнь, это изматывающее, перекошенное существование? Ведь рядом с ложью стоит трусость, которую ты же сама — это-то я отлично знаю — презираешь еще больше, чем ложь. Теперь, когда мы оба — во Франции, теперь не увидеться — да как же пережить эту бессмыслицу? Или мне бросить все и поехать на Корсику? Остановиться в каком-нибудь соседнем, ближайшем городке, придумать что-нибудь с помощью твоей Лючии? Напиши мне, не откладывая.

Твой К.

4.VII.28. Бонифачо.

Дорогой мой, я получила твое письмо (через Лючию), и оно так взволновало меня, что, уже спрятав его в тайничок (у меня тайничок среди скал, где я храню твои письма в жестянке из-под красок), я через час вернулась и прочла его снова. Я не узнаю тебя, мой милый! Куда делось твое «равновесие», из-за которого мы так ссорились в молодости? Я чуть не написала — в детстве. Все в тебе сейчас настроено на одну ноту, или, как это бывает со зрением, — на один цвет. Но закрой глаза и подумай спокойно: ведь мой внезапный отъезд без согласия Георгия будет означать разрыв с ним, окончательный и бесповоротный. «Дома» нет, но все-таки есть Георгий, который беспомощен перед своей ревностью и — я это чувствую — стыдится ее. Ведь в этом чувстве есть для него что-то безотчетное, как будто существующее независимо от его воли и толкающее его на поступки, в которых он раскаивается, преодолевая свою дикость и гордость. Ах, все не так просто, как тебе кажется теперь, когда мы ослеплены желанием видеть друг друга!

Так вот — я приеду. План, который я придумала, основан на нашем неизменном, прочном фундаменте: безденежье и все растущих долгах. Дело в том, что Георгий закончил свои панно и надо везти их в Париж, тем более, что маршан, которому мы посылали фото, предложил на этот раз вполне приличную сумму. Еще до твоего приезда было решено, что поеду я, потому что Георгий ничего не понимает в практических делах (и мужественно сознается в этом). Но теперь, когда зашла речь о поездке, он напомнил мне известную загадку про волка, козу и капусту, которые должны были переплыть реку поочередно, оставив друг друга в живых. Если сперва перевезти волка, коза, оставшись на противоположном берегу, съест

капусту. Если перевезти капусту — волк съест козу, и т. д. Упомянута была эта загадка весьма добродушно, и это позволило мне в такой же полушутливой форме дать ему слово, что я не встречусь с тобой — и, таким образом, останется целехонька его драгоценная капуста. Словом, я убедила его, тем более что без меня его действительно обведут вокруг пальца. Не знаю еще ни дня, ни часа, когда мне удастся заглянуть к тебе. В конце августа. Может быть, рано утром? Твой отель — рядом с театром Одеон, там поблизости дешевый рынок, на который я иногда ездила, хотя он довольно далеко от нашего дома.

Словом, терпенье, мой друг! Умоляю тебя. А теперь еще раз хочу напомнить тебе, что ты — в Париже, что на Rue de la Seine, в двух шагах от тебя, — выставка Пикассо, которая скоро закроется. Его можно видеть у маршана, но грешно пропустить такой богатый ensemble. Пойди непременно! На маленькие выставки вход бесплатный. Если на окне или двери висит афиша — смело входи и смотри. Стоит, по-моему, заглянуть и на выставку «Независимых граверов».

Обнимаю тебя. Мы увидимся. Боюсь, что у нас не останется времени, чтобы поговорить о живописи. Но если Георгий вернется в Бонифачо, а мне удастся задержаться в Париже...

ПАРИЖ, 1928

*Он проснулся с ясной головой, с ощущением уверен*ности, что третьегодняшний приступ не повторится, как не повторился он накануне, когда Константин Павлович докладывал в Сорбонне. Он проспал утренний разговор хо-

зяина отеля с женой, хотя разговор был оглушительный и продолжительный, и услышал только удаляющееся: «Бубуль, Бубуль!» — хозяин ходил на рынок с собакой, которую звали Бубуль.

Сегодня было двадцать шестое, до конца августа осталось пять дней, и утро, пока еще раннее, началось как всегда. Всего лишь полмесяца прошло с тех пор, как он получил последнее письмо от Лизы. Но и за полмесяца это «как всегда» успело подняться над временем и перейти в чувство, присоединявшееся ко всему, что он делал и о чем начинал думать с утра. День был занят Сорбонной, переводом статьи Аристархова, которую тот оставил ему, уезжая, а в свободное время — выставками и синема. Он побывал на Пикассо, видел скульптуру и гравюры Гогена, смотрел Сутина, Модильяни.

Но утро — это была Лиза. Собираясь в дорогу, он наткнулся на зеркальце, которое она когда-то подарила ему, овальное, в бисерном зеленом футлярчике, с трещинкой. Он взял его с собой — и хорошо сделал, потому что в его комнате на антресолях, с косым окном, из которого был виден только крест какого-то собора, не оказалось зеркала, и он брился и причесывался перед Лизиным, глядя на свое, пересеченное трещиной, лицо и находя его незнакомым. Так было и в это утро. Бреясь, он подумал, что похудел и, кажется, помолодел в Париже. Скулы торчали, легкость, которую он испытывал, бродя по Парижу без устали, появилась в лице — «студенческом», как сказала бы Лиза. Может быть, сегодня это была какая-то уж слишком легкая легкость. Шум, почему-то напоминавший ему пригнувшуюся под ветром, перестукивающуюся рожь, по временам начинал звенеть в голове, потом проходил, и Константин Павлович не прислушивался к нему, потому что это был, конечно, не

приступ. Было еще рано, ему захотелось еще полежать, но он заставил себя, не снимая пижамы, перевести несколько страниц аристарховской статьи. Вполне оправдывая свою семинарскую фамилию, Аристархов писал длиннейшими периодами, которые, переводя на французский, приходилось делить пополам.

Все-таки он решил полежать, хотя чувствовал себя превосходно. Почему-то Казань вспоминалась ему, но мелькающая, скользящая, точно он куда-то бежал, а за ним гнались, и нельзя было ни оглянуться, ни остановиться. Он не знал, почему так важно было вспомнить, когда и почему он бежал, — может быть, чтобы убедиться, что он здоров и что ему ничуть не мешает обычный утренний, нестройный шум отеля? И он вспомнил: у Высших женских курсов был траурный митинг — Лена Кондакова, которую он готовил на аттестат зрелости, покончила самоубийством, и студенты, человек пятьсот, пошли провожать гроб до кладбища на Арском поле. Вдруг послышался стук копыт по булыжнику, на толпу с нагайками мчалась казачья сотня. Все смешалось, сдвинулось, метнулось, в общей сумятице обмороков, бегства, криков он один остался на месте, огляделся. Он был подле Института благородных девиц, и хотя забор был очень высокий, но ему удалось подпрыгнуть и схватиться за кромку руками. Он прыгнул в сад, перебежал аллеи и перескочил через второй забор, который оказался еще более высоким, — земля с той стороны, на Подлужной, оказалась гораздо ниже, чем он ожидал. Девицы, гулявшие в саду и не ожидавшие, что какой-то студент неожиданно перелетит через забор, встретили его звонкими взрывами хохота — и очень странно, что он ясно слышал этот хохот сейчас, через двадцать лет, в Париже, а не в Казани. «Не может быть, чтобы они все еще смеялись надо мной», —

подумал он. Но тогда почему же все-таки он видел и слышал не только то, что было, но и то, чего не было и не могло быть никогда? Он ясно увидел Ялту, но не ту, в которой он был несколько лет назад, а другую, старую, дореволюционную, о которой рассказывала ему в письмах Лиза. У ярко освещенного мола стоял пароход «Цесаревич Георгий»; по трапу бежали носильщики с большими бляхами-номерами; комиссионеры, хватая приезжих за рукава, выкрикивали названия своих гостиниц; подле сходен стояли полицейские; паровые лебедки поднимали из трюмов тюки мешков, ящики, бочки. На толстых чугунных швартовных тумбах были надеты канаты, и в этой суматохе и тесноте ему почудилось, что одна летящая петля как-то нечаянно упала на него и сильно стянула горло.

Какой-то комиссионер с огромными черными усами, в фуражке, на околыше которой было написано «Гостиница Франция», надвинулся на него и оглушительно крикнул в самое ухо: «Комфорт только у нас!» Но сразу же настала тишина, потому что он был теперь в кипарисовой роще, высоко над морем. Одинокая беломраморная колонна стояла над чьей-то могилой; он вспомнил, что это была могила писателя Найденова и что он списал для Лизы его высеченные на мраморе стихи.

И тишина была глубокая, легкая, полуденная. Он прислушивался к ней, лежа на постели, с закинутыми под голову руками. Он ждал ее, потому что вместе с этой тишиной к нему должна была прийти Лиза. Пожалуй, это была несбыточная надежда, и он удивился и обрадовался, когда до него все-таки донесся стук ее каблуков по асфальту. Он вообразил этот стук, а может быть, и не вообразил, потому что его нельзя было перепутать с другим, учащавшимся и вдруг переходящим в гулкое медленное

биение. То был совсем другой стук — может быть, сердца? Да, он слышал ее шаги, и это был не приступ, потому что он не чувствовал озноба, голова была свежа и даже, может быть, слишком свежа. Лиза шла к нему через Монмартр, мимо кабаков с русскими названиями, которые она расписала, мимо Блошиного рынка, на котором можно купить окурок сигареты, мимо «Ротонды», где они могли провести за столиком лишь полчаса, потому что это не Казань, а Париж.

Иногда автобусы, проносившиеся вдоль бульвара Сен-Мишель, заглушали ее шаги, но потом он научился и в этом железном грохоте различать шаги ее длинных, крепких, загорелых ног.

Скоро она придет к нему, и они будут одни, здесь, в антресолях, совсем одни, потому что в бисерном зеркальце с трещиной, которое она ему подарила, угол падения не равен, не может быть равен углу отражения.

Пот заливал глаза, и, должно быть, надо было все-таки померить температуру. Но градусник лежал где-то очень далеко, на столе, за километр, и сам стол то отодвигался, то приближался.

Лиза вошла осторожно, быстро, он попробовал встать и улыбнулся, когда выражение ужаса мгновенно изменило ее лицо, любимое, сияющее, взволнованное предчувствием встречи.

— Родная моя, нам не повезло, — сказал он с нежностью. — Ты дала мужу слово, что мы не встретимся, да? Ты торопишься и убежишь через десять минут? Я тебя люблю. Понимаешь, третьего дня у меня был приступ малярии, и я надеялся, что он не повторится, потому что она у меня трехдневная, и если не повторяется на следующий день... Но вот повторилась.

*Особенность этого многолетнего разговора, продол-*жавшегося почти четверть века, заключается в том, что по временам он как бы замирал, останавливался. Необходимость переписки, естественно, отпадала, когда Лиза встречалась с Карновским, — так случилось и летом 1928 года. Но сохранилось несколько писем, по которым видно, что с той поры началась другая полоса неисчерпаемости их отношений.

«Я горько плакал, читая листки из твоего блокнота, написанные, по-видимому, наспех, где-нибудь на пристани или на вокзале, и думая о том, что нехотя стал причиной новых потрясений в твоей и без того тяжкой судьбе, — писал Константин Павлович. — Никогда не забуду я великой — не боюсь этого слова — простоты, с которой ты в этот день осталась со мной. Никто не знает о нашей любви. Когда Коля Лавров, перенеся сыпной тиф и воспаление легких, лежал у меня в Казани, я читал ему твои письма. Тебя я считал погибшей, а его — вернувшимся с того света. Может быть, мне казалось, что жар и чистота твоей любви помогут его выздоровлению».

Он получил ответ на это письмо уже с Корсики, куда Лиза уехала одна, после решительного объяснения с мужем... «Я тоже плакала, но не горько, а от счастья, — писала она. — В молодости твои письма не всегда приносили мне счастье, и случалось, что я часами, а иногда целыми днями не открывала их, стараясь продлить ожиданье. О тебе больше всех знала Шура, и я до сих пор болезненно переживаю нашу с ней, теперь уже, должно

быть, непоправимую разлуку. Георгий знал, что я люблю тебя, видел и понимал силу моего чувства, но, разумеется, и он никогда не читал твоих писем, кроме того, которое я просила тебя написать, чтобы легче было обмануть его и поехать в Париж. Теперь — господи благослови! — никого не надо обманывать. Мы расстались спокойно, я отправила его вещи с Джакомо, а сама решила остаться на зиму здесь, где жизнь дешева и можно работать. Так что не кори себя, мой дорогой! Все к лучшему. И не потому мы разошлись, что я провела с тобой тот благословенный день, а потому, что я для него — «дом», а он для меня — сделка с судьбой.

Давным-давно решила я отказаться от маленьких удач, без которых не мог бы существовать этот «дом» и которые были связаны с работой «на заказ» и, следовательно, с отсутствием свободы. Но об этом не только не говорилось, а я вынуждена была притворно радоваться, когда Георгий или я получали заказ. Получал почти всегда именно он, я помогала, и то, что у меня на это уходили все время и силы, считалось естественным, а то, что я делала для себя, «допускалось». Нет, нет! Я должна восстановить свою независимость — и не только от Георгия и его круга, который давно потерял интерес для меня, а от любого круга.

Не думай, что я потеряла надежду на успех, выставку, Салон, куда меня не пускают. (Под этим словом, кстати, здесь понимают художественный товар на все вкусы.) В том-то и его сила, что в него не пускают! И тем не менее, как это ни парадоксально, надо убить в себе Салон, чтобы попасть в него. Из тысячи холстов девятьсот девяносто девять написаны с этой надеждой».

7.VI.29. Бонифачо.

...Георгий в Париже, мы переписываемся дружески, хотя и редко. Это было трудно — остаться друзьями, — не для меня, для него. Помогли внешние обстоятельства. Его панно и прежде имели успех, но, расходясь по рукам, оставались «за кулисами» Парижа. Нынешней зимой ему удалось устроить выставку — и в «Les Echos d'Art» появилась статья с репродукциями его работ, одобрительная, хотя и небольшая. Меня трогает в его письмах сожаление, что мы расстались, когда ему повезло. Но и мне повезло, хотя совсем по-другому. Все, что происходило со мной в последние годы, было трудным, медленным возвращением к живописи. В понимании ее мы давно разошлись, мне мешала настоятельность, с которой он превращал ее в средство существования. Мы в последнее время редко разговаривали о живописи, я молчала, помогая ему, или лгала, потому что он вспыхивал при малейшем возражении. Но это только одна сторона, сам понимаешь, насколько важная. Была и другая. Я давно поняла, что подлинная любовь скрыта от людей, а когда ее показывают или о ней узнают, она, в сущности, перестает быть любовью. Мне в детстве всегда казалась странной торжественность свадебного отряда, и я испытывала неловкость при мысли, что все знают, *что* вскоре должно произойти и непременно произойдет между молодыми. Тайна, которая должна остаться между любящими, становится заранее известна всем и даже публикуется в газетах! Какая, в самом деле, ложь «таинство брака», и как лицемерно украдено это слово у подлинной любви! Довольно вспомнить о пытке ревности, которой Георгий терзал меня годами, о постыдной торопливости, с которой

я должна была возвращаться домой, чтобы он не подумал, что я была «где-то и с кем-то», о близости, неискренней, унизительной, только чтобы оправдаться, хотя не виновата, успокоить, хотя не о чем было волноваться. Только ты знал и писал мне об этом, потому что мне ни в чем никогда не стыдно было тебе сознаться. А работа! Эта подлая ревность лишала меня внутренней свободы, без которой ничего нельзя сделать в искусстве, да и не только в искусстве. Я должна была шагать через это рабство, и сколько сил уходило у меня на это шаганье! А теперь что ты скажешь, мой дорогой, если я признаюсь тебе, что, как ни странно, я скучаю иногда без Георгия? Уж очень мы «вжились» в наши ссоры и примиренья. Но ведь и по тюрьме скучают. Кажется, у Леонида Андреева один из рассказов кончается: «При закате солнца наша тюрьма прекрасна. . .»

Бонифачо.

Мой милый друг, я давно написала тебе большое письмо, но, перечитав, разорвала. Я не люблю запоздалые письма. Время идет без стрелок, как на «Черных часах» Сезанна, и остановить его, к сожалению, невозможно. Впрочем, можно — в искусстве. Но для этого как раз и нужно быть Сезанном.

В Бонифачо нынче много художников. На каждом углу видишь соперников. Детишки толпой переходят от одного к другому, то хвалят, то бранят — оглушительно и откровенно. Некоторые их замечания необычайно верны. Врожденный вкус, корсиканцы!

На днях ко мне заходил один молодой художник, поляк, красивый, энергичный малый. Восемь месяцев назад он поехал в Аргентину, хотел заработать, и вот после

долгих мытарств вернулся во Францию. Славны бубны за горами! В Аргентине богаты только скотоводы и помещики, а народ ведет едва ли не пещерный образ существования. Много русских — где только их нет! — бедны и несчастны. Вернувшись, поляк нанялся на резку винограда — 30 франков в день и, разумеется, винограда — сколько влезет. Подумываю о том же и я, да боюсь, не хватит силенок! А жаль — доктора давно советовали мне проделать виноградный курс.

(Письмо не датировано)

30.VI.1929. Бонифачо.

Дорогой мой, ради бога, даже и не думай посылать мне деньги! Они гораздо нужнее тебе, в особенности если снова появится возможность приехать в Париж. Я получила заказ на портрет, у меня есть ученица, этого пока вполне достаточно. Жизнь на Корсике поразительно дешева. Да и вообще, мой родной, ты меня знаешь и все-таки не знаешь! Ведь я — семижильная! Я — цепкая, как репейник. А уж теперь-то, когда для меня наступил «день первый», много ли надо, кроме денег на холсты и краски? Портрет, кстати сказать, мне заказала моя милая, благородная, деликатная Лючия Санпьетро. Я пишу его на фоне Корсики, и все так ярко, так пропитано солнцем, что невольно хочется поставить между собой и натурой очень тонкую, прозрачную кисею, приглушающую этот блеск. Я ее и поставила — мысленно, а потом перенесла на холст. Получилось или получается что-то новое, по меньшей мере для меня.

Вот так-то мне и живется, мой дорогой. Трудно, но когда, кому из художников было легко? Краска бесшумно

ложится на холст, но ведь в этих простых движениях — шум жерновов, перемалывающих жизнь. Это тоже кто-то сказал, а может быть, и не кто-то, а я.

Событий у меня, Костенька, нет, если не считать, что вчера я вернулась с «необитаемого острова», где провела несколько дней. Спала в шалаше, который наша компания построила в прошлом году, много работала, много купалась.

Помнишь, я писала тебе о бонифачийском дурачке Жозефе? Он привозил мне хлеб, рыбу и пресную воду. Мы подолгу разговаривали, и я окончательно убедилась в том, что он не только не дурачок, а по-своему очень умен, хотя и простодушен, как дитя. Он сказал мне однажды: «Было бы чересчур хорошо, если бы все жалели людей, как я». Это покажется тебе странным, но я запасаюсь душевными силами в наших разговорах.

Мой «необитаемый остров» — Корсика в миниатюре, только без зелени, если не считать кустарника «маки́». Одни заливчики врезаны в красно-розовые, византийские скалы, другие — в светло-серые, почти белые, грубо наваленные друг на друга. В этом хаосе (который я писала несколько раз) легко различить выразительные формы живого мира: здесь и белый медведь, и капуцин, и тигры, и старуха в чепце. Если соединить эти скалы с зеленой и лазурной водой — какое волнующее открывается великолепие! Впрочем, на Ядрин я бы все-таки его променяла.

Между прочим, на днях в порту стоял огромный трехмачтовый парусник. Я проплывала совсем рядом, восхищаясь матросами, которые красили борт. Какие рослые итальянцы! Вдруг слышу русскую речь! Я плавала так долго, что чуть не утонула...

...А у меня другое отношение к смерти. Если бы я

знала свой час, я бы совсем не торопилась — напротив, это знание стало бы для меня одним из условий свободы. Так не торопится Пруст. Должно быть, поэтому его нельзя и читать торопливо.

10.VII.29. Порто-Веккио.

Миленький мой, ты молчишь — и я невольно начинаю волноваться. Может быть, потому, что поехала с Лючией в Порто-Веккио, и оказалось, что городок охвачен малярией. Страшно было увидеть в этом японском раю (то и дело встречаются настоящие японские пейзажи) шатающиеся тени, изможденные, зеленые лица.

Как твое здоровье? Где ты? Пишу тебе второпях, чтобы поскорее получить ответ. Меня тревожит твое молчание.

20.X.1929. Бонифачо.

...Все одушевлено, любой предмет, который ты пишешь, — все равно, человек это или корыто, — и надо писать так, чтобы ему некуда было деваться, чтобы он почувствовал, что подмечен глазом художника и, стало быть, открыт для него. А для всех других — скрыт за собственной обыкновенностью или необычайностью, это не имеет значения. Я поняла это практически, то есть через самый материал живописи. Неясно? Понятнее я могла бы сказать только в одном случае: если бы ты сейчас был рядом со мной, на берегу стоячего заливчика перед холстом, на котором я пишу кактусы и сосны. Берег золотистый, а сосны под прямым углом опрокинулись в воду.

Париж, в котором приобретаешь весь мир и теряешь душу, стал страшен для меня, но поехать, в конце концов,

придется. Ведь там, чтобы не чувствовать лихорадки, торопливости, шума, — нужно самой сделаться этой лихорадкой и шумом. Не хочу.

Как я жалею, что отдала тебе твои письма, — ведь я могла бы перечитывать их теперь без конца. И они заменяли бы мне тебя. Я написала «заменяли бы» — и засмеялась. Не заменили бы! Но среди них есть просто любимые и любимейшие, без которых мне особенно скучно.

Какие правила для пересылки картин почтой? Если ты скоро не приедешь во Францию, я пошлю тебе свой лучший холст. Но ты приедешь, я верю.

Так Джамиль кончил институт и уехал в Челябинск? Напиши ему, что твой близкий друг шлет ему самые горячие поздравления и пожелания.

8.XI.29. Бонифачо.

Милый, будь! Пребывай всегда — ты мне так нужен! Что касается «доминанты», о которой ты пишешь, — ее нет. Более того, она невозможна. Живопись не соединяет и не разъединяет нас. Я думаю совсем о другом: придет время (разделяю твою надежду), и я приеду к тебе. Но не возьмет ли тогда свое наша разлука? Она ведь долгая, бесконечная. Она для меня — как злое божество, привыкшее считать себя неодолимым, непреодолимым. Слишком много опыта было и мало счастья. В этом опыте, кстати сказать, таится убеждение, что с годами женщина входит во вкус семейной жизни, а мужчина теряет этот вкус. Ты не боишься, что нечто подобное может случиться и с нами?

Вчера вышла на этюды — и вдруг захотелось побродить, подумать. Утро было холодное, ясное. Даже казен-

ные здания порта, прежде раздражавшие меня, окрасились в теплый розовый цвет и пожелали принадлежать пейзажу.

Возвращаясь, я встретила забавную процессию — бонифачийцы на ослах ехали за город собирать маслины. Винограду в этом году мало, вино вздорожало. А хорошее здесь было вино...

Да, совсем забыла, у меня неприятность. Последнее время я стала легко уставать. Не знала, что у меня температура, градусника не было. Значит, легкие не в порядке. Пройдет, если не придется вскоре вернуться в Париж. Там вылечиться трудно, да еще без денег.

Я снимаю комнату недалеко от «марины» — так называется нижняя часть города, пристань. Рыбаки сейчас не уходят в море, сушат свои сети, плетут невода. А в порту идет погрузка громадных лангустов. Их ловят летом и до поздней осени держат в море, в больших круглых корзинах. Смотреть на эту погрузку я не могу — у меня болезненное чувство жалости ко всему животному миру. А не смотреть — тоже не могу, потому что это зрелище неизъяснимо прекрасное и просто требующее, чтобы я его написала.

Вечером дул сирокко. Ведь здесь, к сожалению, не бывает осени. Скоро зима. Когда я думаю, что приеду в Париж и тебя там не будет, — мне хочется плакать.

Париж (без даты).

В метро, в автобусах я пишу тебе длинные письма, а когда возвращаюсь домой, усталая, трудно взяться за перо. А ведь многое хотелось бы рассказать. От непривычной ранней жары Париж ошалел, обезумел... Храмы, биржи, музеи, дворцы, скачки с препятствиями, джаз-

банды, мюзик-холлы, ревю, дансинги, салоны, выставки, диспуты... Вавилонское столпотворение!

Ты спрашиваешь меня, куда идет французская живопись? Ответ простой: на выставки и к торговцам. В прошлом году в моде был кубизм. В этом — сюрреализм. Для большинства молодых холст — результат договора с торговцем, а не иносказание духа. Тонкая, неторопливая техника давно не в ходу. Как можно больше быстрых мазков — и портрет готов в два-три сеанса! Тень неудачи — и работа отставлена, переписывать некогда, рынок не ждет.

Вчера была в Салоне Тюильри, интересных полотен мало. Зато частные выставки хороши. На одной из них я встретила удивительную личность, которую только и можно, кажется, встретить в Париже. Я была у своего маршана, привезла paravent[1], и вдруг из соседней комнаты, где висели работы Матисса, бомбой вылетает громадный мужчина с мушкетерскими усами, в широкополой шляпе и бархатной куртке с отложным воротником. До нас и прежде доносились его оглушительные оценки, пересыпанные теми особенными словечками, без которых не обходятся в Париже критики и художники. Кстати сказать, оценки были неглупые, особенно насчет японцев, совершенно потерявших за последнее время свой национальный характер. И вот этот тип подходит к Матиссу и начинает рассыпаться в комплиментах: восторженно, шумно, с манерами влиятельного критика. Все очарованы, Матисс кланяется, благодарит, приглашает в свое ателье. Холоден только хозяин. Когда же этот «влиятельный критик», наконец, удалился, оказалось, что он — бывший натурщик Родена. Все ужасно смеялись.

[1] Ширма *(франц.)*.

Матисс похвалил мой параван, хотя и угадал в нем черты «Византии», о которой, мне казалось, я давно забыла и думать. Когда все разошлись, маршан предложил мне немногим больше, чем стоили холст и краски. Я согласилась. Он-то как раз человек влиятельный, хотя и скуп, как Гобсек.

Жаль, что Камерный театр так скромно «подал себя» и что так мало было спектаклей. Понравилась мне «Жирофле-Жирофля». Ритм — обдуманный, неотразимый, и такое впечатление простоты, легкости, свежести! Мне вспомнились школьные «шарады» и те спектакли, которые мы разыгрывали детьми после посещения театра.

А Мейерхольд — ведь это совсем другое?

Последние дни у меня было досадное чувство, что я все забываю сказать тебе о чем-то важном, неотложном и крайне необходимом для нас обоих, в особенности для меня. Теперь вспомнила: ничего, что я постарела? «Стареют, когда этого хотят», — говорят французы. Я стараюсь увидеть себя в зеркале твоими глазами.

Твоя Л.

10.XII.1929. Париж.

Мне захотелось составить свой «инвентарь». Вызвано это желание предчувствием скорой смерти. Это странно, хотя бы потому, что на днях я была у врача и он сказал, что я почти здорова.

Вообще говоря, я спокойно отношусь к мысли о смерти. Но если ученые найдут средство «вечной жизни» и ты будешь жить, а я умру, это — обидно. В том, что задача бессмертия будет решена, я не сомневаюсь. Но так как при моей жизни этого, очевидно, не случится — ничего не поделаешь, надо умирать. Надеюсь, что это случится не

на Корсике, а в Париже, где меня по крайней мере сожгут. Вот видишь, я еще диктую условия.

Пишу я все это шутя, но мысли у меня серьезные. Как всегда, они соединяются с желанием «рассказать себя».

Сделала я, конечно, мало. Более того, чувствую, что только начинаю работать. Это относится прежде всего к композиции, в которой мне лишь недавно удалось, кажется, найти свое. Самое трудное было преодолеть или даже забыть «готовые» формы, то есть, в сущности, почти все, чему меня учили. Это происходило мучительно долго, а совершилось в одно мгновение. Однажды в Бонифачо, вернувшись в сумерки домой с этюдов, я вдруг увидала странную, полную внутреннего напряжения, совершенно неизвестную мне картину. Непонятно, что было изображено на ней, и, только вглядевшись, я поняла, что это мой собственный холст «Малярия в Порто-Веккио», который я бросила ради какой-то другой работы. Холст косо стоял у стены, и, может быть, ракурс и сумерки сделали то, что я увидела только цветовые пятна, но в таком оригинальном и остром сочетании, о котором я прежде не могла и мечтать. Прислушиваясь к этому впечатлению, я еще добрых месяца два работала над этой картиной. Холст небольшой. Написан он о малярии, конечно, но в тютчевском понимании этого слова: «Люблю сей божий гнев...» Я работала, вспоминая тот благословенный день, который мы с тобой, впервые за десять лет, провели не расставаясь.

Итак, сделано мало. Самое главное, может быть, впереди. И все же достаточно, чтобы «remplir ma mesure du destin» [1].

Помнишь, я писала тебе, что Алексей приезжал в Па-

---

[1] Исполнилось то, что мне суждено *(франц.)*.

риж и передал через одну полузнакомую даму, что будет счастлив увидеться со мной. Я поняла по ее намекам, что он не переставал следить за моей жизнью все эти годы. Теперь он снова просил передать, что весной будет в Париже и что ему необходимо поговорить со мной «по делу».

20.XII.1929. Париж.

Миленький мой, ты меня напугал. Конечно жаль, что твоя командировка сорвалась, но ведь ты пишешь, что не намерен с этим примириться и вновь будешь хлопотать. В твоем письме я почувствовала отчаянье, что вовсе на тебя не похоже. Я-то была почти уверена, что скоро ты не приедешь. Я плохо разбираюсь или даже почти не понимаю тех особенностей твоей нынешней жизни, которые могут тебе помешать приехать в Париж.

Я часто вижусь в последнее время с Нестроевой, и, хотя между нами (я в этом давно убедилась) не может быть женской дружбы, которой мне так не хватает, наши встречи неизменно волнуют меня. Она — человек сложный, и не моего ума дело разобраться в этой сложности, или, вернее сказать, содержательности. Я только чувствую в ней завидную способность становиться вровень со своей поэзией, причем это происходит естественно, само собой.

И еще одно: подчас мне кажется, что в ней соединилось много людей — то ссорящихся между собой, то сохраняющих напряженное согласие. Такова же, по-моему, и ее поэзия.

Мне она сказала, что все, что я пишу, — Россия, будь то корсиканский пейзаж или интерьер моей мастерской. Все — через свет снега или через Волгу, в том понимании, о котором я тебе когда-то писала. И говорим мы

главным образом о России, которую она каким-то чудом увезла в своей бродячей котомке. У нее все невольно устремлено *туда*, а все, что в ней звенит, — *оттуда*. Звон этот можно принять за колокольный, потому что слышится он откуда-то сверху. И она заражает этой высотой, внушает ее самой своей личностью, быть может, невольно.

Но мы много говорим и об искусстве, а на днях даже чуть не поссорились. Я сказала, что она счастливее меня, потому что для нее сама русская речь — поэзия, а я — если пятно цвета уподобить слову — невольно говорю на всеобщем языке. Она возразила, что набор слов — еще не поэзия, так же как живопись — не случайное соединение пятен. И что в нашей нищете и бесправии лучше не равняться «счастьем»...

15.I.1930. Париж.

Мой милый друг, я так давно тебе не писала. Все собиралась и откладывала, зная, что ты путешествуешь и еще не скоро вернешься. Посылаю тебе фотографии моих последних работ. О них горячо отозвался русский художник Корн, недавно приехавший из Советского Союза. Это важно для меня, бесконечно важно, и сейчас я тебе объясню — почему. Мы познакомились на выставке Матисса, и он пригласил меня в свою мастерскую. Квартирка бедная, в крошечном домике, переделанном в ателье из гаража. Он — в командировке, которую, как он надеется, удастся продлить еще на год. Его работы... Мало сказать, что они изумили меня. Ты понимаешь, это было так, как будто свет, который падал передо мной на дорогу, вдруг обратился назад, озарив все мои горестные промахи и редкие удачи. Я поняла, например, что, расставшись с иллюстративностью, которой учили меня Яковлев и До-

бужинский, я выиграла, потому что обратилась к цвету. Здесь Византия сыграла одновременно и отрицательную и положительную роль. Отрицательную — потому что она (вместе с Георгием) тянула меня к стилизации, а положительную — потому что она помогла мне понять, что ларионовско-гончаровское направление — не мое. Все это стало видно вовсе не потому, что Корн шел таким же путем. И он ушел от сюжета. (Не пойми меня превратно: под «сюжетом» я вовсе не подразумеваю «содержательность». Портреты Рембрандта не менее сюжетны, чем «Утро стрелецкой казни», хотя «сюжета» в смысле «события» в них нет и следа.) Но у него все это произошло совершенно иначе, и я до сих пор не понимаю, почему, глядя на его работы, я увидела свои другими глазами. Так бывает, когда, слушая музыку, думаешь о «своем», и оказывается, что «свое» — это та же музыка, которую ты все-таки слышишь. Словом, давным-давно я так не волновалась, как перед работами Корна. Они, на первый взгляд, сдержанны, даже холодноваты. Самое главное в них — прямота, отсутствие сложности, даже, может быть, трезвость. Но это нелегкая прямота, требующая огромной работы, как требует ее очень умная, человечная книга. После Корна мне расхотелось посылать тебе фотографии моих работ. Но все-таки посылаю.

Твою сестру Катю я помню маленькой девочкой с взрослыми, серьезными глазами. Как жаль, что ты не мог повидаться с ней в Сибири! О Сибири ты пишешь на этот раз бегло, без того воодушевления, которому я радовалась всегда, читая твои письма о поездках в Чувашию, на Кавказ, в Самарканд. Это очень странно, но у меня осталось впечатление, что ты не уехал, а сбежал в Сибирь. От кого? Напиши поскорее снова.

Я подарила Корну свою последнюю работу. Она внутренне связана с ним, и я была счастлива, когда он сам сказал мне об этом.

ПАРИЖ, 1930

Накануне Елизавета Николаевна виделась с Алексеем, в котором трудно было узнать прежнего, измученного Алексея, еще таскавшего потертую офицерскую шинель, говорившего с ней терпеливым голосом (когда она приходила в отчаянье, сердилась, волновалась), страдавшего от муки безножия и всегда скрывавшего от нее что-нибудь — ревность к Георгию, неприятности, связанные с дурным отношением к нему швейцарца, управляющего имением хедива. Худое лицо его сгладилось, погрубело, потеряло открытость. Он почти не прихрамывал (ему сделали в Париже новейший удобный протез) и был сдержанно, со вкусом одет. Борьба со швейцарцем кончилась его победой, теперь он управлял имением и добился того, что Чибукли стало приносить немалый доход хедиву. Елизавета Николаевна сердечно встретилась с ним, подавив раздражение, вспыхнувшее в ней, когда он мельком, но с сожалением оглядел ее бедную комнату с тахтой, покрытой облезлым ковром. Она достаточно знала его, чтобы угадать, о чем он подумал: для него смысл жизни определялся одной главной возможностью — достижением удачи, а здесь все было на грани насущно необходимого для человеческого существования. Елизавета Николаевна не успела, а потом и не захотела убрать со стола две вареные картофелины и кусок селедки, торчавший из газетной бумаги.

Так много воды утекло с тех пор, как они расстались

в Стамбуле, — он, едва удерживаясь от слез, она, взволнованная отъездом, исполняющейся мечтой о Париже, — что разговор долго не вязался, шел ни о чем, о мелочах. Потом что-то дрогнуло в его голосе, и Елизавета Николаевна насторожилась — подумала, что он заговорит об их несостоявшемся свидании, от которого она была вынуждена отказаться. Она ошиблась. Он заговорил о другом. Помнит ли она, что, уезжая в Париж, она надеялась взять взаймы у хедива 25 тысяч франков на два года? Теперь это можно устроить, он сам поговорит с хедивом, — и почти уверен, что сумеет его убедить.

Это было так неожиданно, так кстати, что все мгновенно неузнаваемо изменилось вокруг. Это было такое упавшее с неба счастье, такая ослепительная возможность спокойной, бесконечной — два года! — работы, что она не то что не поверила, а всем своим опытом полунищего существования заподозрила: нет ли здесь какого-то заднего умысла, какой-то ловушки, придуманной этим уже полузнакомым, гладким, спокойно-уверенным человеком? Но она сейчас же опомнилась. Этот человек был Алексей, в порядочности которого она никогда не сомневалась. И все-таки она еще медлила — и согласилась, лишь когда он показал ей фотографию молодой красивой женщины с прильнувшим к ней маленьким ребенком. Второй год, как Алексей женился. Она — русская, ей двадцать два года, москвичка, дочь профессора по римскому праву. Отец умер, она жила с матерью, очень бедствовала, он взял ее на работу в имение. «Я больше не мог жить один», — сказал он, и Елизавета Николаевна сердечно поздравила его, обняла и поцеловала.

Принаряженная, оживленная, она шла теперь к Корну, жившему недалеко от нее, тоже в Клямаре. Он показал ей близкую дорогу, переулочками, приятную, потому

что можно было не выходить на шумную магистраль, провонявшую парами бензина. Она уже успела привыкнуть к мысли, что получит от хедива 25 тысяч франков взаймы, и теперь весело распоряжалась в воображении этой почти невообразимой суммой: она расплатится с долгами — их, к счастью, немного, — назначит себе столько-то франков на ежедневные траты и поедет на Корсику, где жизнь втрое дешевле.

Но по мере приближения к дому, где жил Корн, мысли ее приняли другое направление. Он был глубокий художник, в его холстах Елизавета Николаевна чувствовала то, чего так не хватало ей в собственной работе: упрямство независимости, сдержанность и одновременно волнующий, тяжелый накал страстей. Он рассказывал о загадочной, болезненно незабытой родине, куда она непременно вернется, о живописи, которая там шла своими, сложными и тоже загадочными для нее путями. Они условились, что он станет читать ей нечто вроде лекции после работы, а кое о чем расскажет и во время работы. Словом, знакомство было драгоценное, неоценимое. Ее огорчало только одно. Он настойчиво ухаживал за ней, добиваясь взаимности, и она не знала, как отделаться от этих ухаживаний, не обижая его. По-видимому, ему казалось совершенно естественным, что она, одинокая тридцатисемилетняя женщина, должна принадлежать ему — почему бы и нет? — тоже еще молодому и чувствующему себя одиноко в Париже. Но после недавней встречи с Константином Павловичем, так радостно и необыкновенно изменившей их отношения, она не могла даже и представить себе близости с другим человеком, хотя бы даже он был так талантлив, так умен и привлекателен, как Корн.

Елизавета Николаевна даже немного жалела о своей прежней молодой легкости, которая позволяла ей не за-

думываясь решать этот, никогда не казавшийся слишком сложным, вопрос.

Но тогда Константин Павлович был другой, и любовь к нему была другая, метавшаяся, отравленная воспоминаниями о его «холодном кипятке», о внезапных, мучивших ее поворотах. Теперь все устроилось, все устоялось. Теперь она *ждала*, и этому ожиданию были светло и прочно отданы душевные силы.

Корн работал, когда она пришла, но, увидев ее из окна, сбежал с лестницы и радостно протянул ей обе руки:

— Здравствуйте. Как хорошо, что вы пришли!

Он был тощий, костлявый, в болтавшейся, запачканной красками блузе, с легкими движениями, в очках, рассеянный, быстрый. У него было одновременно и деятельно-энергичное, и усталое лицо с лысеющим лбом. Он много говорил, перебивая себя, но не путаясь, вдохновенно соглашался, вдруг неожиданно возражал и был, как однажды Елизавета Николаевна сказала ему, удивительно «однозначен», то есть никогда и ни в чем не выдавал себя ни за кого другого. Это полное отсутствие притворства сперва как раз и показалось Елизавете Николаевне притворством. Но потом она поняла, что Корн так глубоко ушел в свою живопись, с такой полнотой отдал ей свои силы, что у него просто не хватило бы этих сил, чтобы хитрить или притворяться, чтобы устроить благополучную жизнь. Ему ничего больше и не осталось, как быть самим собой, и это удивляло Елизавету Николаевну и казалось ей трогательно необыкновенным.

Он любил выпить, мог часами бродить по Парижу. Но она знала, что работает он мучительно медленно, без конца возвращаясь к своим сосредоточенным, без единого пустого сантиметра, холстам.

Ее приход — Елизавета Николаевна сразу почувство-

вала это — был счастливой возможностью на короткое время забыть о работе и заняться другим делом, которое он тоже очень любил и которому отводил немалое место в жизни. Не прошло и десяти минут, как он попытался обнять ее. Стараясь отвести его руки, она сказала с укоризной: «Матвей Ильич», — но он не отпустил, и пришлось вырваться силой.

— Милый Матвей Ильич, ну, пожалуйста, не надо!

— «Ну, пожалуйста» — первый сказал я.

— А кто обещал рассказать, как Малевич поссорился с Шагалом?

— Ну да, хорошо, непременно. Но я не могу рассказывать, когда мне хочется вас целовать. Можно одновременно?

— Нет. Это долго объяснять, но я, к сожалению, не могу позволить, чтобы вы меня целовали.

— Все-таки — к сожалению?

— Да. Это ничего не меняет.

У него были огорченные глаза, и Елизавету Николаевну тронуло, что он нисколько не старается скрыть огорчения. Надо было как-то помочь ему заменить неисполнившееся желание надеждой, и она заговорила о его последней, еще стоявшей на мольберте работе.

— Как все изменилось за несколько дней!

Это был уголок парка в Медоне. Лиловые пятна раскинулись на дорожках, на траве — тени, отброшенные от грубых стволов. В центре холста — угол дома с разноосвещенными окнами, одно над другим, а в стороне — маленькое темно-сиреневое строение. Неуловимо меняющийся цвет древесной коры окрашивал пейзаж. Справа этот цвет медленно переходил в зелень кустарника, а слева — грубо сталкивался с красотой осеннего клена.

— Нравится?

— Очень.

Они долго молча смотрели на холст, и когда Корн заговорил, у него были уже другие, спокойные глаза. Она облегченно вздохнула.

Но он еще сердился на нее. Привязавшись к какому-то ее замечанию, он стал доказывать, что она вообще не умеет «смотреть».

— Я же вижу, как вы смотрите! Вы доверяете своим зрительным впечатлениям, а нужно как-то отделываться от них, и чем скорее, тем лучше. Им можно доверять, когда мы, например, обедаем, чтобы не поднести ложку к уху. А перед картиной надо искать зрительные впечатления художника, а не ваши. Вы не умеете смотреть на холст глазами того, кто его написал. Что такое пятно на холсте? Это — событие, происшествие, иногда скандал, и так далее. У Рембрандта — событие, у Гогена — скандал. Все равно. Надо его понять, а кто не умеет смотреть, тот никогда ничего не поймет, потому что ничего не увидит.

Все это было еще продолжением неловкой сцены ухаживания — то, что он разговаривал с ней, как будто она вчера взяла в руки кисть. Но вот он заговорил о «пятне» у бубнововалетцев, и сразу стало интересно. Когда-то он сам принадлежал к этой группе.

— Для меня все началось с того, что надоели мирискусники, я устал от их «тонкости вообще». У них все было «вообще», даже образованность, хотя образованность им как раз пригодилась. Они были постаревшие актеры, которым не хотелось уходить со сцены, и тогда они стали покровительствовать другим, чтобы не уйти, а сами при этом скрежетали зубами. Я лично слышал, как ваш Добужинский скрежетал, хотя при этом он был очень вежлив.

Дверь осталась открытой, и Елизавета Николаевна

поняла по его скользнувшему взгляду, что ему очень хочется закрыть дверь. Он колебался, зная, что она снова начнет стыдить его, и боялся, что по мягкости характера ему снова ничего не удастся.

— Они считали, что мы обезьянничаем, и были правы, потому что действительно — куда бы мы кинулись без Сезанна или Гогена? И потому что многие действительно остановились на подражании. А некоторые не остановились и даже перешагнули Сезанна. Конечно, тогда это было не так ясно, как теперь, и даже совсем неясно. Тогда шли ощупью и, главным образом, старались все отменить. Сперва литературу, потом сюжет. Лет пятнадцать тому назад я, например, писал пейзаж, а получался натюрморт. Мне нравились прозрачные предметы — стекло или вода в графине, потому что это — не предметы, а окрашенная среда. Вы когда-нибудь пробовали? Это очень полезно.

— Да.

— Покажете?

Елизавета Николаевна покачала головой.

— Нет. Это было плохо.

— Ну вот. Дальше надо было идти учиться к кубистам, а я не пошел. Одно время я писал, как кубисты, но у меня ничего не получалось, может быть, потому, что я по натуре человек общительный и мне всегда хотелось в работе спокойно разговаривать с людьми, а кубисты не разговаривали, а настаивали, кричали.

Он забыл о «Бубновом валете» и стал рассказывать о себе. К сюжету он вернулся уже в другом, цветовом значении. Например, писал весь холст в одном определенном цвете, стараясь, чтобы пространство, фактура, вся инструментовка были не только связаны, но как бы происходили из этого основного цвета. Потом стал искать

«освещение цветом», и оказалось, что сюжет ничему не мешает и даже помогает, если понимать его в чисто живописном, а не в литературном смысле.

Он вышел и, вернувшись через несколько минут, закрыл дверь, не решившись все-таки накинуть крючок. Но этот крючок уже участвовал во всем, что он рассказывал, как бы заставив его раздвоиться: один Корн уже захвачен тем, что должно было непременно произойти, если он все-таки накинет крючок, а другой Корн еще рассказывал о своем отношении к супрематистам: по его мнению, каждая группа «левых» поняла революцию как победу своего направления. Шагал был комиссаром по искусству в Витебске, его ученики рисовали на всех заборах летящих вверх ногами свиней и коровок. Через два года его низложил Малевич. Малевич доказывал, что нечего возиться с изображениями каких-то предметов и фигур: подлинное революционное искусство беспредметно. Он отбил у Шагала учеников, захватил художественное училище, и Шагал должен был уехать в Москву.

В мастерской стемнело. Корн пробормотал, что надо зажечь свет, подошел к двери и накинул крючок.

— Матвей Ильич, мы же не дети, — поспешно сказала Елизавета Николаевна, когда он снова обнял ее. — Если бы я могла, я бы... Ну, просто... Раз уж вы... Но я не могу.

Он что-то говорил изменившимся, беспамятным голосом: «Ну, пожалуйста, я не хочу насильно...»

— Насильно нельзя, и вообще нельзя. Поверьте же мне! Я так дорожу нашим знакомством, а теперь мне придется...

— Почему, почему? Напротив, если б мы были близ-

ки, мы виделись бы часто, каждый день. Ну, я очень прошу вас, Лизанька. Очень!

Она снова отвела его руки. На мгновенье ей самой стало досадно, что она так холодна.

— Не могу. И объяснить не могу. Вы мне разорвете платье, — сказала она, отклоняясь. — А оно у меня одно. Есть, впрочем, другие, но это — самое лучшее. Пожалуйста, откройте дверь, чтобы не волноваться. И я вам все объясню.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Париж, 1931.

Милый друг, я начала это письмо давно, еще когда мой сад, состоящий, как ты знаешь, из единственной черешни, был в цвету. Теперь она отцвела, пожелтела, ветер срывает последние листья. Я ее люблю и такой, с графическим рисунком ветвей. Плохо только, что к ней больше не приходит в гости Лариса Нестроева. Мы поссорились, должно быть навсегда, потому что она не из тех, кто возвращается, а я не из тех, кто просит вернуться. Дело началось со спора, в сущности, отвлеченного. Ей не понравился интерьер, который я пишу, и она сказала мне об этом, может быть, слишком резко. Потом мы вернулись к нашему разговору о «первоначальности» искусства, и я первая сорвалась, когда она сказала, что недаром сказано: «В начале было слово», и что в сравнении с поэзией «все зрительное — второстепенное». Я стала доказывать обратное, то есть «первоначальность» живописи, и не нашлась, когда она возразила, что на необитаемом острове художник — только Робинзон, а поэт — бог. Мы обе силь-

но волновались, но я сдерживалась, а она с каждой минутой становилась все холоднее и резче. Она преклоняется перед Гончаровой, я знала это и уже нарочно сказала, что как раз у Гончаровой-то и нет той первозданности, того «начала начал», которое свойственно подлинным большим мастерам. Она посмотрела на меня, точно оттолкнула, — мне холодно стало от этого взгляда, — и заметила уже почти небрежно, что между Гончаровой и мной уже та разница, что я только подхожу к искусству, а она им одержима, захвачена. Для нее иного выхода нет, а для меня — есть. И тут она беспощадно сказала о моей пирографии, о зонтиках, точно кнутом стегнула по больному месту. Я расплакалась, она тоже — и вскоре ушла, лишь наружно помирившись.

Меня потрясло ее презрение, и теперь я думаю, это была совсем не шутка, когда она сказала, что ходит в гости к моей черешне. А ведь сколько было выговорено под этой черешней! Сколько в памяти перебрано, какие счеты сведены, не между собой, а между долей мужской и женской, нерусской и русской. Так вот, не будет больше этих разговоров. И не потому мы разошлись, что ей не нравится моя живопись, а потому что мы обе — странницы, которым больше невмоготу бродить «Христа ради». Все это — горечь душевная, отрава, месть себе, камень на шее, с которым не жить бы, а впору только броситься в воду.

Я не писала тебе, что подавала просьбу о возвращении и, к сожалению, получила отказ. Я уже после первого разговора в консульстве сомневалась, что мне удастся вернуться, но все-таки подала заявление, заручившись поддержкой руководителей «Союза возвращения на родину», — ты, должно быть, слышал об этой организации, в которой кого только нет — от безграмотного вологодского

мужика до бывшего министра. Отказ пришел через полгода, и я немедленно — так мне посоветовали в том же «Союзе» — подала новое заявление. Вот так-то, родной. Теперь остается только одно: ждать тебя. В последнем письме ты упомянул, что возобновляешь хлопоты о командировке.

О моих работах ты сказал много верного, и это удивительно, если вспомнить, что я послала тебе только фотографии. Но, миленький мой, все это для меня уже не вчерашний, а третьегодняшний день! Я работаю теперь совершенно иначе... Ну, могу только «философски» объяснить: так, чтобы не я требовала от живописи все возможное и невозможное, а она — от меня. Посылаю тебе письмо, не перечитывая, чтобы не задержать.

6.I.31. Париж.

Не могу тебе передать, как ты беспокоишь меня, мой дорогой. Или ты сердишься на меня за то, что я не сразу ответила? В твоем письме есть нечто принужденное, точно ты написал его через силу. Может быть, ты просто разлюбил меня? Нет, это тебе не удалось бы утаить, странные недомолвки твоего письма относятся к чему-то совершенно другому. Мне показалось даже, что у тебя переменился почерк, и я, дура, кинулась сравнивать... Нет, твой! Умоляю тебя, напиши мне правду или, если это невозможно, хоть краешек правды, я все пойму с полуслова. Если это служебные неприятности, ради бога, не придавай им значения. Если откладывается командировка — ну что ж, нам с тобой не занимать терпения, надежды.

Что же мне, мой родной, рассказать о себе? У меня — трудная полоса. Не в материальном отношении, там —

не «полоса», а вся жизнь. Хедив, с которым Алексей говорил, отказался ссудить мне 25 тысяч франков на два года. Алексей предложил свои десять, и на этот раз отказалась я. Но меня беспокоит не безденежье. Другое не дает мне покоя, о другом думаю я беспрестанно: неужели так и не удастся вернуться домой? На Волгу. К тебе.

Все это, должно быть, наивно, мой дорогой, но почему бы иногда не помечтать одинокой женщине средних лет, которая только что долго смотрелась в зеркало, стараясь угадать, «какую» ты меня любишь. Ты станешь смеяться, но прежде чем приняться за письмо к тебе, я крашу губы, подвожу глаза, с сожалением разглядываю морщинки вокруг рта и глаз. Говорят, что стареют, когда этого хотят. Неправда! Когда этого не хотят — еще больше стареют.

4.III.1931. Париж.

Я все поняла, мой дорогой. Больше ты не услышишь от меня ни единой жалобы. Мне просто захотелось помечтать, и я забыла о том, как, в сущности, безнадежно это занятие. Я буду терпелива. Я стану писать тебе о ежедневном, обыкновенном, о том, что не заставляет заглядывать ни вперед, ни назад. Ты приедешь, нет же никаких оснований предполагать, что этого не случится? И все будет хорошо.

В последнее время стоит мороз 2—4° ниже нуля, Париж в снегу. Для французов это бедствие, а я не могу на него наглядеться. Странно, что можно взять в руку хрупкий комок, он холодит и напоминает петербургскую зиму. Отдать бы полжизни за этот свет, через который, как говорила Нестроева, смотрятся мои картины, да некому, никто не возьмет. Впрочем, снег скоро растает. На

террасах больших кафе пылают переносные печи, на перекрестках в жаровнях аппетитно дымятся каштаны, но уже открылся рынок цветов, и на тележках — фиалки, нарциссы, мимозы.

Клямар — в десяти минутах от Парижа. Через три года обещают метро, а пока приходится ездить поездом и трамваем. Домик — настоящая спичечная коробка. Две комнаты, в одной живет хозяйка, в другой — ваша покорная слуга. До меня здесь жил один знакомый художник, который всю мебель сделал своими руками — как мы когда-то с Георгием в нашем сарае. Топорно, но уютно. Тахта, на которой лежит матрац, покрытый облезшим, путешествующим со мной всю жизнь, турецким ковром. Стол, два стула. Все прочее представить себе очень легко: холсты, которых становится все больше, подрамник, банки с кистями... На подоконнике стоят цветы. За окном — маленький двор, а на дворе — мое утешение — черешня. Она, конечно, изображалась не только в разных ракурсах, но во все четыре времени года.

Зарабатываю я мало, главным образом книжной иллюстрацией. Всегда что-нибудь да подвернется в последний момент. Иногда я устраиваю себе праздники. Вот вчера, например, поехала на выставку Тулуз-Лотрека. Он впервые представлен с такой небывалой полнотой, номеров пятьсот, а может быть, и больше. Живопись, пастель, гуашь, рисунки, литографии и изумительные плакаты. Какая свобода, мастерство, грация, искренность, сила! Какое заступничество за попираемого ногами, униженного, уничтоженного, затолканного человека! Что касается его «плоскостности», о которой мы с Корном много говорили... Ты знаешь, Кандинский где-то писал, что он научился, не без труда, наслаждаться далеким и даже «враждебным» ему искус-

ством и холодно проходить мимо холстов, будто родственных ему по духу. Именно это чувство испытала я на выставке Тулуз-Лотрека.

Посылаю тебе книгу о Модильяни. Пиши, мой дорогой, поздравляю тебя с днем ангела. Пришли мне свое фото, так хочется посмотреть на тебя!

5.VII.1931. Париж.

Ты знаешь, как редко я бываю в театре, а тут вдруг собралась и пошла к Питоеву посмотреть «Три сестры». Французы пишут о «высокой поэзии, неотразимом очаровании, своеобразной прелести». И одновременно: «Это сумасшедший дом, весь народ заражен коллективной неврастенией». Вздор, конечно, и непонимание того, что литература в России — это совсем другое, чем где бы то ни было. Это — плоть от плоти интеллигенции, а наша интеллигенция — особое явление, ни на что не похожее, недаром же ни в одном языке нет даже и самого этого слова.

Она, может быть, и хотела бы стать другой, но не в силах — в этом ее и беда и утешение. Стать другой — это значит не искать правды, не заботиться о ней, не требовать от других того, что ты требуешь от себя, и т. д. Вот попробуй мысленно представить себя таким — и мгновенно в тебе сразу же восстанет все передуманное, пережитое, все прочитанное, а из прочитанного на первом месте все та же русская литература, те же Толстой, Достоевский и Чехов.

Ну, полно! Я снова расфилософствовалась, а это всегда — не к добру.

Мне хочется зимой вернуться на Корсику. Для этого нужны деньги, а лето — трудное, безденежное, держусь

только кредитом у соседних лавочников, которым стараюсь внушить привязанность к искусству.

Во Франции кризис спадает, но художники, пострадавшие от него в первую очередь, очень медленно восстанавливают свое положение — такая уж, видно, наша судьба.

Почему ты в последнем письме ничего не пишешь о своей командировке? Может быть, я могу помочь чем-нибудь? Ну, скажем, пойти к Шевандье?

Спасибо за книги, в особенности понравился мне «Дневник Кости Рябцева», хотя и показалось немного странным, что педагоги у вас побаиваются собственных учеников. Я вспомнила мой пансион в Перми. Нам не жилось так привольно.

Не пишу о том, как я жду тебя. Для других любовь — развлечение, украшение жизни. А для нас с тобой — рок. Только ты не можешь помешать моему одиночеству. Ведь любовь — это и есть творчество, по меньшей мере в тех преувеличениях, которые оказываются действительностью.

10.XII.1931. Париж.

Милый друг, спешу тебе написать, что я жива и — чуть не написала: здорова. Как раз — нездорова. Вот уже четвертый день лежу с гриппом, температура высокая, в голове — странная, почти приятная легкость. Впрочем, сегодня уже не очень высокая, и можно почитать, помечтать. За окном, как «сонмы маленьких княжен», плывут белые праздничные облака. Черешня моя — совсем японская, для Хокусаи.

Давно не писала тебе, но думала много. Говорят —

silence fait éloigner plus que distance[1]. Но когда я внутренне разговариваю с тобой, я путаю нас, а если бы ты получил письмо, адресованное, в сущности, самой себе, оно, пожалуй, произвело бы на тебя странное впечатление. И думаю я, милый мой, о любви.

Можно ли представить ее объективно, вне нас? Если можно, она должна быть неслыханно высокого мнения о нас. И это сказалось прежде всего в том, с какой последовательностью, как настойчиво и энергично она затрудняла нам жизнь. Едва ли не с первых дней нашего знакомства она разлучила нас и потом занималась этим в течение десятилетий. Она охраняла нас от пошлости. Мы всегда были в ее руках, и это медленно, но неуклонно учило нас нравственности, то есть, в сущности, вкусу. Она наградила нас тайной, без которой не может быть подлинной любви и которая сохраняет ее от распада. Ей не мешало то, что я была близка с другими, потому что эта близость не только не напоминала ее, но была ее противоположностью, как моя жизнь с Гордеевым или уверенность в том, что и ты был близок с другими. Она стала совсем другой, чем в молодости, и я даже знаю, когда это случилось: в тот день, который я провела у твоей постели. Она научила нас терпению — это в особенности относится ко мне, я всегда была позорно нетерпелива. Она заставила нас жить, вглядываясь друг в друга, а ведь люди вообще плохо понимают друг друга. Я много раз замечала, что мужчина и женщина, говоря на одном языке, вкладывают совершенно различный смысл в то, что они говорят. Кроме тайны любви есть еще и тайна личности, и хотя мы, кажется, не утаили друг от друга ни единого движения души — она осталась для нас почти непро-

[1] Молчание отдаляет больше, чем расстояние *(франц.)*.

ницаемой. Но так и должно быть, потому что усилия проникнуть в тайну личности есть те же усилия любви. Но и это еще далеко не все. Душа засорена бог знает чем, засорялась всю жизнь и продолжает засоряться почти ежедневно. Любовь, как метла, как баба с мокрой тряпкой в руках, трудилась и трудится до седьмого пота, чтобы вымести этот сор. Мое женское дело было в том, чтобы облегчить ей этот нелегкий труд, но я — каюсь — далеко не всегда ей помогала. Так любовь очищала душу, возвращая ее к самому главному — к самопознанию, к способности внутреннего взгляда, без которого смысл жизни уходит между пальцами, как песок. Здесь у нее было верное, испытанное, сильное средство — страдание, которое я всегда от души ненавидела и ненавижу. Ты долго старался обойти его, не замечая, что это значило обойти и меня. Ты как будто надеялся, что времени удастся обогнать нашу любовь и она уйдет в прошлое. Этого не случилось, потому что она оказалась сильнее всего, что может с нами случиться.

Но и это еще не все, мой дорогой. Она не только перестроила нас, она не только постоянно была камертоном, к которому мы невольно прислушивались, хотели мы этого или нет. Она искала и нашла себя в искусстве. Не знаю, многое ли мне удалось, останется ли что-нибудь в живописи после моей смерти, найдется ли для меня хотя бы крошечное самостоятельное место? Но с тех пор, как я поняла, что пишу свое, каждый новый холст — хотя бы это был натюрморт с репой и капустой — внутренне был связан с нашей любовью. Не потому, разумеется, что я пишу для тебя, а потому, что искусство не только не мешает любви, а, напротив, стремится выразить ее образ.

Вот тебе целый трактат о любви, как я ее понимаю.

Но не думай, что я подвожу итоги. Ничуть не бывало! Я жду тебя. Сам знаешь, как! Напиши мне, мой дорогой, поскорее.

12.I.32. Париж.

У меня ничего нового, мой дорогой, за одним счастливым исключением: на прошлой неделе к моей «спичечной коробке» подъехала машина, из которой вылезла прелестная молодая женщина — мой маршан, представь себе, послал ее ко мне. А у меня по всей комнате развешано белье, пахнет кухней, я — черт знает в чем и т. д. Говорили мы под отчаянный лай Джима, хозяйского сеттера. Она — полурусская-полугрузинка, живет в Праге. Муж ее едва ли что не министр, а она — историк живописи, собирает коллекцию и хвасталась мне (впрочем, очень мило), что у нее уже есть Ларионов, Шагал и Сутин. Я, конечно, только развела руками, услышав эти имена, но она, к моему изумлению, выбрала два холста (которые мне совсем не хотелось продавать) и уехала, оставив свою визитную карточку. Фамилия у нее самая русская: Нелединская-Мелецкая, — помнится, был такой поэт в допушкинское время. Ты ведь знаешь, я не завистлива. Но тут позавидовала — и аристократической простоте, и женской прелести, которая ничуть не мешает ей понимать живопись и говорить о ней свободно и тонко. Еще два-три таких визита, и у меня наберется денег для Корсики, по которой я очень скучаю. Лючия зовет меня к себе, но она сама еле-еле сводит концы с концами. Там дни долгие, спокойные. А здесь не оглянешься — и ночь.

Посылаю тебе занятный газетный отзыв о Ван Донгене, одном из кумиров Парижа.

А вот Надю мне жаль. Я думаю, что ты к ней несправедлив, я знаю, ты ведь бываешь жестокий. Есть две рев-

ности: одна — ложь самому себе, своему сердцу, другая — ложь в других. Мне кажется, что ты нарочно обманывал себя, чтобы расстаться с ней.

По-прежнему бываю у Корна, который работает сейчас над портретом мальчика, сына консьержки: горбоносый, тоненький, вот-вот переломится, с вытянувшимся, очень узким лицом. Я вспомнила Шамиссо с его убежавшей тенью, то есть не Шамиссо, а именно эту тень. Брови вздернуты. И ждет, и рвется куда-то.

Не беспокойся обо мне, мой родной. Все будет хорошо. Помнишь, я прислала тебе заговор?

Полюбив меня, помни меня,
Встанет ли солнце, помни меня.

Тогда я заклинала. А теперь просто верю.

В этом письме нашелся адрес Нелединской-Мелецкой. Впоследствии она читала курс истории искусств в Карловом университете. Ее собрание poussés — восковых портретов, заменявших в XVIII веке фотографии, — считается одним из лучших в мире. В маленькой отборной коллекции картин, состоящей из русских художников, сохранилась одна работа Тураевой.

Она называется «Малярия в Порто-Веккио». Синий треугольник неба тяжело ниспадал к другому треугольнику, состоящему из пристани, бухты и набережной, на которой тревожными поблекшими пятнами застыли редкие фигурки людей. Небо было написано так, что оно, казалось, сейчас упадет на Порто-Веккио. Это было не небо, а твердь небесная, написанная беспощадными, неумолимыми, мерцающими, раскаленными сиренево-серы-

ми тонами. А внизу медленно плыла твердь земная, как бы охваченная лихорадочным бредом. Зернистый свет горел в глубине картины, и пустота набережной, пристани была полна этим тревожным светом.

20.I.32. Париж.

...Как никогда важен теперь для меня «собеседник», тот, кто увидит мою работу в России и кому она передаст мои мысли и чувства. Мне страшно, что я притащу на родину свое грешное «тело», свои страдания, свои неосуществившиеся стремления, свои пристрастия и пороки... Борьба между душевной жизнью и действительностью, в которой я провела долгие годы, глубоко изменила меня. Я выработалась, как собственный двойник, я не та, какой могла бы стать, если бы у меня была другая жизнь. Все, что я видела до сих пор и переносила на полотно, было предопределено моим двойником, моим зеркальным отражением. Вот откуда эта жажда одиночества, эта мысль, что так и должно быть, что я могу обходиться без чужого лица, без постороннего взгляда. От беспредметности до одиночества — один шаг. «Я вижу так, а больше мне ни до кого нет дела». И только поняв это, я снова стала искать возможность разговора с людьми. Для этого надо было поставить центр тяготения вне себя, вырваться из одиночества, убить в себе «двойника». Нельзя найти свое лицо, не переключая себя на других. Это вовсе не значит — перешагнуть через самого себя. Напротив, это значит овладеть собой — и это сделал Корн. Достигну ли я когда-нибудь полной власти над собой — не знаю. Тогда люди увидят мои холсты, и среди людей отберутся те, которых я заслужила.

Боюсь, что эти размышления покажутся тебе, в свою

очередь, беспредметными, мой дорогой. Какое несчастье, какая беда, что я не могу поговорить с тобой не в письмах, не беззвучно, а во весь голос, перед холстами. Но ведь нельзя же представить себе, что мы никогда не увидимся. Это было бы...

Москва, 2 марта 1932 года.

Уважаемая Елизавета Николаевна.

Пишу Вам по просьбе Константина Павловича Карновского. Он находится в больнице им. Боткина (седьмой корпус, четвертая палата), и, хотя состояние его здоровья улучшается, однако ему еще надолго — может быть, на полгода — запрещена всякая умственная работа, даже чтение. Заболевание его очень редкое, называется арахноидит, а по-русски — воспаление паутинной оболочки мозга. Иногда оно является следствием травмы, но чаще — самого обыкновенного гриппа. Константин Павлович недавно перенес грипп, так что у меня причина его болезни не вызывает сомнений. Он часто спрашивает — нет ли для него писем, но лишь сегодня сообщил мне Ваш адрес и попросил передать, чтобы Вы не волновались, если некоторое время от него не будет известий. Но Вас он просит писать, как прежде, на его домашний адрес, откуда письма будет доставлять сосед по квартире. И я со своей стороны прошу Вас писать ему обычные письма, то есть такие, как если бы ничего особенного не случилось. Это может сыграть известную роль в его выздоровлении. Со своей стороны я буду время от времени сообщать Вам о его положении.

Желаю Вам всего хорошего.

Доктор Л. Безбородов

20.III.32. Париж.

Костенька, я получила сегодня письмо от твоего врача, очень меня огорчившее. Конечно, я буду писать тебе, мой дорогой, а ты ответишь мне, когда поправишься, на все мои письма сразу. А пока спешу тебе сообщить, что на днях я встретилась с Бернштейном, помнишь, я тебе писала о нем? Я рассказала ему о своих хлопотах, и он был так добр, что отправился в консульство вместе со мной. Ответа из Москвы еще нет, но разговор был совсем другой, обнадеживающий. Бернштейн думает, что за дело следует взяться иначе: надо, чтобы за меня поручился или, по меньшей мере, прислал рекомендательное письмо кто-нибудь из видных советских деятелей — писатель или художник. Он знаком с А. Н. Толстым и обещал мне поговорить с ним по возвращении. Я теперь все думаю, как бы мне послать Толстому в подарок что-нибудь из моих работ. Да страшно: а вдруг не понравится! Мне кажется, что ему должны нравиться «мирискусники» — ведь его проза в этом духе, не правда ли? Тогда лучше, пожалуй, не посылать. Так или иначе, я верю, что все будет хорошо! Мы увидимся, увидимся непременно! Но я тебя умоляю, не торопи свое выздоровление. Я по себе знаю, как важно найти душевные силы, чтобы оставить себя в покое.

Обнимаю тебя. Скоро напишу снова.

Париж.

Пока у меня ничего нового, мой родной, если не считать неожиданного, во всех отношениях, предложения — сделать фрески в шато одного богатого архитектора, очень симпатичного человека. Ты знаешь, я не робкого десятка, но тут долго сомневалась, прежде чем дать согласие. Правда, я предупредила заказчика, что технику

знаю только теоретически. Ты, без сомнения, представляешь себе в общих чертах, что такое фрески. Тут многое зависит от штукатура, который готовит стену. Удалось найти очень опытного, но оказалось, что это и хорошо, и плохо. Пришлось мне самой взяться за дело, то есть он стал работать по моим указаниям. Конечно, дня не проходило без спора. То, что я говорила, шло вразрез с его опытом, он настаивал на своем и, когда меня не было, не раз портил работу. Никак не мог понять, что надо каждый раз перед работой класть грунт и писать по сырому, потому что, как только грунт высыхает, он уже не вбирает краску. Подбор красок тоже очень сложен, приходится пользоваться подкладочными тонами, усиливающими прочность и светосилу. Словом, это новая и очень интересная работа, о которой я мечтала еще в Стамбуле, копируя мозаики Кахрие-Джами. И наконец, что тоже весьма существенно, я получила солидный аванс, а когда работа будет закончена, совсем разбогатею. Не только расплачусь с долгами, но смогу спокойно работать по меньшей мере месяца три-четыре.

Вот так-то, мой родной. Все складывается хорошо. Я снова виделась с Бернштейном, и он сказал, что почти не сомневается в благоприятном ответе...

(Письмо не датировано)

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Не она, а Гордеев получил заказ от богатого архитектора, и все, что она написала о фресках, ей рассказал накануне Гордеев. Она действительно встретила Бернштейна на улице, и разговор о возвращении был, но это был

совсем не обнадеживающий, а скорее обескураживающий разговор, хотя этот благожелательный человек искренне сочувствовал ей и обдумывал вместе с ней все возможности возвращения. Но она не была с ним в консульстве, и не только не была, а не посмела даже попросить его поехать с ней. Она понимала, что, несмотря на всю его благожелательность, он вряд ли сумеет ей помочь.

Он действительно был знаком с Алексеем Толстым, но не предлагал и не мог предложить Елизавете Николаевне обратиться к нему, потому что Толстой не стал бы хлопотать за незнакомого человека. Бернштейн назвал его как пример — «вот если бы такой человек, как Толстой...». Но среди ее русских друзей и знакомых не было такого человека.

У нее давно разладились отношения с Машей Снеговой, но все же она поехала к ней, вспомнив, что среди друзей ее мужа есть врач-невропатолог. Встреча состоялась, и врач сказал, что трудно что-либо посоветовать, не видя больного.

Елизавета Николаевна вернулась к себе, измученная, полумертвая. Хозяйка пришла, чтобы напомнить о долге, и раскричалась, показывая длинные желтые зубы...

Она писала Константину Павловичу чаще, чем прежде, и хотя это было трудно — притворяться, что ничего не случилось, как ее попросил об этом доктор Безбородов, — она притворялась. Когда-нибудь он прочтет ее письма и узнает, как она естественно, разумно лгала. Все устроилось: она задолжала за квартиру, но хозяйка — добрая женщина — охотно согласилась подождать, а потом, когда Елизавета Николаевна написала ее портрет, приняла его в счет долга. В Клямаре сейчас хорошо, цветут яблони, сливы и груши. Должно быть, весна загоняет

в ее домик поэтов, на днях Маша приехала с молодым итальянцем, который, по ее словам, пишет почти как Д'Аннунцио. Она показала Матиссу последние работы, и он поздравил ее и сказал, что поговорит о выставке с маршаном.

Маша действительно приезжала с итальянцем, и он читал плохие стихи. Клямар был розовый и белый от яблонь и груш. Матисс действительно очень хвалил ее картины. Но выставить надо было не меньше 50—60 холстов, каждая тоненькая посеребренная рамка стоила очень дорого, а маршан сказал, что он готов рискнуть, но с условием — если где-нибудь, например, в «Les Echoes d'Art», о ней появится статья или хотя бы заметка.

Теперь у нее было два существования. Одно — выдуманное, благополучное, в котором сбывалось все, на что она давно перестала надеяться. И второе — подлинное, голодное, спотыкающееся, в котором была одна опора — работа.

В молодости, когда жажда новизны окрашивала и оправдывала ее жизнь в Турции, во Франции, на Корсике, ее почти не мучила ностальгия. Константин Павлович был для нее Россией.

Теперь, когда ее письма оставались без ответа, она чувствовала себя наказанной за то, что уехала, и неотвратимо, безнадежно одинокой.

После того как Елизавета Николаевна разошлась с Гордеевым, у нее образовался новый круг знакомых. Хозяйка прислала судебного исполнителя, маленького грозно-добродушного старика с пышными седыми усами, он ушел очарованный, взяв с нее обещание, что она напишет семейный портрет, — и по воскресеньям она стала бывать в шумном, любознательном, беспечном, истинно французском доме. То и дело к ней приезжали корсиканцы, с ко-

торыми надо было и приятно было возиться. Дух легкости, неунывания поддерживался, хотя ее решение — отказаться или почти отказаться от того, чем она прежде зарабатывала на жизнь: от зонтичных ручек, раскраски тканей, портретов на заказ — было, по мнению всех ее друзей, настоящим безумием. Но это решение было связано с другим, очень важным. Она не хотела вернуться на родину — если произойдет это чудо — с пустыми руками. Конечно, она все равно не могла не работать. Внутренняя необходимость, которую она не замечала, как не замечают необходимости дышать, заставляла ее писать каждую минуту, свободную от других необходимостей — есть, спать, заботиться об одежде. Но прежде эта главная необходимость была связана с надеждой на возвращение, а теперь надежда была подорвана.

Это-то она и писала, иногда бессознательно и опоминаясь лишь, когда очередной холст подходил к концу. Она написала интерьер, стену и дверь ее мастерской — и это была грустная, плотно закрытая дверь, захлопнувшаяся перед ней и оставшаяся темной, несмотря на красновато-искрящийся свет, скользящий откуда-то с невидимой высоты и загорающийся, когда холст освещал естественный, солнечный свет.

Другой интерьер, маленький деревянный стол в углу, — она работала над ним два месяца, — был портретом очень одинокого стола, терпеливого, сжавшегося, притерпевшегося, слепо смотрящего на бесчисленные светлые пятнышки, из которых составлялось медленно опускавшееся к нему разноцветное мерцание.

Она не думала, понравятся ли кому-нибудь эти холсты, так же как не думала больше, понравится ли кому-нибудь она сама — с ненакрашенными губами, в платьях, вышедших из моды, постриженная почти по-мужски, что

ей, кажется, совсем не шло. Равнодушие к чужому мнению не мешало, а может быть, даже помогало делу.

Елизавета Николаевна не знала, откуда взялась уверенность в том, что она не может работать иначе. Это была уверенность бессознательная, возможно даже, что ей не удалось бы выразить то, что она думает о своей живописи, в разговоре или на бумаге. Но то, чем стала для нее работа, она легко могла рассказать.

Работа была теперь для нее все усиливающейся догадкой, что нищая жизнь, и ностальгия, и сны о России, и письма Константину Павловичу, в которых она все лгала о себе, нужны для того, чтобы были написаны эти холсты. Работа была пониманием того, что ей не все равно, где быть одинокой, и невозможностью изменить что-нибудь в этом одиночестве.

Работа была опытом прежней жизни, в которой само собой отбиралось то, что важно для живописи, — памятный летний вечер в Симбирске, когда красновато-холодный свет заката потемнел, становясь теплее, добрее, и каждый цвет зазвенел отдельно — голубой, зеленый, фисташковый, белый. И другой вечер, в Олеизе, когда перед ней вдруг открылся хребет Яйлы, гóры, которые она видела ежедневно из своего окна — видела и не понимала. Одна была покрыта лиственным лесом. Зимой, в прозрачности высоты, она выглядела как будто припорошенной пеплом. Этот легкий, почти бесцветный пепел смягчал краски, и, чтобы увидеть всю гору сразу, надо было сосредоточиться на самых ярких купах. Среди них были чуть тронутые розовым, были блекло-зеленые. Сильнее других по цвету были темные, облетевшие, с четким, грозным рисунком ветвей. Налево от этой курчавой горы была другая, с безлесной, травянистой, ровно-зеленой верхушкой, на которой лежал полосками снег. А в глуби-

не была видна третья, по которой круто вилась до самой вершины дорога снега, и купол тускло и страшно блестел под голой луной.

Никогда прежде она не чувствовала с такой остротой самый материал живописи — деревянные кресты подрамников, кисти, упрямую, тупую белизну холста — и связанное со всей этой вещественностью блаженное оцепенение работы.

Бернштейн подарил ей альбом «Палехские мастера», и она написала Константину Павловичу: «С трепетом слежу за жизнью в России. Какой подъем! Какая сила, упорство и терпение!»

В Клямаре, в маленьком домике из двух комнат, выходившем в переулочек между других домов, а уже потом на улицу — зеленую летом, — жизнь казалась забежавшей с шумной дороги, присевшей отдохнуть и принявшейся за неустанную, неотвратимую работу. Жизнь шла, как паровичок по бульвару Сен-Мишель, ночами перевозивший овощи на Большой рынок. Она слышала его осторожное — чтобы никого не разбудить — попыхиванье в ту ночь, которую она провела у Константина Павловича, лежавшего в малярии.

Кризис кончился, продукты стали дешевле, деньги — дороже. Сперва решительно отказавшись от помощи Гордеева, она все-таки брала у него взаймы, возмещая долги работой в его артели. Маршан иногда присылал покупателей.

Мясничиха сделалась коллекционершей ее картин, среди которых были две или три хороших. Мясо, полученное в обмен на холсты, Елизавета Николаевна продавала на рынке.

Жизнь шла незаписанная, неназванная. Прошлое стало осязательно прошлым. Еще более осязательным было

настоящее с его ощущением независимости, ни перед кем невиновности, никому и ни в чем неодолженности.

Переписка с Константином Павловичем была для нее зеркалом, в которое она смотрелась всю жизнь, с шестнадцати лет. Когда она жила в России, это были письма о том, что происходило в ней и с нею, о людях, с которыми она встречалась, о книгах, которые она читала, о музыке, живописи, любви. Потом этот круг стал теснее, мечта о свидании казалась почти безнадежной, и Елизавета Николаевна впервые попросила его не писать о любви: «Не заставляй меня лежать ночью, рядом с мужем, с открытыми глазами».

Потом, в Париже, когда можно было писать обо всем, она поняла, что ни ему, ни ей нельзя писать обо всем. Круг стал еще меньше — теперь она смотрелась в зеркало, подчас не узнавая себя. Разлука научила ее любви — не той раскалывающей, кидающей из стороны в сторону, непроглядной, а чистой, подлинной, прячущейся, скрытой. И хотя теперь можно было сколько угодно писать о любви — круг продолжал сжиматься, как сжимается душа от незаслуженного унижения.

Были дни, когда ей становилось легко, она сама не знала, откуда бралась эта легкость. Может быть, от ощущения чистоты, соединявшегося с полной душевной занятостью, от ощущения, что не работа теперь принадлежит ей, а она — работе.

Она похудела, подурнела. Она почти не бывала у Корна, и наконец он, рассердившись, сам пришел к ней и потребовал, чтобы она показала ему последние холсты. Длинный, худой, в грязной холщовой блузе, он долго мрачно ходил по мастерской, а потом, тоже мрачно, сказал, что она стала работать самостоятельно, смело. И он, как Матисс, заговорил о выставке:

— Вы — женщина, а женщинам нужен триумф.

Елизавета Николаевна слушала и думала, что, разговаривая с ней, он больше не косится на дверь и не надеется, что она позволит ему накинуть крючок.

Из Парижа надо было уехать не только потому, что на Корсике остались холсты, необходимые для выставки (состоится она или нет), но еще и потому, что она сильно кашляла: очевидно, с легкими снова было неблагополучно. К доктору она не пошла, а Гордееву, который заглянул к ней и ужаснулся, напомнила, что однажды он ее уже похоронил и что завещание (согласно которому он получит ее скелет) остается в силе.

За зиму ей удалось расплатиться с долгами. Она списалась с Лючией. Бонифачийский дурачок Жозеф уже искал для нее комнату и предлагал на первое время свою.

Бонифачо.

Костенька, я живу пока у своей Лючии в счастливом одиночестве, вдали от суеты и забот Парижа. Нигде мне не работается так хорошо, как здесь. Рыбаки заходят, рассказывают об охоте, о бандитах. Говорят они на испорченном итальянском, я их понимаю, они меня — нет, но это ничуть не мешает нашим беседам. К моей живописи они относятся с уважением, и заработать здесь ничего не стоит. Я сделала несколько детских портретов и обеспечила себя работой на месяц. Читаю по вечерам длиннейший роман Марселя Пруста «В поисках утерянного времени». Главный герой, в сущности, — память. Действие происходит в глубине душевного мира.

Ну, что тебе еще написать? К ужасу Лючии (бонифачийцы начинают купаться в июне), каждое утро я набираюсь храбрости и лезу в море. Вода еще очень холодная. Песок — цветной, самоцветные камушки, ракушки,

выточенные морем, и среди них маленькие кораллы, которые я собираю и тащу домой пригоршнями.

Словом, все хорошо, кроме холодного ветра и слишком большой общительности бонифачийцев, от которой я иногда устаю. Пишу на солнце, и письмо пропитано солнцем и соленым корсиканским ветром. До свиданья, до следующего письма.

Твоя Лиза

(Письмо не датировано)

В КЛИНИКЕ

С ним разговаривали чуть слышно, почти не шевеля губами, — обыкновенный звук обыкновенного человеческого голоса казался ему оглушительным, разрывающим уши. Еще когда он лежал в приемном покое и дежурный врач советовался с кем-то по телефону, он слышал не только то, что говорил врач, но и то, что ему отвечали.

Теперь, в Боткинской, ему казалось, что до него доносится весь грохот перестраивающейся Москвы, на улицах которой стояли еще невиданные машины, вываливавшие из своих совков тяжелую каменную кашу.

Нельзя было ни читать, ни писать, ни вырезать ножницами фигурки из газетной бумаги. Нельзя было не потому, что врачи запрещали ему делать то, что ему хотелось, а потому, что ему ничего не хотелось.

Были часы и даже дни ясного сознания. Был досуг, навалившийся на него, отодвинув пухлой рукой все на свете: чтение лекций, занятия с аспирантами, общественную работу в МВТУ, гранки его новой книги, на которые

он даже не взглянул, хотя издательство торопило его и он сам с нетерпением ждал выхода книги. Досуг понадобился ему для другого. Он вспоминал свое детство.

На дверях маленького дощатого чуланчика, отгороженного от чердака, он повесил надпись: «Мастер фокусов и портниха». Ему было девять лет, сестре — семь. Он устраивал фокусы, а она шила из лоскутков платья для кукол. Любимый фокус назывался «Молния-лилипут». Он крепко натирал щеткой плотный лист бумаги и, поставив на два стакана металлический поднос, прикрывал его этим листом, осторожно держа его за подклеенные полоски. Потом со двора приглашались зрители, Костя приподнимал лист и предлагал любому из них на полвершка приблизить палец к подносу. Слегка укалывая палец, из подноса вылетала искра, которая была видна даже днем.

Потом отец запретил ему показывать фокус, потому что один из стаканов разбился. И искра, возникавшая из неизвестности, из пустоты, погасла, исчезла...

Как-то, прислушиваясь к разговорам взрослых, он запомнил поразившее его выражение: «точка зрения». Бабушка Матрена Вавиловна иногда увозила его с собой в Плетени. На втором этаже ее маленького домика жил столяр Михей Михеевич, который в свободное время делал шкатулки, вырезая кленовые листочки на их полированных крышках... «Точка зрения? — переспросил он и повел Костю на соседнюю Екатерининскую улицу, по которой ходила конка. — Видишь, как рельсы сближаются? — спросил он. — Где они сойдутся, вот там, братец ты мой, и будет точка зрения. Понятно?»

Костя сказал, что понятно.

Бонифачо.

Завтра еду в горы, в экипаже, с одной молодой художницей, француженкой, в которую влюблены все в Бонифачо, даже я. Очень хороша, любит одеваться, танцевать, выходит замуж за какого-то графа. Кокетничает даже со мной, но все прощаешь ей за женственность и грацию — удивительно сложена! Одна беда: уговорила меня позировать ей — пишет меня в кухне, где я чищу овощи и рыбу. Голландский (!) стиль. Жалко времени, но: «Оно все равно ушло бы на приготовление обеда!» Нечего возразить!

В горах мы с ней будем писать оливы. Помнишь, я писала тебе о библейской оливковой роще в Олеизе? Я буду работать, думая о нас.

Сегодня шторм, море иссиня-черное, пейзаж Апокалипсиса — и этот цвет каким-то чудом проникает всюду. Мне как раз и хочется передать это чудо, хотя я пишу скромный интерьер — дверь, полураскрытую в комнату Лючии.

Обнимаю тебя, мой родной. Надеюсь, что вскоре я получу от тебя хоть несколько слов.

Твоя Лиза

(Письмо не датировано)

Карновский не выносил перекрестного разговора, и это осталось надолго, так же, как мельканье кино, мгновенно доводящее до полубессознательного состояния. В палате он лежал с одним старым архитектором, деликатным, скромным человеком, как-то проговорившимся,

что он-то и строил тот седьмой корпус, в котором они лежали, так же как некоторые другие здания Боткинской больницы. Но к соседу приходили жена и дочь, и хотя они говорили вполголоса — Константин Павлович лежал, заткнув уши, покрывшись с головой одеялом, и думал только о том, как бы не встать и не трахнуть — все равно кого — настольной лампой. Но вот они уходили, и он думал, думал...

Когда он в первый раз поехал в Париж, он искал лучшего в жизни, хотя и без этой поездки жизнь, пусть утомительная, нелегкая, была полна. Почти полна. Как же случилось, что не Париж, не успех его доклада в Сорбонне, не отзыв Шевандье, закрепивший все дальнейшее движение работы, оказались для него самым важным в Париже? Самым важным оказалась Лиза, встреча с ней, значение того, что они по-прежнему любят друг друга. Стало быть, для него было мало уверенности в том, что он нужен друзьям, знакомым, кафедре, студентам, надежды на то, что он много сделал и еще больше сделает в науке?

Да. Ему нужен был еще и Мениль, когда, проснувшись, он увидел ее, пробежавшую по двору, в халате, с мелькнувшими стройными ногами. И разговор в кафе, когда Гордеев оставил их вдвоем.

— Приду. Я знаю твой отель.

— Когда?

И потом:

— Он не умеет читать по губам?

— Нет. Кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения.

Что же случилось с ним после той встречи в Париже? Случилось, что она, со всей своей беспомощностью, без-

защитностью, оказалась его защитой. Защитой? От кого? Разве он нуждался в защите?

В конце второго месяца ему разрешили смотреть картинки. Кто-то из друзей принес «Ниву» за 1916 год, и он настоял на разрешении, хотя толстый том неудобно было перелистывать лежа. Торжественное молебствие в присутствии императора перед открытием Государственной думы. Раздача куличей на позициях. Иконы, иконы, картины на религиозные темы. Шляпы с вуальками, палантины с хвостами. Бороды, бороды. Резинка «Слон». «Синий журнал». Жанна Гренье предлагает всем желающим увеличить свой бюст с помощью признанного всем миром средства. Впечатление устоявшейся, несмотря на войну, непоколебимой жизни.

Карновский вспомнил, как в 1916 году в Петрограде по Невскому шли войска, и они с Лизой больше двух часов не могли перейти на другую сторону. Бравые, подтянутые, в папахах, в аккуратных шинелях.

— Неужели все это может когда-нибудь рухнуть? — спросил Карновский, и Лиза ответила:

— Через пятьдесят лет.

Через три месяца рухнуло, как карточный домик.

Прошла еще неделя, и Константину Павловичу разрешили читать десять минут в день. Потом — двадцать. Еще неделя — тридцать.

Бонифачо.

Дорогой мой, одновременно с этим письмом посылаю тебе все, что соответствует почтовому размеру. Избушка, которая мне не удалась (на обратной стороне), — очень занятная, врезана в валуны и напоминает что-то русское, камское.

На днях кончила большой заказной портрет девицы из того неприличного домика, в котором когда-то жили мы с Гордеевым. Она совсем не похожа на парижских petites poules[1]. Смуглота, красота, острота — того и гляди, зарежет. Плохо только, что эта Кармен хотела, чтобы я изобразила ее Мадонной.

В мае я решила отдохнуть — и отдохнула бы, если бы Лючия не получила в подарок маленького (двухмесячного) ирландского сеттера, которому надо варить кашку и водить на прогулки. Вообще у нас сейчас «диктатура зверей». Мой Прокофий является по утрам изодранный, на винограднике толпа ослов ухаживает за ослихами Лючии. Мы с ней только и занимаемся тем, что выгоняем чужих ослов и разыскиваем своих. Мне надоел этот звериный быт, и я решила побродить с акварелью по Корсике. Съезжу в Сьерру к родственникам Лючии, потом, может быть, еще куда-нибудь...

Перечитала письмо и спохватилась, что пишу тебе о всякой чепухе. Извини, мой милый. Между тем на деле я настроена очень серьезно. Осенью — выставка, и я думаю о ней со смешанным чувством отчаянья и надежды.

Я продолжаю подбирать для тебя книги, ведь тебе, я надеюсь, вскоре разрешат читать. Две книги Жоржа Дюамеля — хорошие, и Моруа — о Шелли. Жизнь здесь стала беднее, крестьяне уезжают во Францию, на заводы, бесценные рощи изводят на топливо... Обнимаю, жду хороших известий. Твоя Лиза.

(Письмо не датировано)

---

[1] Курочек (прозвище проституток) *(франц.)*.

*Константин Павлович не только не был измучен бо*лезнью, но вышел из клиники в состоянии незаметно развивавшегося и наконец укрепившегося душевного подъема. Он вернулся к работе в МВТУ и охотно принял предложение поехать в Магнитогорск с поручением, хотя и далеким от той области математики, которой он занимался, но именно поэтому особенно для него интересным. Поездка удалась. Вернувшись в Москву, он установил, что его расчеты имеют более широкое значение, чем он предполагал, и могут пригодиться для других крупных строительств. На Челябинский тракторный с этими расчетами поехал его ассистент.

Он прочитал последние письма Лизы и хотя догадывался, что она нарочно смягчает теневые стороны ее жизни, однако поверил главному, то есть тому, что она здорова, не бедствует и с надеждой смотрит на свое возвращение в Советский Союз. Она не ждала его приезда, ей и в голову не приходило, что, оправившись, он прежде всего снова займется вопросом о своей командировке. Между тем это было именно так.

Еще в клинике, выздоравливая, он обдумал свои прежние хлопоты и решил, что сам был виноват в том, что они не удались. Вместо того чтобы обойти трудности, выждать, он торопился и действовал прямолинейно, не стараясь справиться с нарастающим душевным напряжением. Две первые командировки устроились легко, потому что время было другое и Совет МВТУ, пославший его в Париж, был другой. Теперь прежнее направление, согласно которому считалось полезным посылать за границу ученых, не играло значительной роли, ездили реже,

а полагаться на содействие Шевандье и вовсе не приходилось. Теперь дело было не в учреждениях, как прежде, а в людях. Это касалось и другой, более сложной задачи — возвращения Лизы в Советский Союз. Для него было ясно, что все ее попытки заранее обречены на неудачу: без влиятельного поручительства ей не разрешат вернуться.

Ему показалось немного странным, что скульптор Бернштейн, с которым он встретился в Москве, сказал, что он вовсе не советовал Лизе обратиться к А. Н. Толстому.

— Видимо, она спутала меня с кем-то другим. И даже несомненно спутала, если сообщила вам, что я вскоре снова собираюсь в Париж.

Бернштейн понравился Константину Павловичу. Это был трезво-благожелательный человек, отзывавшийся о Лизе с глубокой симпатией. Но толку от этой встречи было мало. И без Бернштейна он понимал, что наряду с обычными хлопотами необходимо заняться совсем другими, в которых главную роль должен сыграть чей-то двухминутный телефонный звонок.

У него была надежда, что хлопотать согласится Арденс. У них были одновременно и далекие и близкие отношения. Далекие потому, что они встречались у Грузинова два-три раза в году, а близкие потому, что Арденс был одним из немногих математиков, которые интересовались работами Константина Павловича и понимали их перспективное значение. После одной из статей Карновского, проблемы, которыми они занимались, внезапно сблизились — и он получил от Арденса шутливую поздравительную телеграмму. Возможно, что еще до разговора с Арденсом необходимо было многое уточнить, разузнать,

подготовить. Решившись наконец позвонить Ардентсу, он после понял, что никакие предварительные хлопоты не нужны. Арденс сказал, что командировку можно устроить, хотя и с трудом. Тут же он прикинул — кто в Наркоминделе может «поднять бумаги». После похода «Сибирякова», в котором он принимал участие и о котором говорил весь мир, могли помочь многие. Из них он выбрал тех, кто не только мог, но и захотел бы помочь. Что касается возвращения Лизы в Советский Союз, Арденс думал, что не следует «муссировать», как он выразился, этот вопрос.

— Будем надеяться, что придет время...

После болезни Константин Павлович редко встречался с друзьями. В том, как они держались с ним, ему все чудилось сожаление. Он полюбил вечерние разъезды по Москве. Шестой автобус пересекал Каланчовку, на которой начиналось строительство метро. Огромная земляника, составленная из лампочек, висела над Северным вокзалом, электрические цветы украшали вагонетку, везущую багаж, — ему нравились эти цветы, эта старомодная, декадентская земляника. Автобус пробегал под виадуком, огибал загороженную Мясницкую, уходил в широкий пролет, образовавшийся на месте снесенных Красных ворот...

...Он думал о том, что близость с Лизой уже не существовала отдельно, как это случалось прежде, а стала частью их общей жизни. В их неразрывно скрестившемся прошлом за каждый ложный шаг в ее жизни отвечает он, он один.

...Не было Иверских, Тверская скатывалась прямо на Красную площадь, Минин и Пожарский стояли теперь у Василия Блаженного. На площади Дзержинского не было привычного фонтана.

«Что такое теперь Москва? — спрашивала его Лиза. — А извозчики еще есть? Я не могу представить себе Москву без извозчиков!»

Извозчики еще были — в ямщицких полуцилиндрах, на колясках с лакированными крыльями, с длинным, торчащим у козел, кнутом. У них был лихой, упрямый, обреченный вид.

«В Казани я купил ей тюбетейку и расшитые бархатные татарские туфли. Почему я так мало дарил ей всегда?»

И он вспоминал, как они провели весь день в Раифской пу́стыни под Казанью, пошли купаться, их застал слепой дождь, они спрятали одежду под кустарниками и бросились в озеро. Он кричал Лизе, которая далеко заплыла, чтобы она вернулась, и не слышал себя в шлепанье круглых капель, вылетавших фонтанчиками из потемневшей воды. Он не догнал ее, поднял руки: «Сдаюсь!» — и она поплыла обратно, с мокрыми распустившимися косами, с блестящим, мокрым, милым лицом. Константин Павлович хотел обнять ее, она выскользнула, смеясь...

Потом, когда дождь перестал и оказалось, что ее платье все-таки промокло насквозь, она долго сидела на берегу в купальном костюме, обхватив колени руками. Все дымилось вокруг, от песка шел пар. Старый, сгорбленный монашек шел по берегу, накинув на плечи мешок, и мешок тоже слабо дымился.

Потом Лиза ушла одеваться и не возвращалась так долго, что он стал беспокоиться, пошел искать, окликнул ее. Она не отозвалась — «из озорства», подумалось ему. Но она сказала, что не шалила, просто задумалась.

— Я просто задумалась, — сказала она и нежно от-

толкнула Константина Павловича, когда он стал целовать ее плечи...

Арденс позвонил в начале ноября, и Константин Павлович, держа трубку в задрожавшей руке, услышал сперва поздравление с наступающим праздником, а потом... Но уже по веселой неторопливости поздравления он понял, что разрешение получено, дело — за формальностями, а в основном — решено, удалось.

Все остальное, что произошло в этот день, он вспоминал с чувством человека, вскочившего на подножку последнего вагона и только чудом не опоздавшего на поезд. Он никак не мог написать телеграмму, все перечеркивал, пока не вспомнил, что надо послать не одну, а две телеграммы — может быть, Лиза уже вернулась в Париж? Из МВТУ позвонили: его ждали студенты.

Ему вдруг стало страшно, и, собравшись на почту, он долго сидел в пальто на сундуке в передней.

— Да полно же, все будет хорошо, — громко, сильно сказал он себе.

И день снова помчался, ринулся, побежал, и он сам куда-то помчался с блаженным чувством, что от него отвалилась непонятная тяжесть, которая долго держала его, а теперь отпустила, растаяла, отлетела.

Бонифачо.

Родной мой, ненаглядный, я получила новое письмо от твоего врача. Он пишет, что тебе, слава богу, стало лучше и можно надеяться, что скоро ты будешь совершенно здоров.

Я собираюсь в Париж, осенью — выставка. Маршан пишет, что ждет меня, и жалуется на цены.

Сборы у меня были бы недолгие, если бы я не затеяла

одну композицию, которую очень хочется закончить. В предпасхальные дни здесь устраиваются религиозные процессии. В городе несколько братств, у каждого — своя праздничная одежда, красная, белая, зеленая, синяя. Все мои знакомые — бородатые, с животиками лавочники, мясники, сапожники — преображаются ночами во время этих процессий. С пением они несут по городу статуи, вернее, группы статуй из старинной церкви. Огромные факелы, разноцветные фонари освещают эти странные фигуры. Игра светотени, пение — все необыкновенно: и празднично и грустно. Вот эти-то фигуры я сейчас пишу. Церковь удивительная, времен тамплиеров. Но, как полагается, все стены сверху донизу замазаны известкой по фрескам, по каменной резьбе. Попик презанятный, хитренький, выманивает у туристов подачки, а ко мне все пристает, чтобы я — за разрешение работать в церкви — раскрасила одну из статуй, метра в полтора. Пока я покрасила ему гипсовую статуэтку за два су с площади Saint Sulpice, где их фабрикуют миллионами. Теперь все Бонифачо ко мне пристает с такими же просьбами. Пока отбиваюсь.

Много времени я провожу теперь на своем «необитаемом острове». Жозеф превратил мой шалаш в настоящую виллу, укрепил валунами и даже попытался (неудачно) разбить перед ним маленький садик.

По-прежнему он привозит мне хлеб и рыбу, вечерами мы подолгу разговариваем с ним — и подчас он поражает меня своей детской мудростью. Вчера он заметил, например, что «лучшие произведения художника должны превосходить его собственное разумение». Конечно, это было выражено другими словами. Я хочу написать его портрет и уже принялась за рисунки.

(Письмо не датировано)

Париж.

Уж не знаю, как мне благодарить тебя за то, что ты поправился, мой дорогой, ненаглядный. Бог знает о чем я только не передумала, чего не вообразила! Спасибо твоему доктору, меня только и поддерживали его твердые, сердечные письма. Так вот: все, наконец, хорошо, без утайки, без оговорок. Выставка не только окончательно решена, но маршан, посмотрев холсты, которые я привезла с Корсики, предложил контракт на приличных условиях.

Во дворе, вокруг моей черешни, я устроила «репетицию вернисажа», и ты не поверишь, как я была поражена, когда собрала работы последних лет. Ах, как это важно — поставить рядом, осмотреться, вглядеться! Корн два часа молча ходил по двору, а потом поздравил меня и сказал, что до сих пор я лишь отдавала живописи долг, а теперь она мне этот долг с лихвой возвратила.

С выставкой много спешки, хлопот, беготни и, как водится, непредвиденных осложнений. Часть работ еще не пришла из Бонифачо, я боюсь, как бы они не пострадали в дороге. Там есть несколько акварелей, которые, на мой взгляд, могут украсить «корсиканскую стену».

Но что же я пишу о себе? Значит, ты возобновил свои хлопоты о командировке? Не может ли снова помочь Шевандье? Ведь он француз! Если я пойду к нему и скажу, что не могу жить без тебя, он в лепешку разобьется, но устроит вызов. Сделать так? Напиши мне, мой дорогой, поскорее.

(Письмо не датировано)

Париж.

Милый мой, пишу тебе поздней ночью, полуживая от усталости и счастливая, как никогда. Да, как еще никогда в своей жизни! Выставка прошла превосходно, продано много, успех неожиданный — и не только для моего маршана, трепетавшего, что не удастся покрыть расходы на помещение и рамы! Сам Пьер Лоти в своей статье отозвался о моих работах так лестно, что я едва поверила глазам. По его мнению, я принадлежу к художникам, у которых «все по-своему», и это свое не взято напрокат из Африки или Древнего Рима, а «вырвано с кровью из сердца». Статья называется: «Лиза Тураева. Возвращение к реализму?» Не пишу о том, что говорил мне Матисс. Расскажу при встрече.

Сейчас нужно только одно — побольше сил, — и я ума не приложу, откуда мне их взять. Мне казалось, что я и выставку не вытяну, все дни металась, не чувствуя под собой ног, — и если бы не милый, добрый Корн (который бешено ругался с маршаном, а потом притащил на выставку чуть ли не весь художественный Париж), меня бы как раз и вынесли с выставки вперед ногами.

Вот теперь надо передохнуть и снова кинуться с головой в дела и заботы.

Только бы побольше здоровья, а то вчера с трудом заставила себя подняться, чтобы вернуть лавочнику долги. Все же вышла и встретила — кого бы ты думал: Бальмонта (он живет недалеко), окруженного своими верными, преданными старушками. Мы немного знакомы, я подошла, но старушки почему-то захлопотали, взволновались и торопливо увели его от меня...

(Письмо не датировано)

Елизавета Николаевна задумала написать Жозефа еще два года тому назад, когда Георгий и Джакомо уехали на рыбную ловлю; она с блокнотом бродила по островку и добралась, прыгая с камня на камень, до незнакомого места, которое было чем-то похоже на морское дно. На скалах — длинный, стелющийся зеленоватый мох, а между ними — маленькая серо-зеленая долинка. В этой долинке стоял, опустив голову и глубоко задумавшись, Жозеф. Елизавета Николаевна долго смотрела на него, не окликая, — и тогда еще решила непременно сделать его портрет.

Но он был в трауре по отцу, ей не хотелось писать его в черном, а потом она отвлеклась, занялась чем-то другим.

Теперь он каждое утро привозил ей хлеб и рыбу, и было бы грешно не воспользоваться такой прекрасной моделью.

Прежде чем взяться за кисть, она сделала не меньше полусотни рисунков — надо было понять это странное, задумчивое узкое лицо, с вывернутыми веками и лохматой угольно-черной и полуседой шевелюрой.

Потом она долго выбирала место — где писать? Конечно, не в шалаше — темно и не хватит расстояния — и не у моря, где скользили блики и нельзя было умерить яркость. Она посадила Жозефа у входа в шалаш, на табуретку. Фон был неопределенный, но теплый, оранжевая стенка чуть заметно переходила в синеватую тень шалаша.

Жозеф спросил, можно ли разговаривать, она ответила: «Конечно», — но предупредила, что иногда не будет ему отвечать.

— Значит, не слышу.

Она работала еще ощупью, подолгу смотрела на Жозефа, а потом быстро набрасывала на холсте бог знает что — какой-то серо-золотисто-синий мир, в который она должна была окунуться с головой, копаться и купаться. От левого края — к пустому четырехугольнику, заполнявшемуся тем, что должно было стать лицом Жозефа. Потом — к правому краю.

Жозеф сидел, скрестив ноги, и даже в грязном большом пальце, торчавшем из рваного башмака, видна была задумчивость, углубленность. Выцветшие голубые глаза рассеянно бродили по сторонам.

Он спросил названия красок, и она назвала: кость жженая, английская красная, охра золотистая, «мертвая голова».

— Это удивительные названия, мадам. И они так назывались всегда?

— Да.

— С сотворения мира?

Она улыбнулась.

— Может быть.

Она постаралась на первом же сеансе закрыть весь холст, чтобы наметилось то «самое общее», что должно было приблизить ее к портрету, который она видела в воображении. Но ничего не наметилось, и она с огорчением долго переводила взгляд с холста на Жозефа, у которого тоже стало огорченное лицо. Он, как ребенок, перенимал выражение.

— Вы снова очень похудели, мадам.

— Да? Ну что же! К старости лучше худеть.

— Но мне кажется, что вы нездоровы. Вы очень кашляете. Лучше вернуться в Бонифачо.

— Кончу твой портрет и вернусь.

— Здесь очень холодно по ночам.

— Ты же привез мне теплое одеяло.

Жозеф уехал, и она принялась за хозяйство. Надо было приготовить обед. Она чистила рыбу, думая о портрете. Потом прилегла отдохнуть, уснула, и оказалось, что она думала о нем и во сне.

На втором сеансе Елизавета Николаевна снова переписала весь холст, на этот раз меньшими долями, меняя то, что вчера шло свободно, открыто. Они разговаривали, и она сказала, что не боится смерти.

— Это потому, что вы будете жить долго, мадам. Вы — русская, а ведь русские живут долго. Говорят, что между ними много святых.

— Я не святая. Я — грешница, Жозеф.

Он надолго задумался.

— Нет, вы святая, мадам, — наконец сказал он. — В Бонифачо почти все уверены в этом, и мы будем молиться, чтобы бог даровал вам долгую жизнь.

— Зачем?

— Но чтобы исполнилось наше общее желание, мадам.

Она засмеялась.

— Боюсь обещать, Жозеф.

Он смотрел на нее тревожными глазами. Левое веко опустилось. Он склонил голову набок. Она поправила позу.

— Я тоже очень кашлял, особенно по ночам. Сестры приготовили для меня настойку из трав — и все прошло. Завтра я не могу привезти ее. Надо сорок дней, чтобы она настоялась.

— Спасибо. Боюсь, что мне уже ничего не поможет.

Жозеф сказал, что завтра он не приедет, потому что бог запрещает в воскресенье работать, и она долго убеж-

дала его, что позировать — вовсе не значит работать и что богу все равно, сидит ли Жозеф на табуретке в Бонифачо или подле ее шалаша. Ничего не произошло бы, если бы ей пришлось пропустить один день. Но это она понимала разумом, а разум не освобождал ее от тоскливого чувства, охватившего ее при мысли, что завтра она не прикоснется к холсту.

Ей очень помогало, что она уже четвертый год была знакома с Жозефом. Она писала странного, но для нее уже давно близкого человека. Круг ее жизни с каждым годом сужался. Отступил Стамбул с его вызывающе-яркой палитрой. Отступил Париж с его сдержанностью, вещественностью, обыкновенностью — она не написала и десятой доли своего Парижа.

У нее остался «необитаемый остров», на котором отлично работается, никто не мешает. Лючия любит ее. Жозеф и его сестры, милые сороки, заботятся о ней, посылают ей старые фуфайки и теплые одеяла.

Неизвестно, как и почему, но эти фуфайки, одеяла — и даже мазь от комаров, которую на днях привез ей Жозеф, — участвовали в его портрете.

— Вы плохо себя чувствуете, мадам?

— Нет, хорошо.

— Но вы работаете в фуфайке. Вам холодно?

— Нет. Я рано встала, утро было свежее, и я еще не согрелась.

Теперь она ясно видела пустые места на холсте, и надо было заполнить их так, чтобы не потерять наметившегося сдвига. Сдвиг наметился вчера, когда у Жозефа стало тревожное лицо с полуопущенным веком.

— Так вы не думаете, что ученые когда-нибудь найдут средство вечной жизни, мадам?

— Возможно. Но я уже не успею им воспользоваться.

— Это не имеет значения для вас.

— Почему?

— Потому что вас все равно ждет евангельская вечная жизнь.

Она засмеялась.

— Может быть. Во всяком случае, мне хотелось бы умереть, не затрудняя друзей. Не в Бонифачо, а в Париже.

— Почему?

— Ну, не знаю. И потом, я не умру, пока не закончу твой портрет. Люди будут смотреть на него и думать о тебе.

— Мне бы хотелось, чтобы они думали и о моих сестрах, мадам.

...Это было на четвертом сеансе. Все уже, кажется, установилось. Ей удалось связать два пятна, на которых держался весь холст, — лицо и рука, упавшая на колени. Она уточнила цвета — белый довела до розового, а в красном погасила резкость.

Перед окончанием работы она обычно откладывала ее, чтобы холст мог подсохнуть, а потом только поправляла отдельные места. И она уже подумывала об этом, когда два светло-розовых крыла стали раскрываться на холсте, как бы поддерживая лицо Жозефа.

Он смотрел на нее, приоткрыв рот. Он что-то спросил, Елизавета Николаевна не ответила. Он согнулся, опустил плечи — некогда было исправить позу. Она поспешно выдавливала и смешивала краски, она не отходила, а отбегала, чтобы взглянуть на холст, и сразу же возвращалась. Все снова перестраивалось, еще приблизительно, неточно. Еще неизвестно было, что выйдет из этих крыльев, но Елизавета Николаевна уже работала над ними, с красными пятнами на щеках, энергично, быстро. Все до

сих пор было не то и не так. Лицо осветилось, глаза стали глубже, смуглота на провалах щек потеплела. Детские, прозрачные крылья писали сами себя, и вообразить портрет без них было уже невозможно.

Когда он уехал, она не сразу принялась за обед. Голова немного кружилась, ей захотелось полежать, и она устроилась в тени шалаша на одеяле. Парусник шел зигзагами против ветра — должно быть, в Сардинию. Она долго следила за ним, потом закрыла глаза. Она думала, видела, вспоминала...

Париж.

Милый мой, родной, я без конца перечитываю твою телеграмму, я никому не сказала о ней — сама не знаю почему. Из суеверия?

Положила ее в кармашек платья и время от времени достаю, перечитываю или просто, не вынимая, касаюсь рукой. Я скрывала от тебя, что очень больна, но теперь, когда я знаю, что скоро увижу тебя...

(Письмо не датировано)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

*Понадобилась сильная лупа, чтобы прочитать эти слу*чайно попавшие ко мне письма, — почерк был неразборчивый, обгоняющий мысли, небрежный.

Несколько замечаний:

Работая над подготовкой текста к печати, я узнал много нового о Елизавете Тураевой, которой принадле-

жали письма, и Константине Карновском, которому они адресованы. Эти сведения дополнили книгу.

Я отобрал лишь самые значительные из писем.

Лица, упомянутые в письмах, были извещены о находке и согласились на публикацию, однако при условии, что их фамилии будут изменены. Это не коснулось деятелей, оставивших заметный след в русской и мировой культуре первой четверти двадцатого века.

Пользуясь правом романиста, я дополнил переписку немногими сценами.

1965—1970

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАВЕРИН
Вениамин Александрович

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

М., «Советский писатель», 1972, 352 стр. План выпуска 1972 г. № 32. Художник *Б. И. Шейнес*. Редактор *З. В. Одинцова*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*. Техн. редактор *Л. П. Мельникова*. Корректоры: *С. И. Малкина* и *Л. К. Фарисеева*.

Сдано в набор 29/XII 1971 г. Подписано в печать 12/IV 1972 г. А 06764. Бумага 70×108$^1/_{32}$ № 1. Печ. л. 11+вкл. (15,48). Уч.-изд. л. 14,27. Тираж 30 000 экз. Заказ № 18. Цена 65 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3.